

МАРУСЯ КЛИМОВА

ДОМИК В БУА-КОЛОМБ

Роман

*Вот вам мораль: по мнению моему
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно.*

*А. С. Пушкин
«Домик в Коломне»*

*Пусть это было лишь во сне,
Скажу не то, что мне приснилось,
А то, что было зримо мне.*

*Кальдерон
«Жизнь есть сон»*

Вот уже около двух часов Костя не выходил из туалета на первом этаже в доме Пьера. Он сидел рядом с унитазом и напряженно следил за водой, наполнявшей унитаз до краев и не желавшей уходить вниз. «Да минует меня чаша сия!» -- шепотом произносил Костя и дергал за ручку сливного бачка. Унитаз представился ему огромной чашей, а вода, наполнявшая его, символизировала страдания, общее количество которых уже достигло какой-то критической черты и никак не уменьшалось. Костя сел на пол около унитаза и, взяв специальную щетку, стал его прочищать. Главная его задача заключалась в том, чтобы вся эта вода все же ушла вниз. «Да минует меня чаша сия...», -- еще раз пробормотал Костя.

Наконец, в какой-то момент вся вода с резким хлюпающим звуком ушла вниз, и унитаз опустел. Костя с облегчением вздохнул и произнес: «Свершилось!»

Костя еще раз тщательно осмотрел дом Пьера, спустился в подвал, потом поднялся на третий этаж, ему стало казаться, что это заколдованный замок, а Пьер – французский аристократ, последний представитель старинного и очень древнего рода. Костя подошел к окну и выглянул на улицу, там в конце переулка стояла «скорая помощь»: даже если это приехали не за ним, все равно нельзя терять ни минуты. Костя опять спустился в подвал. Он уже не сомневался, что он там обнаружит подземный ход, ведущий в сточные трубы, проходящие подо всем Парижем, они называются les égouts, там живут все клошары, все отбросы общества, а он, как герой Жана Марэ в фильме «Парижские тайны», спрячется там и, пройдя через все испытания, спасет прекрасную даму. А возможно, даже подружится с этими клошарами, и сам станет таким, как они, их предводителем, они ему все расскажут и полюбят его исключительно за то, что он русский, ведь русских же все любят, потому что они дали миру Достоевского. Костя открыл узкое подвальное окно, протиснулся в него и, оказавшись во дворе, не без труда вскарабкался на крышу гаража, потом спрыгнул в соседний двор, к немалому удивлению пившего там в это время за столиком кофе семейства. Но Костя, не обращая на них ни малейшего внимания, подошел к калитке ворот, открыл ее и вышел на улицу, но уже с другой стороны от дома Пьера.

Костя совсем не знал Париж и почти сразу же заблудился. На автобусной остановке он попытался спросить дорогу у какого-то клошара, и тот ему что-то объяснял и показывал, но Костя ничего не мог понять, потому что не говорил по-французски, а клошар позвал еще пьяную оборванную женщину, и она тоже стала оживленно жестикулировать; Косте казалось, что это хромоножка из "Бесов", он дал им десять франков, это были все имевшиеся у него деньги, и еще старый советский бумажный рубль, завалившийся у него в кармане. Они выразили по этому поводу великую радость, или ему просто так показалось, а сам Костя пошел дальше.

Пробуждение это как сон, или продолжение сна, а не пробуждение, как будто ты еще не проснулась, а осталась там, в этом сне, где высокое небо и серые тучи над медленной тяжелой рекой, и серый холодный гранит, и четкие плавные линии, их завершенность и чистота - все это сон. В реальности такого не бывает, или было когда-то в другой жизни, о чем остались смутные воспоминания-догадки.

Маруся лежала на кровати в комнате с ободранными стенами. По форме комната напоминает гроб - и это тоже уже когда-то было - над головой тускло горит одинокая лампочка на ободранном проводе. На потолке - два окошка: одно побольше, обычно его открывают, поднимая вверх на железном стержне, и тогда образуется щель, через которую

проходит свежий воздух, а другое совсем крошечное, его невозможно открыть. Но теперь они оба закрыты, так как Пьер вставил в них вторые стекла и напихал в щели обрывки тряпок, наверное, чтобы было теплее, но все равно ужасный холод, и в доме холоднее, чем на улице.

Можно спуститься вниз, куда ведет деревянная винтовая лестница, лестница-улитка, как называют такие лестницы французы. На первом этаже пол каменный, как в туалете на Московском вокзале, и дверь из коридора ведет в салон, где стоят два кресла. Под передние ножки одного подложены чурбачки, чтобы оно было повыше, и когда на него садишься, ноги болтаются в воздухе, не доставая до пола, а второе – удобное, широкое, но обивка на нем засалена до такой степени, что цвет определить невозможно. Оба эти кресла найдены на улице. У окна стоит круглый стол, на нем навалена куча разного хлама, а посередине возвышается верхняя часть манекена, у него хорошенькое женское личико: вздернутый носик, светлые волосы и голубые глазки, на голове у манекена надета оранжевая каска, какие носят рабочие на стройке. За другим столом, сделанным из куска фанеры и ножек детской кроватки, сидит хозяин дома: пьет и ест. В глубине его глаз нет ничего, а если попытаться рассмотреть, что там, то увидишь, как постепенно появляется какой-то нездоровый огонек, спрятанный глубоко-глубоко – вот оно, безумие! Маруся потом наблюдала такой же взгляд у мертвецки пьяных, когда сознание уже почти угасло, остались только некоторые рефлексy, и из их глаз, устремленных на тебя, выглядывает какая-то темная бездна.

Лестница в доме ужасно скрипит, и по ней невозможно пройти неслышно, но Пьер по ней почему-то ходит бесшумно, как кот, непонятно, как это ему удастся, может быть, он знает, на какие дощечки нужно ступить, чтобы лестница не скрипела. Он ходил по ней еще маленьким, и помнит, куда ставить ногу, чтобы отец не услышал и не рассердился, а может быть, это безумие поднимает его, делает легким, как пух, и несет над землей, и он не касается пола ногами. Как тогда, когда он, схватив в руки остро отточенный нож, летел, не касаясь земли ногами в толстых узорчатых шерстяных носках, а его возлюбленная убегала от него, она отказывала ему в чем-то хорошем, приятном. Почему, по какому праву его лишали радостей жизни, которые имеют все? Все женщины одинаковы, они издеваются над вами, им доставляет удовольствие мучить вас, ну так с ним этот номер не пройдет, он знает, как надо себя вести. Пьер считал, что женщины любят собак, кошек и гомосексуалов, потому что они не агрессивные, а кроткие и нежные. Настоящий мужчина всегда агрессивен, и когда Пьер видел машину с молодоженами, он говорил: «Бедная невеста! Она еще не знает, что ее ждет сегодня ночью!» – и сладострастно хихикал в усы.

Так говорил и его отец. Пьер помнил, как однажды он видел отца с матерью – он схватил ее одной рукой за волосы, а другой поднес к ее горлу острый нож и повторял: «Я тебя убью, я тебя убью!». И пусть до конца жизни Пьер будет заключен в психиатрической лечебнице в клетке с толстыми железными прутьями, – все равно, зато он получит самое большое в своей жизни удовольствие, а может, и отомстит за все издевательства,

перенесенные из-за женщин. А в общем-то, во всем виновата его мать. Потому что это она выпустила его в этот ужасный, полный страданий мир и недостаточно любила его. Она больше любила его брата - хотя и говорила, что Пьер самый умный из всех детей, а их в семье было трое: его брат Жан-Поль, сестра Эвелина и Пьер.

Эвелина очень любила отца, она и сейчас называет его не иначе как "ОН" и говорит о нем с восхищением и обожанием. Их отец был из аристократической семьи, и раньше его фамилия была Торше де ла Ферре. У его деда даже был замок в Нормандии, но потом они постепенно все пропили и проели, даже частицу "де", и их фамилия стала просто - Торше. А мать была из семьи нормандских мелких лавочников, и говорила неправильно, делая ошибки в произношении отдельных слов, и это очень раздражало отца, который часто ее передразнивал. Пьер хорошо это запомнил.

Отец работал в службе контроля газовой компании и проверял, исправно ли обыватели платят за пользование газом, но эта работа так его раздражала, что он постоянно повторял детям: «Дети, никогда не занимайтесь этим, это настоящее дерьмо!» Пьер это тоже хорошо запомнил. Еще он запомнил, что отец всегда, приходя с работы, садился за стол и ел, а его мать ему прислуживала. Пьера же постоянно заставляли говорить: "Спасибо, пожалуйста",- поэтому у него на всю жизнь осталось отвращение к этим словам. Вот почему, когда к нему из России приехала его жена с дочкой, он запрещал девочке произносить эти слова и пытался заставить ее саму готовить себе еду и мыть посуду, а когда это делала за нее ее мать, он начинал ужасно ругаться, при этом у него изо рта летели слюни, а глаза вылезали из орбит и бешено сверкали. Ему всегда хотелось, чтобы от его взгляда все содрогались, ему хотелось "обжигать взглядом", и вот только теперь, кажется, это стало у него получаться.

Иногда девочка начинала шалить за столом, и он сперва долго передразнивал ее голос и гримасы, а потом клал ноги, обутые в грязные ботинки, на стол, среди тарелок и банок. Он делал так потому, что одно время у него жил молодой человек, внук бежавшего во Францию русского эмигранта, и однажды поев и попив, он внезапно откинулся назад на своем стуле и положил ноги на стол. Пьер сперва растерялся, а потом уселся точно так же. Правда, когда он отодвигался назад на стуле, он чуть не упал, но ему в последний момент удалось удержать равновесие. Некоторое время они сидели молча, потом молодой человек снял ноги со стола и ушел к себе в комнату, а Пьер еще некоторое время сидел так же и задумчиво ковырял в носу. Пьеру понравилось такое поведение, и он при случае старался его продемонстрировать, для него в этом заключался какой-то особый шик, признак внутренней свободы и раскрепощенности. Своей жене он запрещал мыть посуду, он говорил: «Я не хочу, чтобы ты пачкала себе руки!»

Он когда-то слышал эти слова в кино или прочитал в книге, и они зафиксировались в его памяти, но если она посуду не мыла, он тоже раздражался, а когда, все-таки, начинала мыть, орал, что она плохо это делает. Вообще-то, Галя еще не была его женой, а только невестой, но ему нравилось называть ее своей женой, а себя – отцом ее дочери Юли.

- Ах, дети, дети! – иногда говорил он своей соседке, многозначительно закатив глаза, – они такие шаловливые!

Когда Маруся с Костей приехали к Пьеру, дверь им открыла Света, девушка огромного роста с длинным носом и меланхолическим взглядом. Она мечтала стать фотомodelью и сниматься в известных парижских журналах. Чтобы приехать в Париж, ей пришлось, помимо всех остальных, переспать с двумя грузинами и одним армянином, причем последнему было уже за шестьдесят, и он не всегда мог, но он ей говорил, что никогда в жизни он не станет пердोलить мальчиков, потому что гомосексуализм – это отвратительно, хотя анальное отверстие уже, и это действует возбуждающе, но даже ради этого никогда он не будет иметь дела с мальчиками. Правда, Свету он трахал в задницу, но ей было совершенно все равно.

В Париже Света получила адрес Пьера от своей подруги Вали. Вале было уже под пятьдесят. Эта пышная блондинка с начесом раньше в Москве работала в научно-исследовательском институте и была секретарем парторганизации, а когда к ним приехала для обмена опытом делегация французских коммунистов, она срочно подклеилась к одному лысому тщедушному французу и вышла за него замуж. Однако во Франции она сразу же стала яркой антикоммунисткой, коммунистов всячески проклинала и поддерживала правых. Этим летом на выборах победили социалисты, и Валя жутко ругалась матом, ко всему прочему у них сломался холодильник, а ее муж стал его толкать то туда, то сюда, и так гонял его по кухне – и Свете было непонятно: спортом он занимается, или просто тот ему порядком надоел. Он хотел выбросить холодильник в окно, но не смог поднять, к тому же внизу ходили люди. У Вали был сын, юноша двадцати лет, курчавый, как баран, упитанный, розовощекий и очкастый. Он влюбился в Свету и целыми днями гулял с ней под ручку. Иногда они целовались в укромных местах. Сына звали Саша, он мечтал переспать со Светой и даже жениться на ней, но Валя не хотела, чтобы он женился, хотя ничего не имела против того, чтобы они переспали, ведь мальчику нужна женщина, он должен приобрести необходимый опыт и стать мужчиной.

Когда Костя впервые увидел Свету, ему показалось, что она – «мистическая проститутка» и, к тому же, неземная красавица, но порой в ее лице ему чудилось что-то враждебное и странное. Сперва она сказала ему, что она немка, и он увидел у нее голубые глаза, потом призналась, что она еврейка, и он тут же обнаружил, что глаза у нее карие и огромный крючковатый нос – все менялось, как в кривом зеркале, и даже Светин голос. Ночью Костя поднялся к Свете в комнату. Пьер поселил ее на третьем этаже и Костя, стараясь не шуметь, на цыпочках шел по скрипучим ступеням. В комнате Светы было темно, как в склепе, и Костя, вытянув руки вперед, наощупь пытался найти ее кровать. Наконец он нащупал что-то похожее на одеяло, а потом теплую руку. Он схватил эту руку и поцеловал ее.

- Пьер, это ты? - сонно спросила Света.

- А что, разве Пьер спит здесь? - спросил в ответ Костя. Тут Света, похоже, проснулась. Потом она рассказывала, что, когда ее будят ночью, она может ответить не совсем вежливо, вот она и сказала Косте:

- Выйдите из моей комнаты немедленно, будьте так любезны!

Костя что-то пробормотал и тут же вышел, ему даже ничего не нужно было от Светы, для него это просто был некий символический акт. Чистый Разум и Воплощенная Красота – вот, о чем он думал, а грубые животные проявления ему были непонятны. Всю ночь Костя не спал, он разговаривал с неведомыми собеседниками, продолжая начатую уже давно беседу, их спор подкреплялся изощренными аргументами, и прекрасные возвышенные слова порхали, как бабочки в темноте. Утром он встал с черными кругами под глазами, зрачки его были огромные и расширенные, казалось, глаза состоят из одних зрачков. Когда они ехали в метро, Костя все старался встать поближе к Свете, она сидела, а он стоял рядом, хотя вокруг были свободные места, он прижимался своей шириной к ее плечу, а Света опускала глаза и томно вздыхала. Хотя до этого, когда он пытался ее обнять, она сказала ему вполне цинично:

- А сифилис подцепить не боишься?

Костя даже не понял, что она имеет в виду, скорее всего, для него это были происки неведомых злых сил, которые хотят запечатать его возвышенную мечту.

Потом они шли по улице мимо витрин ювелирных магазинов, и Света остановилась полюбоваться браслетами, кольцами и цепочками. Там за этим стеклом была некая иная реальность, красиво разложенные золотые украшения блестели и искрились на черном бархате, и невозможность перейти из одной реальности в другую фиксировалась небьющимся стеклом, последним достижением цивилизации. Тут Костя неожиданно из всех сил ударил по витрине ногой, но стекло оказалось прочным и не разбилось, а Света посмотрела на него с ужасом, но ему показалось, что с восхищением.

Когда они пришли домой, Света позвонила Вале и рассказала, что к ней пристаёт сумасшедший, который живет у Пьера, и что она боится, и просила разрешения на время переехать к ней, и это Валу очень раздражило. Она сперва долго говорила с Пьером, а потом попросила позвать к телефону Марусю и обрушила на нее целый поток негодующих слов, причем постоянно повторяла:

- Приезжают тут всякие кр-р-р-р-етины! А потом возись с ними!

Маруся долго не могла забыть ее раскатистые “р-р-р” и визгливые злобные интонации. Потом Костя, пытаясь оправдаться, объяснял, что знает, что здесь везде специальные стекла, поэтому и ударил, а иначе ни за что не стал бы этого делать.

Еще в аэропорту в Ленинграде, когда Марусю и Костю провожал марусин приятель Алик, Костя уже чувствовал себя не очень хорошо, он перед этим спал мало, и в голове у него начинало все путаться. Было пять часов утра, к ним подошел пьяный мужик и заговорил с Костей по-французски, он повторял с акцентом несколько фраз, которые,

очевидно, выучил еще в школе, и хотя Маруся с утра и плохо соображала, потому что тоже не выспалась, ей показалось, что этот мужик придушивается. Тут Алик внезапно сказал ему:

- Иди, старый, отдохни, поспи. Достал уже.

Костя же захохотал и, хлопнув мужика по плечу, радостно подхватил:

- Да, старик, иди спать! Здоровый сон очень важен для хорошего самочувствия!

Мужик испуганно посмотрел сперва на Костю, потом на Алика и сказал:

- Извините, - и, попятившись, ушел.

Пьер носил бородку клинышком и усики, как у Адольфа Гитлера. Правда, усики он потом сбрил, и бородку подбривал тоже, делая ее все меньше и меньше, отчего она постепенно переместилась у него от центра подбородка к левому уху. Очевидно, он брился без помощи зеркала, либо считал, что так и должно быть. Часто, отправляясь куда-нибудь, уже собравшись и выйдя за порог, он спохватывался:

- Черт! Я же не побрился! - и отправлялся бриться.

Иногда он подбривал свои брови, которые росли у него кустами в разные стороны. Волосы росли у него даже на носу, когда же он ожидал приезда своей жены, он сбрил с носа волосы, но потом снова забыл про них, и они выросли еще гуще, чем прежде. На голове у него просвечивала большая плешь. Он все же не терял надежды восстановить волосы и, по совету одного своего знакомого аптекаря, мыл голову химической жидкостью с отвратительным запахом. Волосы от этого лучше не росли, но становились мягкими и пушились над головой, как нимб.

Одевался Пьер всегда небрежно, он редко стирал свою одежду и никогда ее не гладил, и не пришивал пуговиц. У него была еще одна особенность - он не носил трусов, а когда его спрашивали: "Почему?" - так как он рассказывал об этом всем вокруг, считая это своего рода достоинством, он отвечал: чтобы не стирать. Поэтому его брюки всегда обрисовывали ягодицы и врезались между ними. При ходьбе Пьер расставлял носки в разные стороны и размахивал руками, как будто они были на шарнирах.

Пьер очень любил поесть, но это слабость всех французов, так что он не был исключением. В основном, он предпочитал дешевое вино и колбасу, но, если были деньги, любил позволить себе что-нибудь повкуснее. Он покупал паштет из птицы, корнишоны, сыр бри, ветчину, только сладкого он не любил. Он любил женщин - это была его вторая слабость после вина и колбасы, причем слабость во многом нереализованная. Он объяснял, почему мужчина любит женщин - потому что его родила женщина, и он стремится туда обратно, вот почему на рекламных плакатах часто изображают голый женский зад - мужчины тогда товар точно купят, и женщины тоже, потому что очень любят собственное тело. Когда он шел по улице и видел на рекламе голый зад, он подбегал поближе, и, указывая пальцем, спрашивал у собеседника:

- Жопа? Правильно?

- Жопа, жопа! - отвечал ему собеседник по-русски, потому что Пьер общался в основном с русскими, у него в доме все время жили русские. Именно русские научили Пьера матерным ругательствам и разным грубым словам, но некоторых слов он все же не понимал. Когда доведенная до иступления Галя стала называть его “старый козел” и “мудак”, значение этих слов долго оставалось для него неясным. Жившие тогда в доме у Пьера русские художники Настя и Валера объяснили ему, что “старый козел” - это что-то вроде “хороший парень”, “свой в доску”, а “мудак” - от слова “мудрый”. Поначалу Пьер им не очень поверил, однако в воскресенье, встретив в церкви на улице Оливье де Серр дряхлого старика из “белых русских” с трясущейся головой, который уже плохо соображал, он хлопнул его по плечу и спросил:

- Ну что, как дела, старый козел?

Старик посмотрел на него мутным взглядом и ничего не ответил, только неуверенно улыбнулся, а Пьер снова хлопнул его по плечу и воскликнул:

- Да ты настоящий мудак! - но опять никакой определенной реакции со стороны старика не последовало, он только слабо захихикал. После этого Пьер совершенно уверился в положительном значении этих слов.

Вот уже несколько часов Костя ходил вдоль трамвайной остановки в районе Порт Баньоле, одного из немногочисленных парижских районов, где ходили трамваи. Шел мокрый снег, дул сильный промозглый ветер, погода напоминала петербургскую, но в конце ноября в Париже тоже бывает довольно холодно. Косте казалось, что он стоит на мостике огромного корабля, которым является весь земной шар, но палуба корабля каким-то парадоксальным образом ограничена этой остановкой, и стоит ему неосторожно сделать шаг в сторону, как он окажется за бортом, и тогда его уже никто не спасет, но самое главное, он тоже уже не сможет спасти мир, который окончательно провалится в бездну, погрузится на дно огромного космического моря. Костя чувствовал себя Капитаном, который в одиночестве должен выстоять вахту до конца и привести свое судно к берегу. Холода Костя почти не чувствовал. Мимо чередой проходили трамваи, Костя замечал их огни издали, ему казалось, что это огни встречных кораблей. Он был командиром флота, флота, который только на время покинул российский берег, скрывшись в море от захватившей Крым Красной Армии. И вот теперь их корабль снова приближается к берегу, снова он и его товарищи совершат высадку, и отсюда с этого момента начнется возрождение России, ее «освобождение от большевистской сволочи» — эту фразу Костя с чувством произнес вслух и даже сплюнул на землю, как и положено продолжателю дела адмирала Колчака, коим в этот момент Костя себя вообразил.

Время шло. Монотонное дребезжание проходящих мимо трамваев начало раздражать Костю, сначала немного, потом все сильнее и сильнее. Больше всего его раздражала полная детерминированность и предопределенность в движении проходящих мимо него металлических конструкций, то, что они все должны были двигаться по заранее проложенной колее. Больше ему не казалось, что это корабль. Теперь ему казалось, что это огромные металлические болванки, совершающие поступательные движения вокруг земли, на которых как бы держится весь ход современной механистической технократической цивилизации.

Вдруг Костя почувствовал, что, во что бы то ни стало, должен остановить эту огромную машину, воспрепятствовать этому однообразному унылому движению и, тем самым, остановить весь этот бессмысленный научно-технический прогресс и повернуть историю вспять. И прежде, чем очередной подошедший к остановке трамвай успел тронуться с места, он вдруг резким прыжком выскочил на трамвайные пути, и, загородив ему дорогу, раскинул руки крестом, как бы принимая на себя всю тяжесть мира. Раздался звонок, Костя заметил, как лицо сидевшей в кабине женщины-водителя озарилось злобной улыбкой, и трамвай резко тронулся с места. В это мгновение кто-то с силой рванул его за рукав. Это какой-то случайный прохожий успел схватить Костю за руку и оттащил в сторону. Прохожий что-то громко вопил и ругался, толпившиеся вокруг на остановке пассажиры тупо смотрели на Костю, ничего не понимая. Вскоре все успокоились и разошлись. А Костя продолжал свою вахту.

Вдруг он заметил пробежавшую мимо него черную кошку, кошка зябко поеживалась на мокром снегу и прижималась к его ногам. Он подумал, что коты, в отличие от людей, полны грации и красоты, они никому не служат, это аристократы, ведь аристократы не должны работать, недаром ведь и сутенеров, которые живут за счет женщин, зовут «котами», он вдруг понял, что и он сам тоже был котом, огромным Котом, Котом Котов, который должен спасти красоту мира, а вместе с ней и сам мир. Вокруг него сновали прохожие, они были враждебны ему, потому что у них была собачья сущность, это были суки, ссучившиеся, они все виляли, вихлялись, ускользали, убегали в улицы, в переулки...

Тут мимо него прошел мужичок небольшого роста, в потрепанной кепчонке и черной курточке, и Костя внезапно понял, что это есть самая главная Сука, которая поведет его отсюда, из Западной Европы в Сибирь, туда, где в лагерях, замурованные «во глубине сибирских руд», его уже ждут посвященные, воры в законе, авторитеты, которые и дадут ему ключи от мира. Эта идея пришла в голову Кости благодаря двойному значению слов «кот» и «сука», их взаимной противоположности. Только Косте надо быть очень осторожным, ведь все «суки» ненавидят «котов», особенно самого «Кота» – Мессию.

Костя пошел за этим мужиком. Очень скоро мужик почувствовал, что за ним следят, он стал нервно оглядываться, ускорял шаги, но Костя не отставал, он был не так-то прост, он не упустит *эту суку*. Мужичок зашел в универмаг «Монопри», сделал какие-то покупки. Костя повсюду следовал за ним, держась на некотором расстоянии, так, будто он вел его на

поводке. Наконец мужик дошел до дома, остановился у парадной, обернулся, и вдруг пошел прямо на Костю, что-то истерично крича ему по-французски. Костя был готов к подобной агрессии, ведь мужик был сукой, но он знал, что Кот не должен действовать грубо, прибегать к насилию, ибо вся его сила заключается в его грации и красоте, поэтому он повернулся, изящно подпрыгнул и пошел прочь.

Он шел по каким-то узким улицам. Он вдруг вспомнил слова из русской сказки «идти, куда глаза глядят», да, вот именно, он должен «идти, куда глаза глядят».

Пьер очень любил испражняться и мочиться, у него это вызывало самые приятные ощущения. Иногда он голосом, дрожащим от нежности, спрашивал у своей жены:

- Ты знаешь глаголы испражняться и мочиться?

Она ничего не отвечала, а он шел в туалет, и там долго с наслаждением кряхтел. Когда-то давно он читал Коран, там было написано, что после того, как человек помочился или испражнился, он должен совершить омовение руками, вот почему в каждом арабском туалете стояла жестянка с водой. Пьер одно время тоже намеревался стать мусульманином, но потом пришел к выводу, что нет, не стоит, ведь там нет такого количества любви, как в православии.

Про евреев же в Торе написано, что они должны всячески почитать собственное тело, чаще подмываться и любыми путями делать деньги. Насчет тела он был согласен, хотя в чем-то это его раздражало, мыться Пьер не любил, а с деньгами и вовсе ничего общего иметь не хотел. Его отец был аристократом, и Пьер любил повторять, что деньги пачкают руки, это дерьмо, настоящие аристократы плюют на деньги. Пьер останавливался посреди улицы и смачно харкал на тротуар, потом громко выпускал газы, тем самым подчеркивая свое презрение к поганым деньгам.

Об этом он писал и художникам из Москвы, Ире и Володе, которые приехали к нему в гости. Ира и Володя были родителями Насти и Валеры, это была целая семья художников. Ирина и Володя приезжали к Пьеру уже три раза, один раз жили восемь месяцев, второй раз шесть, а когда они собрались приехать в третий раз, то Ирина предварительно позвонила из Москвы и сказала:

- Пьер, мы приедем на выставку на две недели! - и повесила трубку, а Пьер даже и не успел ничего сказать, он вообще стеснялся отказывать, он объяснял это тем, что плохо говорит по-русски, но по-французски на самом деле было то же самое.

Сначала Пьеру было с ними весело, к тому же они привезли ему водки и даже покупали еду, но постепенно они стали ему надоедать. Он уже не мог видеть их рожи: каждое утро, каждый вечер они торчали в его доме. Особенно его раздражала Ирина, маленькая и суетливая, она всячески старалась угодить Пьеру, но тот озлоблялся все больше и больше. К тому же, у него в это время как раз жила его любимая, он спал с ней. Она даже снимала

трусы, и он мог совокупляться с ней, когда хотел, и это его очень возбуждало, но к вечеру он уставал, правда, перед тем, как лечь в постель, он ел и пил красное вино, потому что ему нужны были силы. Он говорил ей:

- Вы, женщины, всегда можете, а нам, мужчинам, необходимо зарядить свои батареи.

Когда же его невеста хихикала, Пьер обижался и сопел.

А Ирина и Володя постоянно находились на кухне, они были там утром и вечером, утром Володя спускался на кухню, он мыл всю посуду, чистил плиту, варил кофе и курил. Пьер, лежа в постели, чувствовал сладковатый аромат табака, и необъяснимое отвращение поднималось в нем. В конце концов, он оставил им записку "Вы уходите через неделю!" Они испугались, и на следующий день предложили ему деньги, двести франков. Пьер деньги взял, но ночью опять впал в состояние озлобленности, вскочил и написал им еще одно послание: "Вы не купите за деньги мою свободу! Вы ворвались, как завоеватели, в мой тихий дом, и не хотите уходить! Вы предлагаете мне деньги! Но деньги - это грязь. Мне не нужны ваши поганые деньги!" Письмо вместе с деньгами он положил на стол. Потом отключил в доме газ, электричество, телефон и ушел жить к знакомым, а когда вернулся, то их уже в доме не было.

Отец Пьера часто говорил:

- Никогда ноги красного не будет в этом доме!

Под словом «красный» он имел в виду всех русских вообще. А Пьер сделал так, что «красные» постоянно торчали у него в доме, и его отец, наверное, ворочался в гробу - эта мысль приносила Пьеру глубокое удовлетворение.

Когда Пьер был совсем молодой, его отправили на войну в Алжир, он попал туда вместо своего брата, потому что из семьи не могли взять сразу двоих, а мать Пьера не любила, вот на войну и пошел Пьер, а не его брат Жан-Поль. Пьер помнил, что там было много песка, и еще они все время очень боялись ночью - арабов, зажигательных бомб и стрельбы. Женщины там были очень красивые - белокожие, со светлыми волосами, но все в чадрах, хотя и таких женщин Пьер там видел очень редко.

Но там ему, на самом деле, было не до женщин, он очень боялся, ему все время было страшно. Потом он говорил, что на войну нужно посылать стариков, которым нечего терять, а молодые должны жить и наслаждаться жизнью. Вот он свои лучшие годы провел на этой поганой войне, и теперь вся жизнь его разрушена, может, именно из-за войны он и рехнулся, хотя, может, он был таким уже до войны - но ему больше нравилась мысль, что именно на войне он спятил, то есть стал «паранормальным». Это слово очень нравилось Пьеру, потому что означало что-то среднее между «ненормальный» и «нормальный», но уже не «сумасшедший».

Вообще за всю свою жизнь он мало имел дела с женщинами - он привык находиться в мужской компании с самого детства. В школе обучение было раздельное - школа для

мальчиков и школа для девочек, потом он был в организации скаутов - тоже с мальчиками, а потом - в армии. К тому же он долгое время не мог сношаться, так как у него на члене образовался фимоз, и любое сношение причиняло ему ужасную боль. Когда он был в лагере РСХД, у белых русских, он влюбился в одну девушку, ей было двадцать лет, и они с ней пошли в кусты, целоваться, а потом девушка полезла ему в штаны и взяла за член - член пришел в состояние эрекции, а Пьер ощутил невыносимую боль, потому что она своей неловкой рукой сдвинула тонкую кожицу, которая сдавила член Пьера. Пьеру было очень больно, но он терпел. Так у них ничего и не получилось.

Потом Пьер ушел к себе в комнату и долго мучился со стоящим членом. Он стеснялся спросить у кого-нибудь совета, но, когда страдания стали невыносимыми, он наконец осмелился спросить у врача. Врач посоветовал опустить член в холодную воду, Пьер так и сделал, и все наконец прошло. Но страх перед сношением остался надолго, даже после того, как он по совету брата сделал обрезание: у него под кожицей члена скопилась грязь, и началось что-то вроде нагноения, поднялась температура, тогда брат срочно повел его к врачу, который и обрезал Пьера. Поэтому Пьер говорил иногда, что он еврей, и загадочно улыбался.

В молодости Пьер хотел посвятить свою жизнь Богу и даже поступил в католический монастырь. Он хотел стать известным монахом, чтобы все ему кланялись и почтительно с ним говорили. В этом монастыре был молодой монах, похожий на ангела. Однажды Пьер сидел у пруда и думал про этого монаха, думал так долго и сосредоточенно, что у него заболела голова. Он уже ничего не мог понять, а знал только одно - он любит этого юношу и ничего не может с этим поделать. Но что же дальше? Какой мог быть выход из этой любви? Пьер так запутался, что никакого выхода уже не видел.

И вот он встал и вышел за ворота монастыря. Он инстинктивно решил бежать от этой греховной любви, а когда проходил мимо ворот, в последний раз оглянулся и посмотрел на стоявших у церкви монахов, и тут он вдруг заметил, что они все вместе низко поклонились ему. Пьер понял, что это неспроста.

Он пришел к себе домой в Буа-Коломб пешком, его отец и мать тогда были еще живы, они сидели на кухне и ели суп с брюссельской капустой, а когда увидели Пьера, то не поняли, что же произошло. Он молча поднялся к себе в комнату и лег на кровать.

И так пролежал почти год. Он потом рассказывал всем, что пребывал в растительном состоянии: его мать приносила ему еду, а он ел, лежал и смотрел в потолок. Он лежал так долго, что наконец ему захотелось повеситься. Он взял веревку, намылил ее и аккуратно привязал к крюку от люстры, а когда он уже накинул петлю на шею, вдруг ощутил в комнате слабое дуновение, как будто легкий ветерок, который становился все сильнее и сильнее. Он не мог понять, откуда в комнате мог взяться ветер, ведь все окна и двери были закрыты, но дуновение ощущалось явственно, и Пьер наконец догадался, что это Святой Дух.

Когда Пьер почувствовал рядом с собой присутствие Святого Духа, он понял, что ему не надо вешаться, и спустился вниз на улицу. Когда он проходил мимо комнаты своего отца, его отец слушал пластинку с записью Вагнера, он всегда это делал в свободное время, отчего у Пьера на всю жизнь осталось отвращение к классической музыке. Пьер вышел из дома и пошел по дороге, куда глаза глядят. Но далеко он не ушел, вскоре его настигла машина «скорой помощи», и санитары в белых халатах его забрали и отвезли в психбольницу. Санитаров, как потом выяснилось, вызвал его брат, которому позвонили родители.

Пьер провел в психбольнице два года. Там он начал писать стихи, ему даже дали пишущую машинку, и научился играть в теннис, стал чемпионом своего отделения. В больнице Пьеру сделали восемь электрошоков, и это было самое ужасное. Пьер не любил вспоминать об этом, и только говорил, что, когда ты потом приходишь в себя, тебе не хочется жить.

Затем Пьер отправился бродить по Франции, он стал странником, потому что его родители не хотели больше его кормить, а на работу его не брали. Правда, один раз ему все же удалось устроиться учеником машиниста электрички: он закончил специальные курсы и даже прошел практику. Он был счастлив, потому что чувствовал себя полноценным человеком. Однажды Пьер вел электричку и не успел затормозить на остановке, поезд проехал мимо перрона, и все пассажиры, ругаясь, вынуждены были спрыгивать с подножек прямо на землю и брести обратно к перрону. Его учитель сказал ему:

- Не волнуйся, ничего с ними не случится, дойдут.

Пьер очень смеялся. Тем не менее, когда он пришел получать удостоверение, ему отказали, мотивируя это тем, что во время войны в Алжире он убил своего товарища, хотя это и было неправдой, Пьер сам не мог спокойно вспоминать об этом случае.

Он вел машину с боеприпасами, сидел в кабине и курил, а его товарищ находился в кузове. Всего на одно мгновение Пьер отвлекся от дороги, кажется, мимо проходила женщина, и Пьер повернул голову, чтобы ее разглядеть, дул сильный ветер, и ее широкая рубашка обрисовывала ее грудь и бедра, Пьер отвернулся только на одну секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась. Его товарищ погиб, придавленный кузовом.

Этот случай всю дальнейшую жизнь преследовал его. Поэтому он даже и не пытался найти себе постоянную работу.

Только когда он ждал приезда Гали, он устроился работать кассиром на бензоколонку на неполный рабочий день, но ему не нравилось, что он все время должен слушаться хозяина и приходить на работу в определенное время, а потом сидеть там до самого вечера. В конце концов, он поругался с хозяином и ушел с работы.

Пять лет Пьер бродил по Франции, затем он познакомился с белыми русскими, которые ему очень помогли, приютили его и дали работу - он работал у них в лагере РСХД шофером грузовика. Тогда он и решил принять православие и окончательно сделаться русским. Он

все время хотел поехать в Россию и даже мечтал остаться там навсегда, потому что в России все было очень дешево - и квартиры, и питание, а медицинское обслуживание было бесплатным. Ну а русские женщины самые красивые и добрые - он мечтал жениться на русской, и чтобы у них родилась дочка. Только в России возможно, чтобы нормальная женщина вышла замуж за больного или ненормального - во Франции больные могут жениться только на больных.

Уже темнело. Как и положено Коту, Костя перелезал через заборы, влезал в какие-то самые невероятные дыры и щели - ему обязательно нужно было запутать свой след. И вдруг, совершенно случайно, он поднял голову и увидел табличку с названием улицы – это была та самая улица, на которой жила Катя! Он понял, что это Знак, и стал смотреть номера домов, отыскивая тот самый, нужный номер.

Катя был единственной, кого Костя здесь в Париже еще знал, кроме Пьера. Катя была феминистка, в свое время высланная из Советского Союза во Францию. Они познакомились два года назад в Ленинграде на философской конференции, где Катя делала доклад о положении женщин в СССР. Костя очень понравился Кате, и его стихи, и внешность, она громко восхищалась им, Катя была лет на десять старше Кости, но Косте, не привыкшему к публичному признанию, ее внимание льстило, тогда он публиковался только в самиздатовских журналах. Катя была высокая тучная женщина, с редкими светлыми волосами, собранными сзади в старушечий пучок, бледно-голубыми, почти белыми глазами, и картофелеобразным носом, на котором сидели очки в железной оправе; она носила платок, как носят старушки на богомолье.

Они зашли вместе выпить в какую-то грязную забегаловку на углу Загородного и Разъезжей, Катя, как всегда, ужасно напилась, открыла сумку и стала размахивать толстой пачкой долларов, стараясь привлечь к себе внимание окружающих.

- Я жертва Гулага, а это мой товарищ по Гулагу! – вопила Катя, тыча пальцем в Костю. Косте с трудом удалось ее успокоить, он проводил ее домой и почти сразу же ушел, потому что дома сидел очередной Катин муж, который затравленно смотрел из угла, а Косте это было неприятно, ему не хотелось над ним издеваться. К тому же, Катин муж недавно вернулся с Афона, где провел два года, поэтому еще не успел привыкнуть к мирской жизни.

Правда, на следующий день Костя снова пришел к Кате, она была очень злая, что с похмелья вполне естественно. Ее мужа он не увидел, зато за столом сидела тощая девица в очках с толстыми линзами и с огромным перекошенным носом. У Кости создавалось такое впечатление, что он видит ее отражение в кривом зеркале, но это было не отражение, а вполне реальное лицо. Она вытянула шею и молча ревниво уставилась на Костю.

- Знакомься, Костя, это мой секретарь Агафья, -- Агафья, никак не реагируя, продолжала злобно изучать Костю, и только через некоторое время кивнула ему головой. Катя достала бутылку вина и предложила опохмелиться.

- Я пить не буду, -- визгливым голосом произнесла Агафья, -- Я вообще пить не люблю.

- Ну Агафьюшка, пожалуйста, -- стала упрашивать ее Катя и не отставала до тех пор, пока Агафья не выпила рюмку.

С тех пор Костя часто встречал Агафью у Кати, и каждый раз она смотрела на него с нескрываемой злобой, а Катя начинала очень веселиться, ее почему-то забавляло поведение Агаши, как она ее ласково называла - ведь она была феминистка и считала своим долгом обращаться с женщинами нежно и ласково.

Пьер ходил в расстегнутых рваных штанах, не мылся, от него плохо пахло, но он был де ля Ферре, аристократ, поэтому «белые русские» – потомки первой волны русской эмиграции – не считали для себя зазорным приглашать его на разные званые вечера и семейные праздники.

Барон Чигирев, который жил в маленькой тесной квартирке блочного пятиэтажного дома в десятом арондисмане, плотного сложения, с воспаленным взглядом и красным, опухшим от пьянства лицом, был его приятелем. Своей жене барон часто повторял, что Пьер не такой, как все, и что он его очень любит. Сам Пьер в равной мере ненавидел и буржуазию, и аристократов: он считал себя анархистом.

Однажды Пьер предложил Марусе сходить с ним и с Галей на свадьбу одного из многочисленных здешних князей или графов, из белой эмиграции. Они обычно женятся на своих, причем плодятся со страшной силой, как тараканы. Они обязаны таким образом поддерживать породу, это Марусе потом объяснил Пьер. Так что у них у всех по десять детей, а то и больше.

Маруся хотела оказаться, но не смогла. Она уже два дня ничего не ела, а Пьер уверял, что на свадьбе очень хорошо кормят. Пьер радостно вывел машину со двора, Галя села рядом с ним, Маруся - сзади, и они поехали в центр. По дороге Пьер говорил без умолку, он был очень рад, что его сопровождают две дамы.

Недалеко от парка, где происходила свадьба белых русских, они спустились в паркинг, чтобы оставить там машину. Паркинг представлял собой страшный ободранный бетонный коридор, заполненный запахом бензина и выхлопными газами, казалось, отсюда невозможно найти выход.

- В паркингах иногда происходят странные вещи, - задумчиво сказал Пьер, загадочно поглядывая то на Галю, то на Марусю.

Маруся надолго запомнила, какая на той свадьбе была необычайно красивая зеленая трава, яркая, как будто ее покрасили, все это происходило в Монжероне, в парке. Как в

Советской России раньше перед приездом на смотр войск какого-нибудь важного лица, генерала, например, чистили черным гуталином шины машин и красили зеленой краской траву, чтобы было красиво. И на такой яркой зеленой траве стояли столы, покрытые ослепительно белыми накрахмаленными скатертями. Столы были большие, прямоугольные, на них стояли тарелки с крошечными бутербродиками, самыми разными. Все приглашенные расхаживали по этой травке, чинно переговариваясь. Дамы в шляпках с вуалетками, и туфли у них были обязательно одного цвета с платьем. К столам никто не подходил и ничего оттуда не брал - значит, еще было нельзя. Потом появились лакеи в черных фраках и белоснежных рубашках, они разливали разные напитки, тут уж самообслуживание не допускалось, все сразу подошли к столам, и образовалась даже небольшая давка, как у прилавков ленинградских магазинов, когда продавали, например, баночки с дешевым детским питанием. Лакеи очень здорово секли, кого надо обслуживать в первую очередь, они сразу видели, кто одет получше, да честно говоря, одежда была не так уж важна, у всех присутствующих социальное положение было написано на мордах. Их дети путались под ногами, но никто на них не кричал, наоборот, когда один ребенок залез на стол, все стали на него умиляться, а потом так нежно его сняли.

Один Пьер был в расстегнутой рваной рубашке, покрытой пятнами, из-под рубашки выглядывала грудь, покрытая седой растительностью, нос у него был красный, и на нем тоже росли волосы, а борода торчала сбоку подбородка. Щеки, все испещренные красными прожилками, отвисли, рот был под самым носом и совсем перекошенный. Он стоял у стола и протягивал руку с мутным стаканом лакею, а лакей обслуживал других гостей, их было много, и всем хотелось пить из-за сильной жары. Правда, похоже было, что Пьер уже успел выпить, потому что нетвердо держался на ногах и радостно смеялся, широко раскрывая рот, откуда торчали обломки почерневших зубов, и дрожал красный толстый язык, смех у него был какой-то очень визгливый и возбужденный, он переговаривался с Галей, у нее был заторможенный вид, она тоже улыбалась и что-то там сюсюкала, он все время хватал ее за руку, а она незаметно пыталась ее забрать. В общем, он стоял так со стаканом уже довольно долго, а лакей все не замечал его. Наконец, примерно этак через полчаса, он все же налил ему красного вина, и Пьер, очень довольный, стал прихлебывать из стакана, закусывая бутербродом.

Когда же свадьба закончилась, и все стали расходиться, они отправились в паркинг, тут выяснилось, что Пьер забыл, где он оставил свою машину. В паркинге было несколько «уровней», то есть этажей, и все одинаковые, обозначались только буквами, и вот букву-то Пьер и забыл. Они долго ходили все втроем с этажа на этаж, бродили вдоль рядов машин, пару раз их едва не задавили какие-то лихачи, въезжавшие в паркинг или выезжавшие наружу, Галя и Пьер уже начали переругиваться, Пьер весь вспотел, и периодически вытирал свой лоб полкой рубашки, он был в полной растерянности. А Галя даже стала хныкать, потому что Юлия осталась дома, под присмотром сумасшедшей Эвелины, и кто знает, что той может прийти в голову. Пьер тут же заявил, что Эвелина ничуть не более

сумасшедшая, чем сама Галя или, к примеру, Маруся, и что с Юлей ничего случиться не может. И так они ходили кругами по этому паркингу, Марусе все это уже надоело, и она решила оставить их здесь и ехать на метро, хотя ей и жалко было тратить зеленый билетик. В этот момент Пьер резко метнулся в сторону и разразился диким хохотом: оказывается, его машина была здесь, таких машин там просто вообще не было, одна дверь была у нее заклеена изолентой, а крыло выкрашено в белый цвет. Пьер с гордостью и превосходством посмотрел на Галю с Марусей, он ждал похвал и восторгов, Галя тут же подошла и поцеловала его в знак благодарности.

Костя запомнил Катин дом и подъезд, потому что неделю назад, на второй день после приезда в Париж, он уже приходил сюда на Бобур вместе с Марусей. Костя тогда был очень возбужден, они выпили много красного вина, а потом Катя повела их в кафе. У Кости же внезапно начался приступ блевотины, наверное, потому, что перед этим по настоянию Маруси он принял галоперидол, а психотропные средства обычно нельзя совмещать со спиртным. Приступ начался как раз в тот момент, когда они зашли в комфортабельное кафе и сели на красный бархатный диванчик, на который Костя и начал вдруг блевать, официант хотел было что-то сказать, выразить недовольство, но Катя сунула ему в руку несколько монет по десять франков, и он заткнулся.

Потом они переходили из одного кафе в другое, Катя говорила, что это называется “Grand tour royal”, и что так обычно делают французы, когда происходит большая гулянка. Костя же, желая показать Кате чудеса ловкости и героизма, переходя улицу, буквально бросался под колеса машин, которые шли нескончаемым потоком, и Маруся всерьез начала опасаться, что его, в конце концов, задавят, но машины обычно притормаживали, и Костя проходил перед ними демонстративно медленным шагом с насмешливой и гордой улыбкой на губах, а Катя аплодировала. Особенно Катя была довольна тем, что он заблевал все кругом.

- Правильно, молодец, только такие чувства и может вызывать этот город. Давай еще, молодец, – подбадривала она его.

Посетители за соседними столиками в кафе смотрели на них в ужасе, а блевотина все продолжалась и продолжалась, казалось, ей не будет конца, но Катя была в восторге и все твердила:

- Молодец, хорошо, так их, так...

А потом, когда они вернулись к ней в квартиру на Бобур, в гости сразу же притащилась Катина безумная соседка. Костя пытался поцеловать ее мокрым от блевотины ртом, а она взвизгнула, тогда Костя ударил ее по башке, а она начала визжать и орать, и даже, правда с некоторым опозданием, театрально грохнулась на пол. Костя тоже повалился на кровать и не мог встать, он лежал и без остановки хрипел:

- Уберите эту женщину!

Соседка вскоре ушла, а Катя задумчиво посмотрела на Костю и внезапно сказала с отвращением:

- Да, все хорошо, конечно, но ведь нельзя столько блевотины в первый же день - это ни на что не похоже, должен же быть предел, - и раздраженно передернула плечами.

Маруся удивилась, потому что буквально за полчаса перед этим она, казалось, совершенно искренне восхищалась Костиным поведением.

Пьеру ни на что не хватало времени, он работал у одного своего знакомого актера-кукловода, который тоже происходил из белых русских, звали его Коля Уткин, хотя по-русски он не говорил ни слова, а куклам вообще не надо уметь говорить - они говорят всем своим телом. У актера был свой дом, который стал проваливаться из-за того, что у него не было фундамента. Правда, он и купил его по дешевке, но все же не ожидал, что это произойдет так скоро. Актер играл все время в одном и том же спектакле, где вместе с людьми использовались огромные куклы-марионетки. Он был лысый, с гнилыми зубами и улыбался сладкой улыбкой. Пьеру он платил очень мало, а иногда и вообще ничего не платил. Жил Коля с приземистой кудрявой женщиной Фредерикой, которая была лет на десять старше него и курила травку. Точнее, травку они курили вместе.

Во время работы Пьер часто рассказывал Коле разные истории. Например, про своего друга: его жена стала ужасно толстая, просто жутко разжирела, и друг начал ей изменять, он гулял направо и налево, причем предпочитал он в основном совсем юных девочек, не достигших совершеннолетия. А жена, разозлившись, однажды ночью взяла его вставную челюсть и бросила в камин, челюсть сгорела. Только так и удалось ей сохранить семью, потому что друг без челюсти не мог идти на свидание. Правда такая идиллия продлилась недолго – вскоре он сделал себе новые вставные зубы и с еще большим рвением продолжил свои похождения, которые потом методично описывал в дневниках. Коля Уткин делал страшные глаза и ужасался, а потом хохотал. Только потом, через несколько лет, Маруся поняла, что под другом имелся в виду известный обвиненный в педофилии писатель Гарбиэль Мацнев.

Хотя Уткины и принадлежали к белым русским, они никогда не были в России, они ее ненавидели, потому что ненавидели коммунистов. Иногда они спрашивали у Пьера, как там, в России, а он им рассказывал, что в Петербурге всюду говно, оно капает со стен и течет с неба, а если начинаешь рыть яму и берешь лопату — то р-раз! — говно брызжет тебе прямо в рожу. Какой кошмар, все воняет, еще хуже, чем в Париже! Уткины начинали громко ржать. Пьер продолжал, уже переходя на Францию:

- В Сене плавают дохлая рыба кверху брюхом, ее много, а правительство обещало, что в 21 веке все будут жить в полной чистоте. Хотя вообще-то, что такое чистота?

В одной философской книге Пьер прочитал, что никакой разницы нет, что грязь, что чистота, - один хрен! Поэтому Пьер никогда не стирал одежду, а стирал только простыни. Почему — понять было невозможно, но он никогда не думал на эту тему.

В первый раз, когда Маруся пришла к Уткиным, ей показалось, что Фредерика после сильного перепоя. Она смотрела на Марусю странным пристальным взглядом и постоянно громко смеялась, обнажая большие желтые лошадиные зубы, и только потом Маруся поняла, что она просто обкурилась гашиша. Они с Колей все время курили гашиш, покупая его у одного знакомого негра, маленький кусочек величиной с орех стоил двести франков, поэтому им приходилось на всем экономить. В тот раз у них в гостях была еще Колина старая знакомая, которая раньше работала вместе с ним в театре. Знакомая была очень худая, лицом походила на индианку, на ней были веревочные сандалии, с плеча свисала такая же сумка, а одета она была в рубаху из грубого холста. Она, как и Фредерика, постоянно смеялась визгливым смехом, а когда Коля сказал ей, что Маруся из России, почему-то перешла на английский и заявила, что на Западе все прогнило, все дерьмо, и красивые витрины дорогих магазинов только раздражают людей, которые ничего не могут купить. Она считала, что Ленин был прав, и вообще, оказалась прокоммунистических убеждений. Закончив свою речь, она свернула себе косяк и с жадностью затянулась.

Фредерика же все время повторяла:

- А вы были в Италии? Ах, в Италии все так ку-у-ультурно! Так ку-у-ультурно! -- и лукаво смотрела на Марусю. Маруся спросила ее:

- А в России вы были?

- Нет!

- Так приезжайте к нам в гости, - пригласила Маруся.

- А что я там забыла? - ответила Фредерика и внезапно громко заржала. Потом они покурили гашиша и Маруся тоже, хотя ей было неловко потреблять такой дорогостоящий продукт, к тому же гашиш особого эффекта на нее не произвел, так что тем более не стоило его переводить. Впредь она решила отказываться. Потом она приходила к Коле вместе с Костей, а когда Костя уехал из Парижа в Россию — еще пару раз, одна.

У Коли еще были братья Серж и Жан, причем Серж, по словам Пьера, в молодости был очень красив, настоящий "эфеб", и Пьер даже чувствовал, что он в него влюблен. Но Пьер стыдился своих тайных гомосексуальных наклонностей и все время повторял:

- Трахать кого-нибудь в задницу! Какая гадость!

К тому же, в последнее время Серж очень растолстел, подурнел, стал сильно пить. Коля говорил, что «все это из-за несчастной любви».

Костя какое-то время постоял у дверей Катиного подъезда, пытаясь угадать код, но, к счастью, двери открылись, оттуда вышел человек и пропустил Костю внутрь. Костя зашел,

озираясь по сторонам, стал подниматься вверх... Вот, на дверях написана ее фамилия! Дверь открыла сама Катя, она была накрашена и одета в красивое красное платье. Плащ на Косте был в нескольких местах разорван, руки ободраны до крови, на щеке размазана грязь.

- Что так долго, – почему-то сказала Катя и посмотрела на него, загадочно улыбаясь. Костя уверенно прошел в комнату. Там уже был накрыт стол, за которым сидели: Агафья – ее он сразу узнал, мужик в очках (его он тоже как-то видел у Кати) и еще несколько незнакомцев с бородами. Все присутствующие так увлеклись беседой, что почти не обратили внимания на появление нового гостя. Катя сидела во главе стола и подливала всем вино. «Вот оно, это собрание состоялось специально ради него. Именно он спасет Россию, собравшиеся здесь пойдут на Дон и поднимут казачество», – от вида накрытого стола и большого скопления людей мысль у Кости заработала с утроенной силой. Костя опять вспомнил, что он не только Кот, но и Капитан русской флотилии, совершивший высадку в Крыму, под Перекопом.

- Да, представляете себе, ведь Россию можем спасти только мы, – авторитетно рассуждал огромный мужик с всклокоченной седой бородой, обводя всех сидящих за столом воспаленным взглядом из-под очков, – интеллигенция, – последнего слова Костя явно не расслышал, такое сильное волнение произвело в его мозгу начало фразы. – Мы должны чувствовать ответственность перед своей страной, ее народом, традициями, культурой, -- продолжал оратор, поправляя очки.

- Конечно, я совершенно с вами согласна, Иван, -- громко и значительно проговорила Катя, при этом даже слегка привстав со стула и подливая себе вина, – Я всегда думала об этом. Но нельзя забывать о вере, хотя Лиотар понимал традиции несколько иначе, чем вы!..

- Конечно, – подумал Костя, – они догадались, что Капитан уже с ними, однако никто из них не знает, что он еще и Кот.

В это мгновение Костя поскреб ногтем по скатерти стола и попытался улыбнуться загадочной кошачьей улыбкой. Сидящие за столом не обращали на него никакого внимания.

- Да! Как я раньше не догадался! Об этом знает только Она! – Внезапно Костя вспомнил Марусю. Когда он в последний раз ее видел, она сделала ему рукой какой-то странный жест. И только сейчас он понял: когда они победят, гимном России будет «Мурка». Он даже на мгновение представил себе, как футболисты сборной России перед началом матча со сборной мира застыли на поле под звуки этой песни, а на флагштоке вверх взмыло знамя с изображением улыбающегося марусино лица.

Но «Мурка» – это не просто так, это еще и разгадка самого главного Кота, ведь «Мурка» – это еще и кошка. Главная Кошка. «Эх Мурка, Маруся К...» – пронеслось в голове у Кости, но на последнем слове он осекся, не решаясь даже в мыслях до конца произнести эту сакральную фразу, потому что ему казалось, что тогда он может разгласить какую-то самую страшную и не доступную никому тайну, и суки, узнавшие тайну Марусино имени,

набросятся на нее и растерзают. Однако это совпадение еще сильнее укрепило Костю в глубине и серьезности его неожиданного прозрения. И вдруг Костя испугался, его смущала трагическая концовка мистической песни. Но испуг длился недолго, в то же мгновение перед его мысленным взором предстала заключительная сцена конца мира, которой должны были завершиться все тысячелетия истории человечества.

В просторном, залитом светом огромных хрустальных люстр зале ресторана, за накрытым белой скатертью столом сидела Маруся, одетая в черную кожаную куртку, а рядом с ней - здоровенный мужик в милицейской форме, который и был самой главной Сукой – Антихристом. И вдруг дверь ресторана распахнулась, и на пороге появился Костя. Костя направляется своей элегантно кошачьей походкой, ловко лавируя между столиками, прямо к Марусе. Казалось, что он уже не идет, а танцует, выделявая самые невероятные па, как Нижинский в «Послеполуденном отдыхе фавна», этот безумный танец был тайным оружием Кости, он должен был сокрушать сознание всех врагов Кости, сводить их с ума. У окна за столиком Костя заметил даму с вуалью, это была Катя, одновременно Катя была еще и Незнакомкой, которая каждый день приходила сюда, в этот ресторан, и «медленно пройдя меж пьяными...», садилась у окна. Вуаль позволяла Кате глядеть на божественный танец Кости и не ослепнуть.

Тем временем, Костя уже вплотную приблизился к столику, за которым сидела Маруся, вот он засовывает руку за пазуху и... достает оттуда небольшую коричневую маслину и протягивает ее Марусе: «Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь «маслину» получай!». Вот в этом двойном значении слова «маслина» и заключалась загадка мира, которую он, Костя, разгадал.

Нет, не напрасно он так долго и тщательно изучал труды русских философов: Флоренского, Бердяева, Булгакова. Костя вспомнил, как на целые дни уходил в библиотеку и все читал, читал, читал, даже тогда, когда им с Марусей совсем нечего было есть. И Маруся тоже не напрасно переносила все эти тяготы. Теперь ключ от мира был у него в руках, в этой маслине. Все трансцендентное стало имманентным. На смену Царству Кесаря пришло Царство Духа. Свершилось – Красота спасла мир!.. «Так и кончается мир, так и кончается мир, только не криком...» – пронеслась в его голове строчка из поэмы Элиота, - - «только не криком, а смехом!» -- торжествуя завершил ее Костя.

И действительно, Маруся, увидев «маслину», радостно рассмеялась, но рассмеялась не только она, рассмеялись все посетители ресторана, осталась грустной только сидящая у окна Незнакомка, она была обречена на вечную печаль, как Агасфер в свое время был обречен на вечную жизнь. Но это еще не все: сидящий рядом с Марусей огромный плечистый милиционер, с красными погонами и в фуражке с красным околышем, сам сука – Антихрист, тоже вдруг расхохотался громким раскатистым добродушным смехом. Ба! Как же Костя его сразу не узнал, это же был дядя Степа, тот самый дядя Степа-милиционер, книжку про которого читала ему в детстве бабушка...

В детстве Костя долгое время жил у бабушки на Воронежской улице, неподалеку от Лиговского проспекта и Обводного канала. Они жили в огромной коммунальной квартире, где было еще не меньше двадцати семей, на первом этаже, в доме, в котором раньше, до революции, располагалась конюшня. Среди соседей Кости были люди самые разные, даже один бывший власовец, дядя Женья, который уже отсидел свое и работал водителем самосвала. Власовец дядя Женья часто брал маленького Костю с собой кататься на машине, Костя хорошо запомнил его лицо. И вот это лицо благородного предателя и было теперь у дяди Степы, за внешней суровостью которого явственно проступала какая-то скрытая лукавая доброта.

От сознания того, что он понял самое главное, Костю охватило ощущение счастья, и он с размаху плюхнулся на диван, громко замяукал, а потом заорал:

- Ну все, бя, суки, конец света! Конец света, бя!

Все в ужасе уставились на него, а потом Костя заметил, что за столом никого не осталось. Гости перешли на кухню, и оттуда явственно доносился какой-то шепот. Потом Костя услышал, что гости расходятся. «Собираются на Дон», – подумал Костя. Он тоже встал и многозначительно сказал Кате, что ему тоже пора. Костя считал, что никаких лишних слов не нужно, все и так все понимают.

- Да? – переспросила Катя, – Ну ладно, иди. Приходи, когда захочешь, и только со двора посвисти, я тебе сразу открою.

Кажется, она уже была основательно пьяна. Агаша же продолжала сидеть за столом, и в ее взгляде, устремленном на Костю, читалось какое-то тайное наслаждение.

Потом Маруся слышала, что Агаша всем рассказывала, будто Костя был в нее влюблен, но она не отвечала ему взаимностью, а из-за этого тогда и разыгралась за столом эта трагическая сцена. Вообще, в Агашу были влюблены все мужчины, которых она знала. Она постоянно об этом всем говорила. Здесь в Париже, в Агашу был влюблен араб, хозяин ресторана на Рамбюто, куда Агаша с Катей часто ходили обедать.

- Ах, он такой красавец, он даже красивей, чем Костя! – говорила Агаша, этот образ она часто использовала в своих рассказах, Костя служил для нее своего рода эталоном, единицей, положенной в основу измерения мужской красоты.

Был в Агашу влюблен и прыщавый ветеринар Жан-Пьер, живший по соседству, напротив станции метро «Арз э Метье». Ветеринар случайно отравил крысиным ядом свою жену и отсидел за это пять лет в Санте. Агаша один раз ходила с ним на выставку «Арт брют», на которой были представлены картины четырех парижских шизофреников. На одной из картин была нарисована огромная крыса с открытой пастью, пытающаяся проглотить раскаленное солнце, картина называлась «Крыса и Солнце». Ветеринар переминался с ноги на ногу и все порывался отойти в сторону, пройти дальше, к другим картинам, однако Агаша почему-то задержалась именно у этой картины и внимательно рассматривала именно ее в течение пятнадцати минут, как минимум. Агаша называла ветеринара очень «тонким и чувствующим человеком», но, видимо, для нее он все же был

недостаточно тонок, потому что Агаша, которой было уже за тридцать, так ни разу и не была замужем, в последние годы она полностью жила на содержании у Кати, исполняя при ней обязанности секретарши-компаньонки. Катя же, наоборот, меняла своих мужей постоянно. Катя и Агаша вели философскую переписку о любви, в которой делились своим опытом и наблюдениями в этой сфере человеческих чувств, имен они не называли, так как переписку публиковали в одном из эмигрантских религиозно-философских журналов.

"Сегодня на дороге я встретил Ольгу, она прекрасна, ей двадцать восемь лет, у нее рыжие волосы, собранные сзади в конский хвостик. Мы вместе лежим на траве и греемся на солнце, ее смуглые ягодички так и хочется укусить, ее груди, как спелые плоды манго. Она не любит животных. Она девственница, у нее нет детей, и, к тому же, никогда не было абортов. Ее тело как персик. Мы обнимаемся и целуемся. Наши тела покрыты потом. Она вырывается и убегает как газель в ванную. Вечером мы идем купаться на Коко-пляж, на озеро. Каждые сто метров мы останавливаемся, и наши языки переплетаются. Потом мы ложимся на траву и я..."

Тут Пьер задумался. Он не знал, что должно было произойти потом. Диалог кожных покровов - эпидермический диалог - вот что ему нравилось больше всего, половой акт казался ему отвратительным, это только животные совокупляются, люди тоже, к сожалению, в основной своей массе фаллократы, и среди них лишь немногие познали подлинную гармонию диалога кожных покровов.

"Главное - это твои чувства, твои пять чувств! Смотри на птиц в небе, они летают, солнце светит, трава зеленая, помидор красный! Радуйся! Не нужно думать! Все привыкли все время думать, это вредно для здоровья, нужно просто смотреть и чувствовать своими органами. Самое главное - это настоящий миг! Мой друг -- известный писатель, сегодня я видел его в автобусе, он был в черных очках, потому что он не хочет, чтобы его узнавали на улице, он очень знаменит здесь во Франции. У него башка побрита под ноль. Он недавно был в Индии, там искупался в реке, и теперь у него стало что-то с глазами, он вынужден был согласиться на операцию. Теперь он в черных очках. Он педофил, он стал педофилом с тех пор, как его бросила жена, он ее очень любил, а она ушла к другому. Педофил - это тот, кто любит не только мальчиков, но и девочек..."

Костя вышел на улицу. Уже совсем стемнело, снег больше не шел, однако по-прежнему было довольно холодно. Костя был доволен. Он не сомневался, что с этого момента начнется возрождение России.

«Коты никогда не работают!» И Костя тоже никогда не работал. Конечно, за свою жизнь ему уже пришлось сменить множество профессий: от почтальона до санитара в морге. Все началось с того, что, закончив Университет на одни «пятерки», он получил распределение на кафедру в Институте АН СССР. Это было лучшее распределение у них на курсе, и все однокурсники искренне завидовали ему. Однако, отправившись однажды утром на работу, он почему-то там больше никогда и не появился. Почему? Этого так никто никогда и не узнал. Сам Костя ничего внятного по этому поводу сказать не мог – он либо молчал, либо отнекивался, стараясь перевести разговор на другую тему.

Позже он признался Марусе, что просто в тот день была замечательная осенняя погода... Такие дни бывают осенью только в Ленинграде. Светило неяркое, подернутое легкой дымкой солнце, дул свежий ветерок, то и дело срывавший с деревьев красные, желтые, оранжевые и зеленовато-коричневые листья. И подходя к дверям своего Института, Костя вдруг почувствовал, что не должен туда идти, а должен подчиниться этому дуновению ветерка, прикосновение которого он вдруг ощутил с какой-то необыкновенной и пронзительной силой, хотя ветерок был совсем слабый и едва уловимый, ибо это дуновение влекло его куда-то вдаль, вслед за листьями, туда, где скрывалась под мостом делавшая в этом месте поворот река Мойка... После этого Костя надолго исчез из поля зрения его прежних знакомых и друзей.

Несколько лет Костя проработал в библиотеке. Точнее, и там он не работал, а медитировал – в то время Костя жил по дзэну. В его обязанности входила активировка книг, ему приносили огромные пачки всевозможной литературы, а он должен был печатать на машинке названия книг и журналов на специальных бланках. Поток литературы не иссякал ни на минуту, и Костя ни на секунду не отвлекался от своего занятия в течение всего рабочего дня. Он считал, что должен относиться со смирением ко всем своим обязанностям, поэтому не отказывался ни от какой работы: помогал при погрузке журналов, покорно возил тележку с книгами. За все время своего пребывания Костя ни разу не повысил голос, был со всеми предельно вежлив и обходителен, хотя никогда сам ни с кем ни в какие разговоры не вступал.

Была в поведении Кости и некоторая странность: если книгу на его стол клали не совсем прямо, а боком или даже вверх ногами, то Костя никогда эту книгу сам не поправлял, а так и активировал ее, чуть замедляя ритм работы, внимательно вглядываясь в перевернутое или перекошенное название, стараясь его так прочесть, и, как правило, ему это удавалось. Он отрывал руки от машинки только в том случае, когда книга ложилась на стол вниз названием, и его ни на корешке, ни где-либо еще прочесть было просто физически невозможно. Эти безучастность и «безынициативность» слегка задевали его сослуживцев, большинство из которых были женщины. Они ведь не знали, что шестой Патриарх Дзэна в Китае Хуйнэн сказал: «Нет никакой разницы между плохим и хорошим!» – и Костя стремился последовательно воплотить это правило в жизнь.

Впрочем, в библиотеке было так много работы, она представляла собой настоящий конвейер по переработке книг, платили там мало, людей не хватало, поэтому коллеги Кости в конце концов смирились с этой его странностью, они ценили его за исполнительность и безотказность. К тому же, большинство женщин не особенно утруждали себя на работе, они подолгу пили чай, болтали о том, о сем, постоянно отпрашивались домой, так что постепенно как-то само собой вышло, что гора книг на его столе становилась все больше и больше, а Костя, казалось, ничего не замечал, а сосредоточенно сидел за своим столом и стучал на машинке. За это тоже коллеги ценили и уважали Костю, а некоторые даже искренне привязались к нему всей душой.

И неизвестно, сколько бы времени еще продолжалась эта идиллия, если бы, как назло, в то время не начались известные перемены в советском обществе. Женщины на работе так оживились и раскрепостились, что почти вовсе перестали работать, а только и делали, что делились друг с дружкой услышанными и увиденными по телевизору новостями. Для них это был период познания и открытия мира.

Почти целый месяц, например, они обсуждали перипетии трагической участи Бродского, который в то время как раз получил Нобелевскую премию. Все в один голос ужасались одиночеством и непониманием, которым тот всегда был окружен, в конце концов, все пришли к единодушному мнению, что поэт вообще не должен работать. Костя, который тоже писал стихи, слушал все это, сжав зубы, сам он уже давно телевизор не смотрел.

Бродского сменил Высоцкий, потом романтическая история любви курчавого певца и перерзлой певицы, бывшей его лет на пятнадцать старше, о которой поведала зачарованная сладким пением певца Гертруда Станиславовна, тощая женщина уже преклонных лет, продолжавшая работать, так как «дома ей не хватало общения». Хотя остальным коллективом эта история была воспринята крайне скептически, Гертруда Станиславовна продолжала настаивать на своем, и, как бы в подтверждение своих слов, привела в пример свою знакомую супружескую пару: «ей уже за девяносто, а ему нет и семидесяти, но они очень, очень любят друг друга!»

Потом на какое-то время всеобщее внимание приковал к себе Евтушенко, которого одна библиотекарьша считала «истинным продолжателем дела Маяковского», хотя две другие с ней не соглашались. И наконец, однажды утром юная библиотекарьша в течение двух часов делилась со своими подружками впечатлениями от творческого вечера поэта Вознесенского, и в заключение с чувством продекламировала: «Пошли мне господь второго, чтоб не был так одинок!». Эта стихотворная строчка оказалась той каплей, которая переполнила чашу Костиного смирения. В тот же день он подал заявление об уходе. Известие об этом поразило его сослуживцев, как гром среди ясного неба: они явно не были к этому готовы, да и работы, как назло, в это время было очень много. Однако Костя настаивал на своем, а чтобы его решение не казалось окружающим странным, ему пришлось выдумать целую историю о том, что он уходит в кооператив «пока грузчиком, а

там посмотрим, но платят там хорошо». Библиотекарша Эва, чаще других предпринимавшая попытки заговорить с Костей, решила, видимо, не упускать последний представившийся ей шанс и опять, подойдя к Косте, начала расспрашивать его о том, куда он уходит. Костя нехотя, но ответил.

- Правильно, - явно желая угодить Косте закивала головой Эва, - еще Б.Г. пел о поколении дворников и сторожей!

Эва и не подозревала, какой опасности себя подвергает, ибо в то мгновение Костя едва удержался, чтобы не съездить ей по опухшей от пьянства физиономии. Эва лечилась от алкоголизма, периодически она исчезала и неделями не появлялась на работе, вернувшись же, ходила от стола к столу и просила рубль займы. Костя неизменно рубль давал. Но самым удивительным было то, что она потом ему этот рубль обязательно возвращала.

Пьеру очень хотелось иметь доченьку, он даже уже придумал, что будет возить ее в тележке, которую возьмет в магазине напротив, в таких тележках обычно возят продукты, он положит ее туда, завернет в тряпочки и будет бежать вприпрыжку по улице с развевающимися полами рубашки, изредка останавливаясь, чтобы почесать волосатую грудь или яйца, а все будут смотреть и говорить:

- Смотрите, смотрите, у него все же есть ребеночек, он не такой уж импотент, как нам говорили.

А когда она вырастет, он сможет забавляться с ней как захочет.

"Девушкам, старше двадцати лет, читать запрещается!

О моя дорогая доченька, поскольку ты не слушаешься меня, я хочу строго тебя наказать. Подойди ко мне поближе. Но что это? Ты не надела лифчика? Дай-ка я сорву с тебя рубашку, позволь мне двумя руками взять твои груди и помассировать их. Дай-ка я засуну руку тебе между ног. Но что это? Ты не надела трусов? Ложись ко мне на колени, чтобы я задал тебе основательную порку. Не плачь, мой ангел, теперь твои ягодички горячие и красные, и я хочу поцеловать их, полизать, покусать, и сосать, сосать до крови...".

Такие стихи в прозе Пьер часто записывал в свой дневник, и надеялся при случае их издать. Он был знаком с одним богатым французским православным философом, и этот философ частенько говорил Пьеру:

- Пьер, пиши книгу, я с удовольствием издам ее.

Пьер сперва хотел написать книгу "Присутствие и отсутствие", а потом перешел на стихи, ему это было ближе, потому что в душе он всегда был поэтом.

Костино смирение позднее еще раз сыграло с ним злую шутку. Уйдя из библиотеки, как и обычно, в никуда, Костя долго не мог устроиться на работу. Наконец он поступил ночным уборщиком на мебельную фабрику. Работа тоже была не очень легкой, за ночь Костя должен был убрать целый цех, подмести и сложить все опилки в специальные бумажные мешки и вынести их на помойку, которая находилась во дворе фабрики, утром их оттуда вывозили на самосвале. Мешки были тяжелые, опилки застревали в горле и в носу, к тому же, Костя постоянно не высыпался, он жил в центре, и под окном у него с утра начинали греметь трамваи и машины. Тем не менее, он справлялся со своими обязанностями самым что ни на есть лучшим образом, и был доволен, причем не только потому, что мог продолжать медитировать и не различать «плохое и хорошее», но еще и потому, что здесь он снова почувствовал, что разделяет с народом всю тяжесть жизни.

Костя разделял с народом тяжесть жизни и раньше, еще тогда, когда до поступления в библиотеку работал санитаром, а потом почтальоном. Свою работу в библиотеке Костя, отчасти, считал изменой интересам народа. Но больше всего Косте нравилось, что на этой работе он постоянно находился вдали от людей, практически никого не видел, даже свою непосредственную начальницу, завхоза цеха Ларису Семеновну. Лариса Семеновна поначалу смотрела на Костю с некоторым недоверием и подозрением, но постепенно прониклась к нему глубоким уважением, тем более что Костя резко отличался своей внешностью и манерами от остальных рабочих, с которыми ей постоянно приходилось иметь дело. В душе Лариса Семеновна питала слабость к интеллигентным молодым людям. Однако старательное исполнение Костей своих обязанностей имело для него самые неожиданные последствия.

Однажды утром Лариса Семеновна пришла на работу раньше обычного, специально чтобы застать Костю, который уже закончил уборку и собирался уходить. Лариса Семеновна попросила его прийти на общезаводское профсоюзное собрание, она говорила что-то еще, но Костя слушал ее невнимательно, во-первых, потому что устал и хотел спать, а во-вторых потому, что считал себя не вправе отказываться от чего бы то ни было, так как по-прежнему «не различал плохого и хорошего». Хотя на собрание ему хотелось идти меньше всего, и он вполне мог бы отказаться, сославшись на какое-нибудь неотложное дело.

Придя на собрание, Костя оказался в огромном зале, до отказа забитом рабочими, делегированными ото всех цехов фабрики. На сцене за столом сидели директор фабрики, главный инженер и председатель профкома – собрание было отчетно-выборное, на нем должны были избрать новых членов фабричного профкома. Лариса Семеновна сидела во втором ряду, Костя сразу же ее заметил и, поспешно кивнув, отправился в середину зала, желая поскорее затеряться в толпе. Тем временем, собрание началось.

Вел собрание председатель профкома, он, как и положено, отчитался о проделанной за прошедший период работе, а потом огласил список предполагаемых новых членов профкома, делегированных цеховыми комитетами, всего членов было двенадцать – по

числу цехов. И тут Костя пожалел, что слушал Ларису Семеновну утром невнимательно -- шестым в списке значился он. Он с ужасом и тоской представил себе, что теперь в свободное от работы время должен будет по несколько раз в неделю ходить на фабрику, разговаривать с людьми, обсуждать дела, которые его абсолютно не интересовали, распределять путевки в дома отдыха... Когда он мысленно представил себе все это, то его охватила такая тоска, что он окончательно забыл о своем обычном смирении и стал лихорадочно думать, что же ему теперь делать, ведь его уже делегировали...

- И правильно бастуют! – раздался зычный голос из задних рядов, вернувший Костю к действительности. Только теперь Костя обратил внимание на то, что атмосфера на собрании была довольно напряженная, рабочие то и дело вступали в полемику с сидевшим на сцене директором, предъявляли ему претензии то по поводу низкой заработной платы, то по поводу отсутствия новых заказов на мебель. Директор, очкастый брюнет с крючковатым носом, бойко парировал все доносившиеся до него выкрики, мол, это еще не все, и скоро будут новые сокращения. А выкрик, который вывел Костю из оцепенения, относился к забастовкам шахтеров, которые тогда еще только-только начинались где-то в Сибири, о них Костя тоже уже слышал, хотя газеты об этом еще не писали.

Тем временем, председатель профкома предложил новым членам профкома встать и представиться перед окончательным голосованием, которое предполагалось провести сразу же всем списком. Когда очередь дошла до Кости, то в голове у него было абсолютно пусто, и уже вставая со своего стула, он еще не знал, что будет говорить, но его нежелание оказаться в казенной обстановке, среди абсолютно чуждых ему людей, от которых он всю жизнь старался держаться как можно дальше, в этот момент достигло своего апогея, и, сам того не желая, Костя вдруг вобрал в себя воздух и произнес:

- Я отказываюсь заседать в комитете профсоюзов, которые на данный момент абсолютно себя исчерпали. Почему профсоюзы не поддерживают бастующих шахтеров? Тогда зачем они вообще нужны!

Сказав это, Костя почувствовал, что у него как гора с плеч свалилась, он сел обратно на место и с облегчением вздохнул. На мгновение в зале установилась мертвая тишина. Лариса Семеновна повернулась к Косте и уставилась на него округлившимися от ужаса глазами. Но Костя успел опять утратить интерес к происходящему вокруг и погрузился в свои мысли. Некоторое время собрание продолжалось своим чередом, снова началась перепалка рабочих с директором, и о Косте, вроде бы, забыли. Однако вскоре Костя опять почувствовал неладное: трудно сказать, с чего все началось, но не прошло и пятнадцати минут, как в зале поднялся невообразимый шум, волна возмущения накатывала из задних рядов. И среди возбужденных голосов рабочих Костя с ужасом различил фразы, недвусмысленно касавшиеся его:

- Вот такие люди нам нужны!

- Пусть скажет все, что он думает!

- Предоставьте ему слово, дайте ему высказаться!

Рабочие требовали, чтобы директор предоставил Косте слово. Очкастый брюнет с усмешкой пригласил Костю на сцену. Косте ничего не оставалось, как подняться на трибуну и выступить. Правда, на сей раз он уже не чувствовал особого волнения, ведь отступить ему было некуда. Костя взял микрофон, и, стараясь говорить как можно тверже и увереннее, снова повторил, что ситуация в стране сейчас резко изменилась, что по-настоящему независимые профсоюзы сознательно поддерживали бы шахтеров, а в этих продажных профсоюзах он вообще не желает состоять...

После собрания, когда Костя уже спускался по лестнице, он слышал за собой восхищенные возгласы рабочих:

- Здорово! Побольше бы таких людей!

Лариса Семеновна две недели не разговаривала с Костей и при встрече смотрела на него с опаской. Наконец, она вызвала его к себе и поинтересовалась, почему он заранее не предупредил ее о своей особой точке зрения на профсоюзное движение.

- А вообще-то, – заключила она, -- я долго думала и решила, что вы Константин – личность, и я вас уважаю.

Костя в душе чувствовал себя виноватым перед Ларисой Семеновной, но сказать ему было нечего. Однако ситуация на этом себя не исчерпала.

Примерно через неделю, придя на работу, он застал в цеху трех незнакомых ему человек, которые наперебой начали настойчиво уговаривать его баллотироваться от их района в городское законодательное собрание.

- Представляешь, какие перед тобой открываются перспективы! Ты будешь нашим Лехом Валенсой! – все повторял один из них, тощий, маленький и вертлявый, явно не пролетарского вида, в очках и с бородкой. В результате, Костя был вынужден уйти и с этой работы.

Маруся сидит в темной комнате с низким потолком, окна сплошь заставлены книгами, в комнате от этого темно и днем и ночью. А ночью, когда она просыпается с тяжелой головой после пьянки, голова бывает и не такой тяжелой, если съесть маленький квадратик - таблеточку, тогда и голова наутро не болит, но все равно, все призрачно-стеклянное и неестественное. Утром слышны лязг и грохот, и крики - это китайцы тащат тюки с товарами, поднимаясь по железной лестнице, которая проходит вдоль всего двора, и в этом дворе-колодце каждый звук отдается нестерпимо громко, и удесатеряется.

Эта комната или в Париже или в Ленинграде, и даже точно она не знала, где, но везде одно и то же: за окнами узкая улица, мощенная булыжником или заасфальтированная, и все время слышны автомобильные гудки, они кричат протяжно и отрывисто, хоть это и кажется порой невероятным. А в метро у мужика, сидящего напротив, белые кроссовки на

резиновой подошве, и бросается в глаза противоестественно-синий носок. Кепчонка надвинута прямо на очки, он смотрит в пол.

Маруся не видит его, она видит нестерпимо яркий блеск, свет, он постоянно возвращается к ней, он везде с ней, а вокруг тени, их много, они ходят и говорят, видны блики света и слышны разговоры. Иногда смех, и такой суматошный нелепый и радостный разговор. Она уже давно привыкла к этому, она смотрит на них и улыбается. В метро полумрак, она одна, совсем одна. Одиночество - как это хорошо, изломанные блестящие змеящиеся линии и пунктиры снова проносятся мимо. Ее взгляды скользят, она никогда не смотрит прямо, она избегает этого, она не хочет.

Каждый день у ворот дома Пьера Марусю подстерегает совершенно сумасшедшая соседка, она ждет ее до поздней ночи. Завидев Марусю, она выскакивает и изломанным, манерным, лицемерным слащавым голоском говорит, говорит...

- Ты не видела моего любовника? Ты хочешь на него посмотреть? Пойдем ко мне!

Конечно, Маруся хочет, хотя она его уже сто раз видела. Клодина живет в доме напротив. Ее любовник, как она его называет, это отвратительная скользкая черепаха, какой-то особой породы, лапы у нее согнуты назад, и вся она черная. Но что самое удивительное - черепаха слушается ее. Когда она заползает под шкаф, Клодина встает посреди комнаты и, уперев руки в бока, истошно орет:

- Ах ты негодяй! Ты почему это не слушаешься свою мамочку?

И черепаха тут же выползает с виноватым видом. А когда Клодина начинает на нее орать, она боязливо втягивает голову под панцирь.

- Нет! Это не мой любовник! - вдруг взвизгивает она. - Мой любовник - вот он! -- И она сует Марусе в руки свой меховой футлярчик, тот, что она перед этим прятала в руке и не хотела показывать. Маруся берет его и хочет открыть.

- Нет! Осторожно! -- Клодина с множеством предосторожностей наконец расстегивает железную молнию. Там оказывается большое распятие. Она страстно приникает к нему губами и шепчет:

- Вот! Вот мой любовник!

Маруся не знает, как ей реагировать, но на всякий случай делает серьезное лицо и кивает. Клодина вдруг начинает дико хохотать:

- Какая ты наивная! Какая доверчивая!

У нее на столе стоит литровая бутылка с красным вином и рюмка. Она периодически наливает себе и прихлебывает. Предлагает и Марусе, та не отказывается. В комнате темно, свет она не включает, зато целый день работает телевизор, изображение скачет с невероятной быстротой, невозможно различить, что там показывают. Потом она достает свой семейный альбом и показывает Марусе. Клодина сказала Марусе, что ее родители жили в Польше, но когда Маруся попыталась спросить ее, из какого города она родом, она агрессивно завизжала:

- Я француженка, моя милая! Француженка! И не понимаю, о чем ты говоришь!

На одной фотографии она была в белом переднике и Маруся спросила:

- Почему ты в переднике?

На что она ответила:

- Чтобы работать в ресторане, нужен передник, моя милая!

Таким образом, Маруся узнала, что она тридцать лет проработала в ресторане. На других фотографиях огромное количество плотных мужиков, одни кудрявые, другие с прилизанными волосами - это ее братья, кузены, а один из них - ее муж, потому что она стоит с ним под руку в белом платье. У ее мужа был рак, и он повесился. Она обнаружила его в узкой кухне висящим под потолком на крюке от люстры. С тех пор она не любит заходить в кухню.

- Ах, Клодина, какая ты была красивая!

- Была? Была? А сейчас?

Она и теперь хочет быть красивой. Конечно, она и сейчас красивая.

Потом соседка исчезла, и Маруся была даже рада этому – ее никто не доставал, никто не приставал к ней с дурацкими разговорами, не тащил за рукав. Позже Маруся узнала, что Клодина умерла от рака горла. Она даже никому не сказала, что больна. Так и продолжала сидеть в своей комнате, где в целях экономии горела всего одна тусклая лампочка перед безостановочно мелькающим экраном телевизора, пила свое красное вино и курила "Житан" - дешевые крепкие сигареты без фильтра. По узкой улочке китайцы безостановочно таскали тюки с тряпьем - внизу находился то ли склад, то ли магазин. Потом рядом открылся большой китайский супермаркет, где продавали блестящие китайские шарики, которые можно перекачивать в руке, какие-то статуэтки, дешевую китайскую еду и красное вино. А любовник Клодины, скользкая черная черепаха, так и ползал под шкафом до тех пор, пока новые владельцы квартиры не сдали его в зоомагазин.

Маруся подходит к окну и в щелочку между книгами замечает внизу машину, очень старую, одно крыло - белое, другое - синее, капот заклеен черной изолентой, одной фары нет, дверь помята. Господи, да это же Пьер! Он снова внезапно вернулся из Нормандии. Какая-то баба и маленькая вертлявая черненькая девочка идут рядом с ним. Баба высокая здоровая, у нее круглое рябое лицо, круглые карие глаза, она одета в яркое цветастое платье, на голове сделан начес, а глаза густо накрашены черной тушью. Это его жена Галя. Пьер пытается взять ее под руку, она с нескрываемым раздражением дергает плечом, Пьер обиженно отходит в сторону, она смотрит на Пьера, ей становится его жалко, она подходит к нему и целует его в лобик. Пьер расплывается в улыбке и сжимает ее в объятиях.

Вот и теперь, как тогда осенью в Ленинграде, выйдя на берег полутемной, поблескивающей огнями плавучих ресторанов и барж Сены, Костя старался следовать

дуновениям ветерка, который, надо сказать, на сей раз был совсем не легкий, а довольно пронзительный и холодный - каждый его порыв заставлял Костю зябко поеживаться, так как он находился на улице уже несколько часов. Черная громада Нотр-Дама зловеще вырисовывалась на фоне темно-синего неба на острове Сите посреди Сены.

Костя свернул с набережной и стал плутать по узким улочкам Латинского квартала, где порывы ветра ощущались значительно слабее. Потом он снова очутился на набережной, прошел через мост и продолжил свой путь уже по правому берегу Сены. Наконец он увидел вымощенную булыжником площадь и огромный стеклянный куб Центра Помпиду... Это причудливое строение, все обвитое металлическими трубами, вдруг напомнило Косте гигантский корабль. Костя почувствовал, что его место там, ведь он – моряк, капитан, и должен стоять у штурвала.

Более того, там, в корабельной библиотеке, его ждут две дамы, Катя и Агафья, которые должны передать ему предназначенные для Маруси бриллиантовые подвески – пребывание в Париже накладывало определенный отпечаток на общий ход его мыслей. Конечно, если французы еще окончательно не утратили свой галльский дух, то они поддержат его в его борьбе за спасение мира.

Центр Помпиду уже несколько часов как был закрыт. Свет на первом этаже еще горел, и сквозь огромную стеклянную панель, заменявшую стену, Костя видел, как несколько «вижелей» - охранников - столпились у эскалатора и о чем-то оживленно беседуют. «Сейчас или никогда!» - пронеслось в голове у Кости. И как тогда, когда он стоял со Светой у витрины ювелирного магазина, он вдруг подпрыгнул и с силой ударил ногой в стекло. Однако на сей раз стекло сразу же разбилось на множество мелких осколков, которые посыпались на голову Косте хрустальным искрящимся дождем. На мгновение Костя опешил, в глубине души он этого не ожидал, но, очевидно, он попал в нужную точку, единственное уязвимое место массивного небьющегося стекла, а иначе эти стекла ни за что не разбить. Костя знал, что такая точка есть, и то, что он с первого раза угодил именно в нее, еще сильнее укрепило его веру в предначертанную ему миссию. Он был человеком, который всегда попадает в центр, в самую точку.

На улице уже слышался вой полицейской машины. Костя отряхнул с себя осколки стекла и гордо вошел внутрь. Навстречу ему со всех сторон бежали зрители. Костя величественным жестом отстранил несколько протянутых к нему рук охранников и как мог более значительно произнес:

- Deux dames, deux dames...

Он видел перед собой уже не охранников, а мужественных гвардейцев королевского полка мушкетеров, которые, услышав эту магическую фразу, содержащую намек на то, что за ним наблюдают две особы женского пола и благородного происхождения, тут же сразу переживут коллективное сатори, и со свойственными только французам куртуазностью и изяществом все, как один, опустятся перед Костей на колени. И уже отсюда, возглавив этот

небольшой отряд благородных рыцарей, Костя начнет освобождение Франции, затем России, а затем и всего мира.

Однако вместо этого Костя почувствовал, как сразу же несколько рук грубо вцепились ему в плащ. Но не тут-то было! Костя с истинно кошачьей ловкостью выскользнул из плаща и, оставшись в одной рубашке, протиснулся между охранниками, неожиданно опустился на пол, несколько раз перекувырнулся через голову, потом опять поднялся, разбежался и, оттолкнувшись от земли и сделав сальто, перепрыгнул через стоявший в центре зала стул, приземлился на пол, еще метра полтора скользил по нему, едва не упав, но удержался на ногах, остановился, выпрямился и гордо повернулся лицом к недоумевающим охранникам, явно не ожидавшим от него такой прыти. Конечно, когда-то в детстве Костя занимался спортом, гимнастикой, но это было уже очень давно, и если бы не возложенная на него миссия, в других обстоятельствах он никогда не решился бы на подобный прыжок, но теперь он чувствовал в своем теле необыкновенную легкость, оно подчинялось ему, как никогда раньше. «Ну что, съели! - пронеслось в голове у Кости, - Ведь вы имеете дело с человеком, который всегда попадает в точку, в яблочко!»

Последнее слово вдруг напомнило Косте, что он моряк, капитан русской флотилии, и должен показать этим опустившимся, забывшим свою великую историю французам всю широту и размах русской души. «Да, Константин Леонтьев был прав! Франция была и остается рассадником революционно-демократических идей!» Слово «яблочко», а точнее двойной и даже тройной смысл этого слова, не только напомнили Косте, что он моряк, но и навели его на мысль, что он не может продемонстрировать русскую удаль и бесшабашность иначе, как в этом знаменитом матросском танце. И он начал медленно наступать на сгрудившихся в кучу охранников и подоспевших к ним на помощь полицейских, старательно выворачивая при этом ногу с пятки на носок, как делали участники юношеских танцевальных ансамблей при дворцах и домах пионеров и школьников. «Эх, яблочко, куда ты котишься!» Сам он никогда не принимал участия в подобного рода ансамблях, но часто в детстве видел их выступление во время школьных праздников, а также на новогодней елке...

«Все пропьем, но флот не опозорим!» – пронеслось в голове у Кости. Это была любимая фраза его отца, который был ветераном войны, работал на заводе, и часто, выпив с друзьями огромную литровую бутылку принесенного с завода спирта, потом часами сидел на кухне, уставившись в стену невидящим взором и время от времени значительно произнося эти слова. Костя знал, что эта фраза принадлежит легендарному моряку-подводнику Маринеско, герою, потопившему немецкий крейсер, но так и не удостоившемуся правительственных наград из-за своего пристрастия к спиртному.

«Увидеть Париж и умереть! Какой, к черту, Париж, – с раздражением подумал Костя, – умереть стоит только ради такой славы, такой известности, чтобы пьяные рабочие и крестьяне пили на кухне спирт и поминали тебя!» Такое признание стоило больше любых наград и звания героя, и Костя вдруг почувствовал, что он тоже будет точно таким же

безвестным и любимым народом героем. От одной мысли об этом у него слегка защемило сердце, и он еще более выразительно прогнулся всем телом и еще более старательно начал выворачивать ступню с пятки на носок.

В это мгновение он вдруг неожиданно пережил еще одно озарение, он вдруг понял, почему в геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются. По правде говоря, хотя Костя и изучал математику в Университете, раньше он никогда этого до конца не понимал, а теперь он не только это понял, но даже на какое-то мгновение явственно увидел, как две параллельные прямые вдруг неожиданно сблизились и пересеклись. Это произошло где-то очень-очень далеко, в космосе, и длилось всего одно мгновение, но Костя сумел его уловить.

«Будто вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей!» – тут же промелькнула у него в мозгу строчка из знакомой с детства песни, но на сей раз эти слова вдруг показались ему тоже исполненными глубокого мистического смысла, ведь это он сам собирался сейчас пронестись над землей, как «будто вдоль по Питерской, Питерской», со свойственными только русскому человеку удалью и размахом. И Косте вдруг стало стыдно, что он даже не помнил имени автора этих гениальных стихов, который как бы специально скромно со смирением затаился в ожидании Конца Света, когда их скрытый пророческий смысл прояснится.

Теперь-то наконец он понял, почему Катя, которая была религиозной писательницей и диссиденткой, всякий раз, напиваясь, начинала петь старые советские песни, которые Костя всегда ненавидел. Она просто хотела таким образом дать ему знать, что уже «все схвачено», что уже многие члены церкви, включая Римского Папу и Патриарха, уже во все посвящены, но прямо об этом она ему сказать не могла. Он со стыдом вспомнил свой снобизм и то, что он в юности читал только Блока, Рембо, Верлена, Шарля Пегги, Лотреамона, а когда по радио звучали эти подлинно великие религиозные стихи, он с раздражением вскакивал и выключал радиоприемник.

Трансцендентное стало имманентным, тайное – явным, великое – малым, больше нет никакой разницы между плохим и хорошим. Ему было стыдно еще и потому, что раньше он только думал в своей гордыне, что не различает плохого и хорошего, хотя, на самом деле, до самого последнего момента, он их очень даже различал. Но Костя верил, что не все еще потеряно, автор песни еще жив, и он обязательно найдет этого скромного гения и побратски обнимет его, попросит у него прощения. А если ему это не удастся, то он, как Раскольников, все равно выйдет на Красную площадь, упадет на колени и покается перед всем миром и людьми.

Костя представил себе, как из дверей Мавзолея навстречу ему выходят под руку Леонид Ильич Брежнев, Агаша и Ленин... Ленину было трудно узнать, потому что он почему-то был в напудренном парике и со шпагой. Все трое стоят посреди площади, обнявшись, а Костя падает перед ними на колени и просит прощения. «Философы раньше хотели познать мир, а задача состоит в том... нет, все-таки Маркс был неправ, задача состоит в том,

чтобы его преобразить. Не преобразовать, а преобразить». В этом суффиксе, отделявшем одно слово от другого, для Кости в это мгновение как бы сосредоточилась вся мудрость русской религиозной философии, проделавшей путь от марксизма к идеализму.

Тем временем охранники и полицейские медленно, но верно окружали Костю плотным кольцом, и с некоторым недоверием и опаской наблюдали за его телесными манипуляциями, им казалось, что он совершает ритуальные движения одного из неизвестных им видов восточных единоборств. Косте же, который начинал приплясывать все быстрее и быстрее, наоборот, показалось, что полицейские образовали вокруг него хоровод, и потихоньку начинают ему в такт хлопать. «Вот оно! Началось!» – радостно подумал Костя.

- Все пропьем, но флот не опозорим! – на этот раз уже вслух произнес он, и ударил себя ладонью по колену, собираясь пуститься впрыска. Однако именно в это мгновение полицейские все разом накинулись на него, скрутили и поволокли по полу, схватив за его любимую черную рубашку, которую в свое время Маруся привезла ему из Западного Берлина в подарок ко дню рождения, и которую он, к несчастью, в тот вечер надел. «Хорошо, что я оставил записку», -- успело промелькнуть у него в голове.

И действительно, подходя к Центру Помпиду, Костя успел бросить в урну скомканную записку, которую приготовил заранее, и на которой большими печатными буквами было написано: «Послушай, поручик, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля?» Эта записка предназначалась для Коли Уткина, но, так как фамилия Коли была не Голицын, то он заменил в этой строчке, позаимствованной из известной песни, слово «Голицын» на слово «послушай».

Он не сомневался, что Коля обязательно найдет эту записку, так как урна, на самом деле, была бутылкой в огромном мистическом океане жизни. Рано или поздно Коля Уткин выловит ее, найдет записку, причалит свою шхуну к берегу, возьмет коня и поскачет, поскачет, дабы исполнить поручение Кости. О смысле поручения Косте было даже лень думать, ибо он был ясен и так.

В доме у Пьера не было отопления, и он, когда еще ждал приезда Гали, мечтал о том, как они будут спать вместе в одной кровати, и им будет не холодно, потому что они будут вести бесконечный эпидермический диалог. Но Галя отказалась с ним спать. Это его сперва ужасно разозлило, а потом он успокоился и подумал, что постепенно все же заставит ее, он создаст ей такие условия, что она просто не сможет от этого уклониться. Правда, Галя все же изредка исполняла свои супружеские обязанности, но все реже и реже.

Сначала, когда она приехала, Пьер был очень рад, он встретил ее с дочкой в аэропорту на машине, эту машину ему подарили в мастерской ручной работы для инвалидов, где он работал шофером-доставщиком. Машина была уже не новая, двери не закрывались, и он

привязывал их веревочками, отчего они, когда Пьер ехал быстро, стучали и звенели. Иногда Пьер, когда дорога была пустая, начинал ехать зигзагами, вилять из стороны в сторону и дико хихикать. Потом он признался Марусе, что в такие мгновения думает: "Я могу сделать все, что хочу. Могу въехать в тот столб, или вон в ту стену, или вон в ту машину. Жизнь сидящих в машине в моих руках, и даже жизнь вон тех, которые едут нам навстречу". Но он считал, что всегда еще успеет это сделать, а пока можно и от живых получать какое-то удовольствие.

Когда Галя прилетела в Париж, то ее сразу же поразили гигантские размеры аэропорта. Вокруг были огромные пространства, блестящие стекла и самооткрывающиеся двери. Дорожки двигались тоже сами по себе, а вдоль них висели стеклянные шары, внутри которых была вставлена реклама. Они с Юлей прошли паспортный контроль, где французский пограничник, внимательно прочитав содержание заполненного ею бланка, шлепнул ей в паспорт печать. Потом они съехали вниз по эскалатору в огромной стеклянной кишке и вошли в просторный зал через раздвигающиеся двери. Галя закурила и села в кресло рядом с блестящей пепельницей. Юля сидела рядом и рассматривала людей, сновавших мимо: было много негров, все тащили огромные чемоданы и коробки.

Галя вспомнила, как впервые познакомилась с Пьером. Это было в Ленинграде, на дне рождения у Галиных знакомых. Хозяин дома представил Гале Пьера как профессора славистики из Парижа. На первый взгляд, Пьер действительно чем-то отдаленно напоминал профессора: бородка клинышком, некоторая небрежность в одежде... Конечно, уже в возрасте, но зато он был французом, и у него было два дома, один под Парижем, а другой в Нормандии... Галя воспитывалась без отца, жила с матерью в деревне в Ленинградской области, ей в жизни приходилось нелегко, она вышла замуж, переехала в Ленинград, потом одна воспитывала дочку, так как ее бывший муж скрылся в неизвестном направлении вскоре после рождения ребенка.

Она помнила, как, еще совсем маленькая, смотрела по телевизору фильм «Все остается людям», и там был такой же профессор с бородкой. Сюжета, правда, она точно не помнила, но, кажется, в конце этот профессор умер, и все оставил людям. Так и она в душе надеялась, что Пьер тоже умрет – ну может быть, не скоро, такого у нее и в мыслях не было, но когда-нибудь все должны умереть, а к тому же он гораздо старше, чем она – и оставит ей с дочкой свои два домика: один - в Буа-Коломб, а второй – в Нормандии. Так что хотя бы ее дочка будет жить в собственном доме в Париже. С настоящими учеными Гале никогда не приходилось встречаться, но она слышала, что у них бывают странности, они часто рассеянны, одеваются небрежно, но очень добрые. В общем, Галя в Пьера влюбилась.

Галя заметила Пьера издали, и на сей раз он показался ей настолько отвратительным, что она тут же захотела уехать обратно, но это было невозможно, и она, через силу улыбнувшись ему, поцеловала его в дряблую щеку. Пьер дал Гале и Юле по банану и налил им виноградного сока из пластмассовой бутылки. Он был очень рад, что они приехали и рассчитывал сразу же, как только войдет в дом, потащить Галю в постель.

Потом они долго ехали на машине из аэропорта домой, мимо огромной бутылки Кока-Колы, которая поворачивалась во все стороны, мимо транспаранта с укрепленной на нем моделью автомобиля, сделанной очень естественно и правдоподобно. Было еще очень много огромных рекламных плакатов, на которых рекламировались женские трусы и бюстгалтеры, печенье, телевизоры и все, что угодно, и были плакаты, изображавшие отдельно мужчину, женщину, юношу, девушку и даже мальчика и девочку, обращавшихся к прохожим с вопросом: "Si je suis séropositif, tu joues avec moi?". Плакаты должны были способствовать тому, чтобы люди по-человечески относились к своим собратям, заболевшим СПИДом, это Галя узнала позже, потому что серопозитивность - тест на СПИД - в России был неизвестен или же назывался как-то по-другому, а во Франции СПИД принял уже такие масштабы, что просто необходимо стало развешивать везде плакаты. Пьер радостно хихикал и все время тыкал пальцами в разные стороны:

- Смотри! Смотри!

Особенно его привлекали рекламы женских трусов, лифчиков и т.д., то есть все, на которых присутствовали обнаженные женские задницы и груди.

Наконец, они подъехали к трехэтажному дому, вокруг которого густо разрослись деревья. Во дворе Галя увидела два кресла, на одном обивка была полностью ободрана, у другого отсутствовала ножка. Рядом стояла старая кровать, и валялись в беспорядке какие-то сумки и чемоданы. Они вошли в дом, и Пьер проводил Галю в комнату. Она открыла окно и выглянула вниз. Светило солнце, в зеленом дереве издавали звуки какие-то птицы, а у нее над окном, как раз под самой крышей, ворковали голуби. «Недаром этот пригород называется Буа-Коломб – подруга сказала мне, что это переводится как «Лес голубей»», -- подумала Галя, и ее охватила радость, что она наконец-то в Париже. Потом она пошла осматривать дом, и ее радость все возрастала – дом был большой, трехэтажный, с подвалом и небольшим садиком у заднего выхода. Правда, запущенный и заполненный всяким хламом, но уж ремонт-то сделать всегда можно.

Пьер поспешил показать Гале комнату, приготовленную для нее - там он установил шкаф, кресло, стол, диван и зеркало, а в соседней комнате должна была жить Юля - там тоже стояла кровать, стол и кресло. Все это Пьер нашел на улице, включая простыни и покрывала, которыми были застелены кровати. Галя, радостная, стала разбирать вещи, а Пьер отправился готовить угощение. Ничего особенного Пьер, правда, не приготовил, потому что у него не было денег, и он купил только бутылку вина, колбасы и дешевый камамбер. Они поели, а потом Галя сказала, что устала с дороги и хочет отдохнуть. Это сразу вызвало недоумение Пьера и разозлило его. Он думал, что в благодарность за все и за еду Галя сразу же отправится с ним в постель, которую он уже давно приготовил и застелил чистыми простынями, а в комнате даже поставил обогреватель, чтобы там было тепло, но он сдержался, а Галя ничего не заметила.

Марусе мешало почувствовать полную гармонию с миром какой-то небольшой надлом или перекося в ее сознании, сама она этого до конца не осознавала, а просто чувствовала: яркий солнечный день, солнце, но почему-то слишком зеленая трава, и ветер гонит ее какими-то волнами, и во всем этом есть беспокойство, мешающее ей испытать радость покоя.

Страшно проснуться под утро в самый пустой и тоскливый час, около четырех часов, именно в это время, наверное, везде бродит нечистая сила, и петух еще не пропел, и тут вот только не думать, не думать, не думать о смерти, о страданиях, а знать, как в детстве, что можно жить еще долго-долго, так сладко погружаясь в бессмысленную радость животного существования - есть, пить, спать, и не думать, не думать, не думать. Чем меньше думаешь, тем моложе выглядишь - и так и нужно - играть в этакую молоденькую жизнерадостную идиотку, доверчиво удивляясь всему и периодически раздражаясь радостным хихиканьем, как это делала мамаша марусиной одноклассницы, жена известного поэта-юмориста, она все время была очень молодая, красивая, какое-то время казалась даже моложе своей дочки, а потом вдруг внезапно Маруся встретила ее на Литейном, и даже не узнала - так она растолстела, поседела, во рту появились золотые зубы, но манера говорить осталась та же - идиотски-сюсюкающая, как будто говорит маленькая девочка.

В молодости жизнь - это сплошной сумбур, как будто в оркестре перед началом спектакля настраивают инструменты, и много разных звуков, все перемешано и невозможно вычленить какую-то связную мелодию, все путается и мешается, и такой веселый гвалт и шум, и так может быть всю жизнь, а чтобы мелодия стала связной и начала звучать осмысленно, нужно приложить много усилий, гигантские усилия, и нельзя никогда забывать о том, что ты ищешь и стараешься понять. Тебя отвлекают разные ненужные звуки, каждый день как будто начинается снова, и ты забываешь, что было вчера и утрачиваешь ту нить, без которой невозможно ничего понять.

Утром она проснулась и с первой же сознательной мыслью, с первым взглядом вокруг к ней вернулось отвращение, которое стало как бы частью ее самой, которое поселилось в ней и уже не собиралось никуда уходить. Она высунулась в открытое окно и посмотрела на улицу вниз - там на мощеном булыжником дворе стоял дворник и поливал из оранжевого резинового шланга водой этот двор и мыл чей-то гараж, она подняла глаза вверх и посмотрела на небо - оно было нежно-голубое, солнце еще не успело встать, но уже было видно, что день будет жаркий, как обычно в Париже в это время лета, она как автомат осознавала, что нужно радоваться жизни, нужно, как радуются все вокруг, но она не могла и не знала, как это изменить.

Почему-то у нее из головы не выходила строчка, вычитанная у какого-то писателя про одну проститутку, которой платили хлебом, и она сжирала этот хлеб прямо "под клиентом", потому что была очень голодна. Маруся вовсе не была голодна, даже чувствовала отвращение к еде и ела через силу, тоже как будто желая досадить самой себе. Она уже совсем потеряла способность вдыхать воздух полной грудью и могла только коротенькими вздохами пытаться набрать его в легкие, но это тоже не всегда получалось, и она боялась,

что скоро будет не в состоянии вообще дышать, тогда для жизни места совсем не останется, и будет лишь одно огромное отвращение. Этот переход происходил незаметно, и она внутри это знала, но все равно покорно ждала, потому что она ничего не могла сделать, или не хотела.

Иногда в ней просыпался панический страх, она начинала метаться, могла выскочить из вагона метро или автобуса, но из этой жизни выскочить было невозможно, а ей хотелось, но она подавляла в себе страх и старалась снова погрузиться в спячку и не замечать того, что происходит вокруг. Если же страх брал верх, то она чувствовала, как подступает безумие, черная бездна, страшное пространство без дна, куда можно падать и падать, безо всякой надежды вернуться назад, открывая по пути для себя все новые и новые извращения и получая от этого удовольствие, ибо - она теперь знала это - все сумасшедшие получают удовольствие от своего состояния, иначе они бы не оставались в нем, и поэтому их мучают лекарствами и электрошоками, чтобы выработать в них условный рефлекс отталкивания от безумия.

А ей порой хотелось забыть об инстинкте самосохранения, и она чувствовала, как ее тянет, тянет туда, где ты не будешь ощущать собственного тела и своего "я", ты как бы сольешься с природой и думать будет не нужно, и только последним усилием воли она удерживалась на краю, но ей становилось все труднее и труднее делать это усилие над собой.

Галя жила в Ленинграде в коммунальной квартире, у нее было восемь соседей, из них одна соседка сумасшедшая, которая часто стояла на кухне у плиты и ничего не варила, не жарила, а только тихонько напевала и приплясывала. Она всех ужасно раздражала, так как занимала место на кухне у плиты и ничего не делала, но разговаривать с ней было бесполезно.

Галя привезла с собой во Францию свою дочку Юлю, потому что считала, что здесь ей будет лучше: во Франции все продукты экологически чистые и даже песок в песочнице чистый, и когда Юля ходила гулять, то возвращалась вся чистая, и ее одежду не надо было стирать. Галя очень любила свою дочку, но все равно часто ее ругала, потому что была очень нервная, а временами даже немного истеричная. Она то кричала на дочку: «Я тебя убью!» - то начинала ее целовать, обнимать и жалеть, а Пьер смотрел на все это и загадочно улыбался.

Возможно, он вспоминал свое детство, а может, репетировал свое поведение на следующий раз: ведь разов будет еще много (так он думал), и на каждый раз нужно было составить в уме ситуацию и разыграть ее. Например, слова "Я тебя убью!" могли ему очень пригодиться, ведь он помнил, как его отец однажды схватил его мать за волосы и с ножом в руке, который он поднес ей к самому горлу, повторял: "Я тебя убью!" Он знал, почему его

отец так себя вел, потому что ему не доставало нежности, любви, страсти, и они с его матерью никогда не обнимались и не целовались. Они даже спали в пижамах и никогда не прикасались друг к другу за исключением тех трех раз, когда им понадобилось произвести на свет своих троих детей - так думал Пьер.

Отец Пьера был ипохондрик и мог часами сидеть неподвижно, уставившись в одну точку и прокручивая в голове свои мрачные мысли. У Пьера были еще сестра и брат, причем брат близнец, но, несмотря на внешнее сходство, во всем остальном был мало похож на Пьера: работал врачом-кардиологом, у него были жена, двое детей, машина и дом. Он почти никогда не приходил к Пьеру в гости, а его жена вообще не могла видеть Пьера, и, встречаясь с ним, сразу же заливалась слезами. Пьер говорил, что это оттого, что ей уже слишком много и одного брата, а тут еще второй, похожий на него как две капли воды.

Правда, брат Пьера гораздо лучше сохранился, у него было больше волос на голове, а во рту блестели прекрасные белые вставные зубы. У Пьера зубы были очень плохие, да и тех оставалось не так уж много, а когда он сделал себе вставную челюсть, она у него очень быстро сломалась, буквально через неделю, хотя он и заплатил за нее две тысячи франков. Он пошел к врачу, и тот ему снова сделал эту челюсть, но через неделю она снова треснула. Поэтому Пьер не мог есть ничего твердого, и даже свою любимую колбасу не мог как следует разжевать.

Колбасу он всегда прятал - у него в доме было много тайников, и он их часто менял, чтобы никто не мог догадаться, где он хранит еду. Один тайник находился в туалете, и Пьер считал его самым надежным. Правда, он часто забывал, что и куда спрятал, а потом, думая, что его обокрали, устраивал ужасные скандалы. Один раз он начал кричать на Юлю, что она стащила у него колбасу и съела ее. Галя долго пыталась его переубедить, но он кричал все громче, а Юля плакала.

- Если она взяла, то пусть скажет! - вопил Пьер, - Пусть скажет! Я ничего не имею против этого, но пусть она скажет!

Галя уже и сама начала плакать, но тут Пьер обнаружил колбасу в пустом цветочном горшке под окном. Он был немного смущен и оправдывался:

- Я заметил, что у меня есть тенденция обвинять других в том, что я сделал сам...

- Ну, ничего, ничего,- успокаивала его Галя. - Ты был не прав, но это не страшно...

В знак примирения они поцеловались.

В конце жизни Марусе всегда виделась синяя лампочка, то есть не всегда, а стала видеться в последнее время, тусклая синяя лампочка, освещающая бетонный бункер с маленьким оконцем, где стоит множество железных столов, а на них лежат какие-то предметы с привязанными к ногам номерками. Это было не страшно, а невыносимо скучно, и этот синий свет внушал уныние. Хотя ей всегда нравился синий цвет, но почему-то здесь все

было совсем другое и проваливалось в какой-то туман, почти как в бане, где по бетонному полу течет мыльная вода и множество голых людей бродят с шайками, переговариваясь между собой, а шум воды сливается со звуками их голосов.

Или когда в холодном пустом доме ты лежишь в темноте на кровати рядом с сумасшедшим и слушаешь его ровный храп - значит, он заснул и можно не опасаться, что услышишь его визгливый вечно возбужденный голос хотя бы в ближайшие пять минут, но это очень ненадежно, так как он может проснуться в любое мгновение, его сон хрупок и неглубок, он спит мало, а иногда и вовсе не спит, отчего наутро страшно смотреть в его глаза, обведенные темными кругами и таящие в глубине черное глухое безумие. Он все время говорит, говорит без умолку, кажется, что он боится замолчать, ибо, только пока он говорит, он жив и нормален, его слушают и воспринимают, он требует ответа и повторяет по сто раз каждое предложение, пока не услышит, что с ним говорят; он все время размахивает руками и, когда он идет по улице, издали его можно принять за марионетку, у которой все члены на шарнирах.

Или когда ты засыпаешь и внезапно просыпаешься посреди ночи от страха, что кто-то стоит под дверью, и слышишь чье-то дыхание, и сердце проваливается куда-то вниз, потому что отсюда нет выхода, кроме как на крышу, а с крыши - вниз, на темную улицу, а там кто-то уже плачет и причитает, и ты будешь также причитать и плакать, и бродить одна по темным улицам, а если кто-нибудь позовет тебя к себе, ты должна будешь пойти с ним и удовлетворять все его желания, ты просто обязана будешь подчиниться, потому что выбора у тебя не будет, и ты уже загнана в клетку. И самые отвратительные рожи ты должна будешь рассматривать в упор, потому что даже глаза закрыть они тебе не позволят. Постарайся же пока не думать об этом, чтобы окончательно не спятить.

Пьер никогда не вытирал сопли, а всегда слизывал их языком и с жадностью заглатывал. Эта привычка осталась у него с тех пор, когда он скитался по Франции - тогда он часто от голода ел свои сопли, они по вкусу напоминали улиток, любимое лакомство французов, и это немного его утешало.

А вот Бернар, товарищ Пьера по психиатрической лечебнице Св. Анны, рассказывал, что его брат любит есть говно - возможно, его любил есть и сам Бернар, но о себе он не решался говорить. Зато Бернар очень любил рассказывать о всевозможных пытках. Например, человека сажают на стул, а внизу в клетке голодная крыса, которая прогрызает сиденье, но человек не может встать, так как привязан, и крыса начинает грызть уже задницу человека... Когда Бернар доходил до этого места, в его глазах загорался красный огонек, и он судорожно хихикал.

Бернар тоже познакомился с русской девушкой и мечтал жениться на ней, чтобы наконец-то уйти от своей ужасной матери, которая его постоянно изводила. Она запрещала

ему трогать крантик, — так Бернар называл свой член — а Бернару очень нравился момент, когда оттуда показывалось что-то беленькое. Но мать за это ужасно била его по рукам, иногда даже стальным прутом, а он плакал, но все равно трогал.

Бернар всегда обо всем советовался с Пьером, потому что у Пьера был опыт, он сумел победить свое безумие, а теперь у него появилась нормальная жена, да еще с дочкой. Отец Бернара даже подарил Пьеру новую машину, самому ему эта машина больше была не нужна, а Пьеру еще могла послужить. Теперь Пьер ездил на хорошей новой машине, а старую, с разболтанными дверцами и приклеенным изолентой крылом, отвез на свалку.

Через несколько дней у Гали появились первые сомнения по поводу того, что Пьер — профессор. Правда, у него в доме всюду были разбросаны книги, тетради, в которых он постоянно что-то писал, но ее смущало, что на первом этаже в салоне висела странная картина с надписью «Прости меня, Наташа!». На картине была изображена чья-то голая нога, женская грудь, глаз с длинными ресницами, все это было перемешано, и, кажется, проглядывали очертания мужского члена. Однако Галя старалась не думать о неприятном и отгоняла от себя мрачные мысли. Главное — что она приехала в Париж! К тому же она ни слова не понимала по-французски, а Пьер очень плохо говорил по-русски.

Тем временем Пьер решил проучить Галю за то, что она не хотела с ним спать, правда, ей он ничего не сказал, просто на следующее утро отвел их с Юлей погулять в садик. Светило солнце, и в садике гуляли дети: они катались с горок, качались на качелях, ползали в сетке, которая была протянута от одного столба до другого, и бились в ней, как огромные рыбы. Галя была очень довольна, она чувствовала, что находится во Франции, потому что в России таких детских площадок нету. Галя села на скамейку, а Юля побежала играть. Галя сидела и все ждала, когда же за ними придет Пьер, и они пойдут обедать. Но время шло, и никто не приходил. Юля проголодалась, и ей надоело играть. Садик постепенно опустел, все разошлись по домам, а Галя даже не знала, в какой стороне дом Пьера. Пьер, когда вел их в садик, шел кругами и зигзагами, и теперь она не могла сообразить, куда ей идти. По-французски она не говорила, поэтому спросить ничего не могла. Темнело, становилось холодно. Юля заплакала, Галя прижала ее к себе и так сидела долго-долго. В небе показалась луна, зажглись фонари, они были нежно-оранжевого цвета, в Ленинграде же они зеленовато-синие — Галя смотрела на них и думала, что же ей теперь делать. Галя не знала, что делать, она вообще никого здесь не знала и плохо ориентировалась. Юля заснула. Галя уже приготовилась провести ночь на скамейке, а утром попытаться куда-нибудь устроиться жить. Тут она услышала чьи-то шаркающие шаги. Она обернулась и увидела улыбающегося Пьера, который стоял прямо перед ней. Пьер наклонился и хотел ее поцеловать, но Галя резко отстранилась.

- Что ты? — обиженно спросил Пьер. — Пошли домой, я дам вам есть!

Выбора у Гали не было. Она молча встала и с Юлей на руках потащилась за Пьером. Пьер, похоже, тоже обиделся и шел впереди молча, довольно быстро, так что Гале приходилось почти бежать за ним, чтобы не потерять его из виду. Наконец они пришли домой и Пьер, открыв дверь, поднялся к себе в комнату. Галя и Юля так устали, что уже не хотели есть и отправились спать. Но Пьер думал, что хотя бы сегодня он наконец насладится радостями любви. Как только Юля с Галей легли в постель, дверь их комнаты открылась, и в щель просунулась всклокоченная голова Пьера.

- Галя! Иди! - закричал он.

- Пьер, я устала, давай завтра, - ответила Галя.

- Нет! Нет! - капризно закричал Пьер, - Я хочу сегодня! Если ты не хочешь совокупляться, то мы сделаем только эпидермический диалог! Ты даже можешь не снимать трусы!

Юля уже спала, и Галя тихонько встала и пошла в комнату к Пьеру.

Костю долго перевозили с места на место по всему Парижу, из префектуры в префектуру, как когда-то, лет семь назад в Ленинграде, когда он хотел с закрытыми глазами дойти от Невского проспекта до своего дома на Лиговском, и ему это почти удалось, но у самого дома его все же забрали в ментовку. Там пытались выяснить его адрес, фамилию и имя, а он утверждал, что его зовут Василий Розанов и указывал адрес на Коломенской, где Розанов на самом деле жил какое-то время. Милиционеры проверяли эту информацию и ловили его на вранье, но он так и не сказал, где живет, хотя ментовка и находилась в двух шагах от его дома. Тогда его тоже возили из отделения в отделение по всему городу, чтобы выяснить его личность, но так и не выяснили, а напоследок сильно избили и даже вырвали клочок волос, и только потом перевезли в психушку, где он постепенно пришел в себя.

Здесь в префектуре Костя говорил, что его зовут то Исидор Дюкас, то Шарль Пеги, то Луи-Фердинанд Селин, а доверчивый толстый полицейский так и записывал, и даже переводчик, которого специально для этого пригласили, ничего не мог понять. Когда Костю повели в туалет, он захотел продемонстрировать какой-то очень красивый жест сопровождавшему его полицейскому, но тот не понял, а может, и понял, но просто специально, чтобы отомстить Косте за то, что тот перед этим орал: "Френч швайне!" - тяжелой каучуковой дубинкой изо всей силы заехал ему по переносице. И Костя даже в том состоянии, когда он вообще не чувствовал боли, ощутил, как у него хрустнули кости, и испугался, что тот сломал ему нос.

У Кости отобрали кожаный ремень, часы, крест на металлической цепочке и заперли в помещении за стеклянной перегородкой (вроде "аквариума" в ментовке) с огромным пьяным негром. Костя продолжал буйствовать, он отбивал руками изо всех сил по стеклу "Гимн Советского Союза" и "Марсельезу", а негр с одобрением кивал головой. Косте

казалось, что негр так доволен и радуется, потому что думает, будто он исполняет джаз. Потом негр, свесив голову с деревянного топчана, заснул, и в его храпе Косте отчетливо слышалось: "Фраер! Фраер!" Костя начал злиться, подошел к негру, чтобы ударить его, но, как только он к нему приблизился, тот тут же испуганно начал храпеть: "Сэр! Сэр!" Костю это удовлетворило, и желание бить негра сразу пропало. Так повторялось несколько раз, а безмятежно дремавший негр и не подозревал, какой опасности он подвергался. Наконец Косте это наскучило, и он начал громко декламировать все французские фразы, которые знал или когда-нибудь слышал. В частности, он несколько раз повторил, прижавшись носом к прозрачной стене:

- Messieurs, je ne mange pas six jours...,- и молодой французский полицейский, с состраданием посмотрев на Костю, тихо подошел к дверям и, предварительно оглядевшись по сторонам, присел и осторожно подсунул под дверь кусочек булочки, которую Костя тут же радостно съел, хотя никакого голода в таком состоянии он вообще не ощущал.

Утром приехал префект, и когда Костю повели мимо строя французских полицейских, ему казалось, что это ради него они все так торжественно выстроились, что он принимает парад, как Наполеон или как какой-то адмирал. Адмирал и Наполеон смешались у него в голове, и он шел мимо стоявших навтыжку полицейских в разорванной рубашке с гордо поднятой головой, время от времени скидывая скованные наручниками руки вверх в знак приветствия.

Еще ему казалось, что сейчас его отвезут на корабль, и они все вместе отправятся в кругосветное плавание. Вокруг будет только бескрайняя морская гладь и безмятежное голубое небо, а он стоит на палубе в строгой черной форме на капитанском мостике с биноклем в руках и спокойным голосом отдает приказы, и все его слушаются, над головой у него летают чайки, и лицо освежает легкий бриз... Но вместо этого его доставили в психоприемник, который в Париже называется IPPP (что расшифровывается как Infirmerie Psychiatrique de la Prefecture et de la Police, то есть Психбольница Префектуры и Полиции). Там его поместили в специальную камеру, стены которой были предусмотрительно обшиты чем-то мягким - на сей раз, эта предосторожность пришлась очень кстати, ибо к тому моменту его возбуждение достигло такой степени, что он кидался на стены и бился о них головой. Косте сделали несколько уколов, и после ужасных мучений у него наступило некоторое просветление. Он подошел к зарешеченному окну, и ему почудилось, что в соседнем окне ему кто-то помахал рукой. И в том ужасном состоянии, в котором он находился - а ему казалось, что он попал прямо в ад, и если бы не решетки на окне, он незамедлительно выбросился бы наружу - это соседнее окно стало для него чем-то вроде последней зацепки за реальность, как будто кто-то его еще любит и ждет, и мысль об этом принесла ему небольшое облегчение. Потом все куда-то окончательно провалилось и исчезло.

Очнулся Костя уже в Мэзон Бланш, комфортабельной психиатрической клинике под Парижем, куда его поместили исключительно потому, что он был иностранец из

Советского Союза, где всячески издеваются над людьми вообще и над сумасшедшими в частности, и где карательная психиатрия возведена в ранг государственной политики. Сам Костя, хотя ничего и не понимал, но бессознательно готовился к худшему и ожидал того, что было с ним в прошлый раз на Пряжке. Однако в Мэзон Бланш ему почти не давали лекарств, утром приносили кофе и даже пирожное и интересовались, что он хочет на обед. Он мог смотреть телевизор, валяться в постели, гулять в саду среди зеленых деревьев. На него никто не орал, не гнал из палаты, он мог делать все, что захочет. Косте казалось, что он очутился в раю – самое главное, что можно было спокойно лежать или сидеть и смотреть в окно, никто ни к кому не цеплялся, никто никого никуда не выгонял. Все это было настолько неожиданно для Кости, что подействовало на него, как электрошок, и, к удивлению врачей, уже через три дня он почти полностью пришел в себя.

Однажды утром он проснулся и, не вставая с кровати, стал задумчиво смотреть в окно. В голове у него еще не вполне прояснилось, и вдруг он увидел страшную старуху, которая медленно боком приблизилась к оконному стеклу и уставилась на него своими вытаращенными глазами. Костя в ужасе отвернулся к стене, а когда повернулся назад, старуха исчезла.

«Сегодня выпил литр красного... Как грустно! Сезон любви - птицы летают на дворе, самцы сеют семена в самок, светит солнце. А я один, я вечно один, хотя Галя и приехала. Галя очень красивая. Это мой тип. Я люблю ее, а она меня не любит. Она отказалась провести со мной эпидермический диалог, и я отвел ее с дочкой в сад. Пусть погуляют».

«После обеда я ездил навестить Сюзанну, она в больнице. Ей делают химиотерапию, у нее всюду торчат трубки, ее питают через пупок или через влагалище, я точно не знаю. Я сходил для нее в магазин и принес бутылку воды. Она наорала на меня за то, что я разлил воду на пол. Это естественно, ей надо выразить себя. Как хорошо я ее понимаю».

«Женщины так эгоистичны, они предпочитают хранить свое тело для самих себя. Женщина - самое прекрасное творение Бога. Но они эгоистичны. Это дефект их воспитания. Нас с детства приучают стыдиться собственного тела. Например, мое тело - это я. Я существую, это онтологично. Я - это я. А она - это она. Я свободен, я совершенно свободен».

«Я везде вижу людей, в костюмах с галстуками они идут на работу. Утром они пьют кофе - это их наркотик, курят сигарету - это для них та же соска, они все находятся в стадии сосания. Есть анальная стадия, а есть сосальная стадия. Через стадию сосания я уже прошел. Раньше, еще когда я был в армии, я курил сигареты. Потом я стал курить самокрутки. Потом я находил окурки на улицах. А потом я вообще перестал курить и теперь чувствую себя очень хорошо. Люди идут на работу. В обед они идут в кафе и жрут. Я тоже жру. Мы как свиньи - жрем, чавкаем, обжираемся - как это отвратительно! Когда

Галя увидела, как я ем, она обезумела. Потому что я веду себя естественно: я вытираю пальцы о рубашку, когда у меня есть газы в кишечнике, я их выпускаю, когда у меня есть газы в желудке, я их отрыгиваю, когда у меня в зубах застряла пища, я достаю ее оттуда пальцем или деревянной палочкой, когда у меня в носу есть сопли, я достаю их оттуда и иногда ем - они очень вкусные! Они похожи на улиток, которые мы ели в детстве с братом и Эвелиной. А Галя - лицемерка. Она и свою дочку учит всякому лицемерию, но я этого не хочу терпеть!».

«Вообще я мечтал жениться на атеистке, чтобы убедить ее в существовании Бога, но Галя, кажется, верит в Бога и ходит в церковь, хотя мне кажется, что это не совсем правда, она и здесь лицемерит. Я тоже хожу в церковь, у меня даже есть иконы в углу комнаты. И еще у меня есть портрет русского патриарха, я его прикрепил красной кнопкой к стене, эту кнопку я вколол ему прямо в лоб, между двумя глазами, и у него получилось третье око».

«Маруся – высокая, у нее светлые волосы и голубые глаза. Это мой тип. Зачем она ходит в джинсах? Лучше бы она ходила в юбке. Зачем она приехала с Костей? Это меня раздражает. Костя разбил стекло в Центре Помпиду. Его отправили в психбольницу. У него опыт. Я уважаю этого человека».

Дима приехал автостопом из Швейцарии без французской визы. Пьеру позвонили его знакомые и попросили встретить Диму и на время приютить, потому что ему было негде жить. Пьер поехал к метро на машине, которую ему отдали в мастерской, где он работал. Двери у этой машины закрывались плохо, а одна вообще не закрывалась, и Пьер привязывал ее веревочкой, но все равно это была машина, и она ездила, Пьер добирался на ней даже в Нормандию и к морю в Довиль, на самый фешенебельный французский курорт. Он был там всего лишь один день - они приехали туда с его женой и дочкой, и у самого океана на белом мелком песочке оставили свою машину - там было много машин, и много народа, все загорали и купались. У его жены не оказалось купальника, и Пьер дал ей свои старые тренировочные брюки, обрезанные по колено, которые, в случае необходимости, заменяли ему плавки. Она купалась без лифчика - так делали во Франции почти все женщины - правда, пока она шла к воде, она закрывала грудь руками, а уже потом в воде плавала, как хотела.

По Парижу Пьер не любил ездить на машине из-за трудностей с парковкой, все занято, и машину невозможно поставить, поэтому обычно он предпочитал перемещаться на метро. Но Диму встретить он согласился: это недалеко, у ближайшей станции метро Пон де Леваллуа, куда от его дома двадцать минут ходьбы, а на машине вообще пять минут. Сначала нужно было преодолеть два моста над железнодорожными путями, где ходили электрички, потом – еще мост над Сеной, внизу под которым был островок де ля Жатт (Пьер, любивший игру слов, называл его “Иль де ля Шатт”, что на аргос означало “Остров

Киски”), а справа вдали виднелись огромные небоскребы квартала Дефанс, построенного в подражание американским небоскрегам - Пьер считал, что соорудивший его архитектор страдает мегаломанией. Почти сразу же за этим мостом и находилось метро.

Когда Маруся потом попала в Дефанс, ей показалось, что там действительно все как в Америке. Огромные блестящие дома по сто этажей, и подъемник - можно полюбоваться сверху на пейзаж. Фонтанчики, бассейн с разноцветными огнями, и вода вечером становится зеленая и фиолетовая. А в подземелье, где метро и автобусы – так приятно и тихо, пахнет сыростью, как в погребе, и уютно.

Когда Пьер подъехал к метро, Дима уже сидел на поребрике мостовой, в белой рубашке и джинсах. Оказалось, что он свободно говорит по-французски, потому что в детстве жил в Швейцарии вместе с родителями, которые там работали, занимались геологией. Дима вообще говорил без умолку, постоянно о чем-то рассуждал, и остановить его было невозможно. А когда говорить становилось не о чем, он начинал приплясывать, прищелкивая пальцами и напевая какие-то неизвестные мелодии. Дима очень любил джаз. В карманах у него были конфетки, которые он периодически оттуда извлекал и давал Пьеру. Пьер с жадностью их съедал.

Пьер хотел стать знаменитым писателем, но он никак и ни на чем не мог подолгу сосредоточиться. Он знал, что он ЕСТЬ. И Бог тоже ЕСТЬ. Они вместе онтологические существа. И его родители тоже ЕСТЬ. Каждое существо ЕСТЬ само по себе. Каждое существо прекрасно, но только человеческое существо, кошек и собак Пьер ненавидел, так как считал, что они воруют частичку любви, которая могла бы попасть к нему. Если он видел, что юноша обнимает собаку, а рядом стоит девушка, он говорил:

- Вот зоофил! Он это делает потому, что не решается обнять свою подругу! Потому что это – табу!

Он любил только гусей и лошадей, потому что их можно было есть. Гуляя по лугу, он иногда останавливался и наблюдал великолепных лошадей, жеребцов и кобыл, которых подзывал к себе ржанием, так как научился ржать, как настоящий конь. Вообще-то, он звал кобыл, но часто приходили и жеребцы, а Пьер не любил особей мужского пола: он их боялся и любил только женщин.

Не так давно Пьер выгнал из дома Марину. Марина была странница, она ходила по Парижу с двумя дочками, а в рюкзаках у них были книги, жития святых и евангелия, уже начатые тюбики с кремом, дезодоранты, конфеты в разорванных бумажках, расчески с обломанными зубьями и еще много-много всего. Они пришли к Пьеру, потому что им негде было жить, а Пьер принимал у себя всех. Марина каждый день молилась Богу, дочек она отправляла спать, а сама молилась. У нее было худое лицо, черные кустистые брови и огромные черные глаза. Пьер терпел два дня, а на третий день поздно вечером объявил:

- Марина, сегодня ты спишь со мной!

Марина посмотрела на Пьера, на его обвисшие щеки в красных прожилках, на его нос с растущими на нем волосами, на обломки гнилых зубов, торчащие из-под седых усов над губами, растянутыми в похотливой ухмылке, немного подумала и, встав на колени, стала молиться о спасении души Пьера. Пьер сидел рядом на кровати, уперев локти в колени, и с восхищением смотрел на Марину. Он ждал, что вот сейчас она помолится, разденется, ляжет рядом с ним, и они проведут вместе упоительную ночь. Девочки были тут же, они крестили Пьера и приговаривали:

- Изыди! Изыди! Нечистая!

Пьер добродушно улыбался и осматривал их крепкие ножки и юбочки, под которыми угадывались ягодицы. Но Марина поднялась с колен и ушла. Она ушла, забрав с собой девочек, хотя был уже час ночи, и электрички больше не ходили. Она просила Пьера разрешить им остаться хотя бы до утра, но Пьер был неумолим, он специально дотянул до такого позднего часа, чтобы поставить Марину в безвыходное положение и вынудить ее спать с ним. Не могла же она ночью вместе с девочками идти неизвестно куда, но она все равно ушла. Вспоминая об этом, Пьер чесал яйца и задумчиво говорил:

- Я просто хотел, чтобы она ушла, поэтому и попросил ее спать со мной. Но вообще-то она прекрасно устроилась, я тут видел ее на вокзале, она, кажется, нашла себе мужика и живет с ним.

«Самые прекрасные слова в русском языке - это самец и самка. Но люди их не любят, потому что это табу. Я написал открытку одной девушке, которая мне очень нравится: "Моя любимая самка, я приеду, чтобы спать бок о бок с тобой. Твой Пьер". Но она почему-то очень обиделась и сказала, чтобы я ей больше не писал и не звонил. И ее муж сказал, что разобьет мне морду. Это странно. Когда я приезжал в Ленинград, я жил у них на квартире.

Ее муж тогда уехал жить к своей матери, а я остался с ней вдвоем в пустой квартире. Наверное, нужно было попросить ее спать со мной, но я каждую ночь мирно шел спать один в свою комнату. А надо было ей сказать: "Давай спать вместе!" Она, наверное, стеснялась предложить мне это сама. Поэтому я решил написать ей эту открытку, надеясь, что она как бы в шутку ответит мне, но на самом-то деле мне сразу же станет ясно, что она хочет спать со мной бок о бок, и я приеду в Питер, а еще лучше пришлю ей приглашение. Однако, она очень разозлилась».

«Вчера у меня ночевала Марина. Марина - это странница. Она бродит везде со своими двумя девочками. Они очень хорошенькие. Я не педофил, но через пару лет они совсем созреют. Они скоро достигнут половой зрелости. По-русски есть слово "сладкий страсть". Это слово мне очень нравится. Я хотел поцеловать одну девочку, но она отскочила. А вторую я все же успел поцеловать, она еще маленькая, я для нее как отец».

«Я хочу быть отцом. У меня тоже будет такая девочка. Я буду возить ее в тележке, которую украду в универмаге напротив. Нет, красть - это неблагородно, я ее найду на улице. Я найду на улице еще много тряпок и заверну ее в эти тряпки и буду катать по улицам, а все будут на нас смотреть. Я смогу целовать ее столько, сколько захочу и даже смогу класть ее совсем голенькую в свою кровать, и у нас будет эпидермический диалог.

А когда она вырастет, я возьму для нее бесплатные презервативы в поликлинике, у нас в поликлинике я видел объявление о том, что подросткам выдают бесплатные презервативы, я даже узнал, когда их можно взять. Я могу взять эти презервативы и для Юли, она тоже скоро достигнет половой зрелости, а Гале я предложу вставить внутриматочную спираль, потому что она, наверное, боится забеременеть, поэтому и не хочет спать со мной. А когда у нее будет спираль, она будет спать со мной каждую ночь.

Только как же тогда я оплодотворю ее? Я прокрадусь ночью к ней в комнату и оплодотворю ее сзади, сзади спираль, кажется, не действует, а она будет спать и даже не заметит, она будет сладко спать. О моя мама, где ты! Я хочу обратно в тебя! О мам, где ты? Я называю Галю Гал, так мне больше нравится. Юля же называет ее мам. О мам!»

Дима жил у Пьера уже месяц. Он был единственным представителем мужского пола, которому удалось так долго прожить у Пьера, обычно он позволял жить у себя только женщинам в надежде на то, что они будут с ним спать, а мужчины не задерживались дольше двух недель.

Вообще-то в Париже жила димина двоюродная сестра Катя, которая была замужем за французом, и он рассчитывал остановиться у нее. Но у них была очень маленькая квартира, они жили вместе с братом мужа, а тот был немного странный, да тут еще Катя недавно родила, а ее муж, тщедушный француз маленького роста, но очень образованный, страдал комплексом неполноценности и вообще был довольно вспыльчивый и привередливый, они часто ругались.

С Димой у Кати установились не очень хорошие отношения, потому что их родители были в ссоре. Родители Кати как-то давно даже сдали Диму в милицию, потому что тот украл наркотики в поликлинике, и за ним охотились милиционеры, а Катины родители случайно узнали, где он прячется, и навели милицию на его след. Дима с тех пор их ненавидел. Но еще до того однажды Дима купил своей матери мороженое и положил его в холодильник, а в это время к ним в гости пришла Катина мать - сестра диминой матери. Дима сидел у себя в комнате и слушал музыку. Он очень любил джаз, а блатную музыку ненавидел, после того, как побывал в тюрьме, он вообще не мог спокойно слышать не только блатные песни, но даже блатной жаргон. А вот джаз Дима слушал постоянно, при этом он приплясывал, дергаясь всем телом, изображая гитариста и прищелкивая пальцами. Он был очень худой, со светлыми кудрявыми волосами и голубыми глазами. Вот

так он и приплясывал у себя в комнате, а тетя Мила - сестра его матери - сидела в кухне и ждала свою сестру.

Наконец Дима решил зайти на кухню и предложить гостье чаю, потому что его мать задерживалась - и тут он увидел, что тетя ест мороженое, которое он купил для своей матери. Этого он ей тоже никогда не мог простить!

У Димы было еще два брата. Один брат играл на скрипке у Петропавловской крепости, и Дима помогал ему собирать выручку, а второй брат вступил в секту мормонов и получал доллары из Америки. У Петропавловской крепости Дима и познакомился с одной швейцаркой, которая прислала ему приглашение. Он, правда, уже заранее собирался ехать именно во Францию, потому что тетя Мила ездила туда в гости к Кате и все время повторяла: "Франция - это рай!"

И его мать говорила, что единственная страна, где она хотела бы жить - это Франция. Но когда Дима приехал во Францию, оказалось, что ему негде остановиться, потому что у Кати было нельзя. Тогда Катя предложила ему пожить у Пьера, у которого был большой дом в пригороде Парижа Буа-Коломб:

- Хотя к нему и приехали жена с дочкой, но места хватит на всех.

Дима согласился. Пьер тоже был не против. Он всегда принимал гостей - они его кормили, и даже если у них было немного денег, все равно ему хоть что-то да перепало. Во всяком случае, бутылку вина ему всегда покупали. Пьер встретил Диму у метро. Дима ему сразу понравился, потому что прекрасно говорил по-французски, у него были изысканные манеры, и, к тому же, он сидел в тюрьме, а значит, у него был опыт страдания - это Пьер очень ценил. Сам Пьер в тюрьме не был, но провел два года в Сент-Анн, где ему сделали восемь электрошоков, но он считал, что сумасшедший дом и тюрьма - это одно и то же. Он все время повторял:

- Да, я знаю, у меня опыт! - и многозначительно тряс при этом головой, горестно сжав рот в куриную гузку.

Именно в сумасшедшем доме Пьеру впервые пришло в голову, что он обязательно должен поехать в Россию, а в то время это было не так просто, потому что коммунисты мало кому давали въездную визу. Тогда Пьер надумал стать дипломатом, а чтобы не терять времени зря, решил считать, что он уже дипломат и вот-вот отправится в Россию, когда же кто-то при нем достал портфель, который назывался дипломат, Пьер принял это за Знак свыше, подтверждающий, что, действительно, он уже дипломат; после этого Пьер дни напролет, лежа на койке под воздействием лекарств, только и делал, что обдумывал подробности своей поездки в Россию.

И Дима ему сразу же показался похожим на дипломата - у него ведь были такие до блеска начищенные ботинки и белая рубашка, и держался он так прямо - настоящий дипломат! Пьер немного завидовал Диме и вместе с тем восхищался им, потому что у него был опыт. Дима стал для Пьера как бы тайным идеалом. Но, несмотря на это, Дима прожил у Пьера в доме всего месяц, а потом Пьер написал ему на бумаге: "Дима, завтра ты

уходишь, потому что приезжает Света!" Дима подумал, что это шутка, но Пьер был очень мрачный, не разговаривал с ним, отворачивался, ходил боком, к тому же спрятал телефон, который Дима, правда, все равно нашел потом в помойном ведре. Дима решил уйти на время, а потом, когда настроение у Пьера изменится, вернуться назад. Он не оставлял надежды навсегда поселиться во Франции.

Пьер очень хотел оставить после себя потомство, этот вопрос занимал его постоянно, потому что уже скоро - а может, и не так скоро - он должен умереть, то есть это не называется умереть - Пьер никогда не употреблял это слово - а просто уйти, конечно, навсегда, а его ребеночек останется. Таким образом, он воспроизведет себя, как говорил его отец, который никогда не снимал с головы своей шляпы и часто, сидя на кухне, щупал пульс. В такие минуты лицо его обретало задумчиво-беспокойное выражение, он был ипохондриком. А потом он отправлялся на природу писать пейзажи. Еще он рисовал валькирий, изучал Вагнера и даже пел вместе со своей дочерью Эвелиной, облаченной в голубую тунику, а волосы ее были украшены золотой ленточкой.

На автопортретах он рисовал себе огромные кустистые брови. Такие же брови были и у Пьера: они росли в разные стороны и напоминали траву, в которой Пьер собирался умереть, когда настанет его час. Он не хотел умирать в приюте, это его ужасало, он пойдет умирать за город, ляжет там в траву, никто не выливает туда помой, во Франции очень хорошо продумана система канализации. Он будет слушать пение птиц и спокойно умрет, как его мать и отец, которые лежат вместе в одинокой могиле на кладбище в Нормандии под прямоугольной плитой, украшенной сбоку скромным распятием.

Пьер ни разу не был на их могиле, впрочем, один раз он все же туда заглянул. По дороге он сорвал один цветочек, это был мак, и еще один - розовый, мохнатый - Пьер не знал, как он называется, он не разбирался в растениях, и, проходя мимо, небрежно бросил их на плиту. Потом он прошел по всему кладбищу и ненадолго остановился перед могилой молодых солдат, погибших за Францию.

Пьера всегда раздражала эта комедия: сражайтесь за родину! Он сам был в Алжире на войне, из-за чего потом и попал в сумасшедший дом. Он не смог вынести этого ужасного напряжения и с тех пор стал пацифистом.

У Димы в Ленинграде остался сын. Он женился очень рано, в девятнадцать лет, но его жена потом погрязла в наркотиках - так говорил сам Дима. Да и он тоже одно время был наркоманом, даже сидел из-за этого в тюрьме, правда Пьеру он сказал, что сидел из-за политики, потому что всегда был против коммунистов, и Пьер его очень жалел. Он говорил:

- У Димы есть опыт. Я уважаю этого человека.

У Пьера тоже был опыт, только он сидел не в тюрьме, а в психбольнице Святой Анны, но ему казалось, что это одно и то же. Диму постоянно переполняла энергия, он вообще не мог долго сидеть на одном месте и почти все время приплясывал и пританцовывал, прищелкивая пальцами и что-то напевая. Дима все воспринимал всерьез. Маруся не сразу обратила внимание на эту его особенность, а зря. Однажды Маруся в шутку предложила Диме ограбить магазин.

- А что? - тут же вдохновился Дима, - это совсем не сложно.

Он сел и сразу же стал рисовать план воображаемого ограбления:

- Мы заходим вдвоем в эту дверь, естественно, в масках. Я - впереди, она – посередине, ты – сзади, подходим к кассиру...

Потом Дима еще долго обсуждал с Марусей этот план, и так ей надоел, что она не знала, как от него избавиться. К счастью, вскоре его двоюродная сестра позвонила ему по телефону и сказала, что есть работа – ухаживать за старушкой, но родственники этой старушки хотят, чтобы за ней ухаживал человек верующий. Ход Диминых мыслей сразу резко изменился.

- А что? - тут же заявил он Марусе, - я скажу, что я окончил духовный семинарий, и после этого ухаживал за своей бабушкой. Правда, она теперь умерла, но это не имеет никакого значения.

Потом от кого-то последовало предложение смотреть за детьми, и Маруся, как-то вернувшись домой, увидела, что Дима стоит на четвереньках посреди комнаты и заглядывает под стол и под диваны, приговаривая:

- А где же мой маленький гномик!

Оказалось, что так он пытался играть с Юлей в прятки и готовился к работе с детьми. Юля же, заявив Марусе, что Дима – сумасшедший, ушла и заперлась в своей комнате. Однако эту работу Дима тоже не получил.

Дима знал, что Пьер собирается продавать свой дом. Однажды, когда Пьера не было дома, и Дима с Марусей сидели на кухне, в дверь позвонили. Это пришла какая-то незнакомая дама, которая заинтересовалась домом Пьера. Дима встретил ее очень галантно, проводил наверх, а сам, стремительно перепрыгивая через несколько ступенек, спустился вниз на кухню к Марусе.

- Сколько стоит этот дом, только быстро? – задыхаясь, завопил он Марусе.

- Миллион семьсот тысяч франков, - ответила ему Маруся с некоторым недоумением.

- Значит так, сиди тихо и помалкивай, десять процентов - тебе, остальное – мне! - выпалил Дима и так же стремительно бросился наверх к незнакомке.

Потом выяснилось, что дама была торговым агентом фирмы, с которой Пьер заключил договор на продажу недвижимости, и была очень удивлена резко повысившейся ценой дома. Вскоре Пьеру пришло уведомление о расторжении договора.

Но больше всего Диму занимал вопрос о том, как остаться во Франции. Ведь даже его мама говорила, что это единственная страна, где она хотела бы жить. Поэтому он решил

добиваться политического убежища. Это было достаточно сложно, потому что власть коммунистов в Советском Союзе пришла к концу, да и самого Советского Союза уже как такового не существовало, и невозможно доказать, что тебя преследуют или твоей жизни угрожает опасность.

- Что же мне делать? -- в отчаянии спрашивал Дима у Маруси. – Обратно в эту вонючую страну я не вернусь.

- А ты скажи им, что ты гомосексуалист, и тебя за это преследуют, - в шутку предложила ему Маруся, - Ведь у нас еще в УК статью о гомосексуалистах никто не отменял, так что пока у тебя есть шанс.

Дима недоверчиво захихикал, но вдруг вскочил и стал отплясывать бешеный танец, извиваясь всем телом, подергиваясь, прищелкивая пальцами и напевая что-то по-английски, потом успокоился, сел за стол и налил себе вина.

- Ты что? - спросила его Маруся.

А Дима вместо ответа стал рассказывать ей про свою жену, какая она сволочь и его совершенно не понимает. Наконец, порывшись в карманах, достал оттуда горсть орехов, начал их разгрызать и, вынимая изо рта уже разгрызенные, галантно предлагать Марусе. Марусе было неудобно отказываться, и она, чтобы не обижать Диму, съела пару штук, правда, предварительно их обтерев.

На следующее утро Дима встал рано, когда все еще спали, и куда-то ушел. Он никому ничего не сказал, но он так делал всегда, поэтому никто особенно не волновался. Правда, ночевать он тоже не пришел, но Пьер не придал этому ровно никакого значения.

- Гуляет, - хихикая и подмигивая Марусе, сказал он, когда она поинтересовалась у него, где же Дима. На следующий день Димы тоже не было, и тут Пьер заволновался:

- Черт! Где же Дима? Может быть, его забрали эти проклятые лягавые? В нашей сволочной стране можно ждать чего угодно!

Но вскоре он выпил, успокоился и забыл про Диму.

Дима явился лишь на третий день, рано утром: грязный, небритый и измученный. Оказывается, под влиянием марусиных слов он все-таки решил объявить себя гомосексуалистом. Вообще-то, Дима обычно отрицал, что он гомосексуалист, хотя и признался как-то Марусе, что на зоне ходил среди "петухов" или "опущенных" - что одно и то же. Однако на сей раз он решился открыто объявить о своей сексуальной ориентации, а если от него потребуют доказательств, он может сказать, что в России у него остался друг, которому он хранит верность.

Для привлечения к себе внимания Дима решил провести акцию и подготовил специальный плакат, на котором написал: "Французы! Помогите гомосексуалисту из ГУЛАГа!". Потом он залез со своим плакатом на Нотр-Дам и устроился между башенками

снаружи. Это место он облюбовал уже давно, еще когда приходил в первый раз, чтобы составить план действия. Там он простоял примерно полчаса, но его никто не замечал. Он продолжал мужественно стоять и к концу двух часов ожидания ужасно замерз, к тому же плакат порвался на ветру. Дима от холода стал приплясывать и прищелкивать пальцами: он изображал то гитариста, то ударника, то певца, и даже спел несколько фраз по-английски хриплым голосом - он так разошелся, что едва не упал вниз, но зато почувствовал, что согрелся. Наконец он услышал сзади какое-то шуршание и обернулся: за ним, остолбенев от изумления, наблюдал седой человек в форменной фуражке со связкой ключей в руке, очевидно, это был сторож. Через какое-то время сторож, заикаясь, произнес:

- Что это вы тут делаете? Собор уже закрывается, приходите завтра.

Близко подойти, однако, он не смог, поскольку Дима специально устроился так, чтобы стащить с крыши его было невозможно.

- Я советский гомосексуалист из ГУЛАГа, - гордо ответил Дима.

Сторож все еще ни о чем не догадался.

- А что же вы тут делаете? Вот тут неподалеку есть кафе, где собираются гомосексуалисты, вы, наверное, просто спутали, идите туда, я вам покажу, где это.

- Мне нужно получить политическое убежище, в Советском Союзе мне грозит смерть, меня посадят в лагерь. Я отсюда не слезу, пока вы не вызовете телевидение.

Сторож попытался его уговорить, даже предлагал написать ему адреса всех местных гей-клубов, сказал, что там ему помогут, но Дима ничего не хотел слушать. Наконец смотритель, бормоча под нос: «Проклятые иностранцы, проклятые гомосексуалисты, вечно с ними проблемы!» - поплелся вызывать полицию. Было уже поздно и нужно было закрывать собор.

Вскоре Дима увидел внизу несколько полицейских машин, и комиссар с рупором стал уговаривать его спуститься вниз. Люди сверху казались маленькими, просто игрушечными, а комиссар напоминал какое-то диковинное насекомое. И Диму это очень забавляло. Когда же полицейские попытались подкрасться к нему сзади, Дима пригрозил, что прыгнет вниз. Наконец он начал вопить, что требует приезда телевидения, и только когда увидел внизу машину с надписью TV, согласился спуститься.

Когда его вели к полицейской машине, он приветственно помахивал над головой руками, как делают государственные деятели, когда их встречают в других странах. Диму посадили в полицейскую машину и повезли. По дороге полицейские говорили с ним очень дружески и даже с некоторой завистью: он теперь стал знаменитостью, и скоро у него будет много денег, так пусть он тогда не забудет пригласить их в ресторан. И Дима радостно скалил зубы в предвкушении вкусного обеда.

Но его почему-то привезли в тот же психоприемник, что и Костю. Там его долго осматривали, ощупывали и спрашивали, с какого возраста он стал гомосексуалом, и кто его больше интересуется: мальчики или взрослые мужики. Дима бодро отвечал на все вопросы,

ожидая, когда же его все-таки покормят, но его просто отвели в камеру и заперли на всю ночь.

Только Дима стал засыпать, как услышал скрип открывающейся двери, и кто-то, обутый в сапоги, тяжело дыша, подошел к его кровати и нежно его обнял. Дима в ужасе стал отбиваться, потом вскочил и забился под кровать. Человек в сапогах еще походил вокруг, но не говорил ни слова, а только сопел. Наконец он выругался и ушел. Все стихло, но Дима уже боялся вылезать из-под кровати, он перетащил туда подушку и матрас, и так и заснул под кроватью.

Утром он проснулся от того, что кто-то грубо толкал его в плечо. Он открыл глаза и увидел огромные сапоги. Сверху на него презрительно смотрел угрюмый полицейский с красной физиономией. Он не предложил Диме ни кофе, ни даже хлеба, хотя Дима объяснял ему, что голоден, он вообще не сказал ни слова, а просто, с пренебрежением глядя на Диму, вытолкал на улицу, выбросил вслед его синюю нейлоновую сумочку и с грохотом закрыл ворота.

Дима некоторое время стоял в растерянности, потом бросился к газетному киоску - он был уверен, что его портрет будет везде, на всех обложках и первых страницах газет. Но нигде ничего не обнаружил. Он не верил собственным глазам, получалось, что все его мучения были напрасны. Оставалась, правда, еще надежда, что вчера его показывали по телевизору. Тогда он позвонил своей двоюродной сестре Кате. Однако по телевизору его тоже никто не видел, даже в новостях его не упомянули.

Пьера все это не удивило, ибо он был философ и великий мистик - так он сам себя называл. Он сказал, что именно так все и должно быть. Он был в хорошем настроении, потому что выпил красного вина и поел колбасы, и теперь ковырял в зубах острой деревянной зубочисткой китайского производства. А Дима решил на следующий день снова пойти к Нотр-Дам, но на сей раз устроить там стриптиз во время богослужения. «Просто так они от меня не отделаются», - злорадно заявил он.

Однако на следующий день в Нотр-Дам его не пустили. Мужик у входа, заведя Диму, сразу же подошел к нему и сказал, чтобы он сейчас же убирался, а то он немедленно вызовет полицию, и Диму надолго упрячут за решетку. Дима попытался спорить, что они не имеют права, потому что он российский гражданин, и их французские законы для него не указ, но мужик нехорошо улыбнулся и достал из кармана переговорное устройство. Тогда Дима быстрым шагом направился в сторону Латинского квартала, пугливо оглядываясь по сторонам. Ему совсем не хотелось за решетку.

В комнате, где жила Галя, тоже было окно в крыше, которое открывалось наверх, и с потолка на ободранном проводе свисала лампочка. А поскольку у Пьера далеко не в каждой комнате висели лампочки, то это было своего рода роскошью. Раньше, до Гали, в

этой комнате жила полька Ивонна, но после приезда Гали он переселил ее в другую, похуже. Ивонна работала по ночам в ресторане и приходила домой иногда в два часа ночи, а иногда уже только под утро. Она платила Пьеру за комнату 600 франков в месяц. Это было совсем недорого, и она жила у Пьера уже несколько лет, хотя Пьер периодически ее тоже выгонял. Когда она возвращалась после работы поздно ночью домой, ей, чтобы попасть в свою комнату на третьем этаже, неизбежно приходилось проходить мимо комнаты Пьера. А Пьер всегда оставлял дверь открытой, и, всякий раз, когда Ивонна проходила мимо, заунывным голосом звал ее:

- Вона! Вона! Иди ко мне! Вместе нам будет теплее!

Ивонна и так уставала, а эти заунывные призывы просто доводили ее до белого каления, к тому же ей ужасно не нравилось изобретенное Пьером имя “Вона”.

Пьер занимал лучшую комнату в доме, с туалетом, и иногда ставил себе на ночь электрический обогреватель. Это было естественно, ведь он был хозяином дома, хотя это слово ему и не нравилось. Правда дверь, ведущая в туалет из комнаты, была сломана, так что получалось, что туалет находится как бы прямо в спальне, и Пьеру казалось, что это смущает Галю, но порой он находил в этом даже что-то приятное. Но потом ему показалось, что Галя от этого становится не такая страстная, а она и так-то не была особенно страстная, только один раз, когда они с Пьером выпили вдвоем три бутылки красного вина, Пьер буквально втащил ее на второй этаж и повалил на кровать. Галя хихикала и не особенно сопротивлялась, а Пьер раздел ее, разделся сам и предался удовольствиям любви. Правда, он тогда выпил и съел слишком много, поэтому у него началась сильная отрыжка, и из его желудка вместе с газами поднималась в рот не успевшая перевариться пища. Гале не особенно хотелось целоваться с ним, но Пьер, властно загнул ее голову так, что она испугалась, что он может сломать ей шею, и впился в ее рот страстным поцелуем. Галя видела, как он ест сопли, поэтому целоваться с ним ей было не слишком приятно, и она старалась по возможности этого избегать. К тому же, профессорская борода сильно кололась, и Гале было больно, но она терпела. Одно сознание того, что Пьер – французский профессор, наполняло ее неизъяснимым блаженством, и в этот миг она даже пережила оргазм.

Как только Галя приехала, и Пьер обнаружил, что она не такая страстная, как он ожидал, он предложил ей вставить внутриматочную спираль, потому что решил, что она просто боится забеременеть. Галя согласилась, и Пьер повез ее к своей знакомой-гинекологу, которая жила в пригороде Парижа.

Когда они ехали обратно на машине, Пьер попросил у Гали руководство по применению спирали со схемой, где были нарисованы женские половые органы и тщательно с интересом все изучил, периодически задавая Гале разные вопросы. От того, что Галя целовалась с Пьером, у нее началось какое-то заболевание десен, и периодически случались ужасные приступы зубной боли. Но зубной врач, знакомая Пьера, тоже из белых

русских, заверила Галю, что это не заразное, хотя Галя ее об этом и не спрашивала. Ей прописали какое-то полоскание, и постепенно боли прошли.

Сверху площадь перед Центром Помпиду походила на палубу корабля, и в довершение сходства там была установлена пароходная труба, покрашенная в голубой цвет. Маруся отчетливо помнила, как Пьер впервые привел ее сюда. Сперва они решили подняться на самый верх, а потом уже спуститься в библиотеку. Наверху находился ресторан, кафе, и можно было выйти на открытую площадку и полюбоваться видом Парижа. Вокруг было много иностранцев, слышалась немецкая, английская речь.

Маруся сразу заметила группу толстых русских баб, одетых, несмотря на жару, в кожаные пиджаки и вслух громко восхищавшихся красотами Парижа. Сверху было видно все. Там, где находилась Сена - по словам Пьера, потому что самой Сены не было видно из-за домов - Маруся заметила много устремленных вверх башенок, остроконечных, украшенных разными вырезными штучками, но она не могла понять, где же находится Нотр-Дам, зато Эйфелева башня была видна прекрасно, и Маруся подумала, что надо бы туда сходить, подняться на нее. Она сказала об этом Пьеру, который весь перекосячился и ответил, что это очень дорого стоит, и вообще, все эти "истерические памятники" его не интересуют. Он нарочно так говорил, чтобы было смешнее, он вообще любил переиначивать слова и часто отпускал каламбуры.

В свое время Пьер выпустил книгу стихов, которые написал в психбольнице. Книга называлась "Я — параноик". Стихи в основном состояли из игры слов, книгу никто не покупал, и издатель потом был вынужден за свой счет выкупать ее из магазинов, после чего полностью разорился. Пьер рассказывал об этом со смехом, повторяя свою любимую русскую фразу: "Все это глупости!"

Маруся с Пьером спустились на третий этаж в библиотеку. В библиотеке повсюду были установлены компьютеры и телевизоры. На стуле перед одним из телевизоров, неподвижно уставившись на экран, сидел бородатый старик. Потом Маруся постоянно встречала его здесь, он перемещался от одного телевизора к другому и смотрел подряд все программы: из Англии, Германии, Испании и других стран. Ботинки у старика были подвязаны веревочками, а сам он был весь обтрепанный, и от него сильно пахло мочой. Маруся с Пьером прошли в угол огромного зала, туда, где стояли стеллажи с русскими книгами. Возможно, от вида корешков русских книг Марусе внезапно захотелось поговорить по-русски, так как она уже давно не говорила по-русски, а все по-французски, и от этого у нее устали губы и даже язык.

Потом они снова спустились вниз. Пьер отправился в туалет, а Маруся ждала его в холле, где под самым потолком, рядом с портретом Жоржа Помпиду, висело нечто огромное и странное, напоминавшее половинку гигантского яйца, покрашенного в желтый и белый

цвета. Тут к ней, на ходу застегивая штаны, подошел Пьер. Он ткнул пальцем наверх и спросил Марусю, что ей это напоминает.

- Для меня, - тут же сказал он, не дожидаясь ответа, - это огромное яйцо!

О яйцах у Пьера была разработана целая теория. Он считал, что по тому, как человек ест яйца, можно понять, как он относится к факту своего рождения. Сам Пьер, когда ел яичницу-глазунью, воинственно вращал глазами и с подчеркнуто театральным остервенением втыкал нож прямо в желток. Он относился к факту своего рождения крайне отрицательно.

Чтобы поменьше находиться в доме у Пьера, Маруся потом часто уходила в Центр Помпиду и проводила там весь день, с открытия до закрытия; она приходила к двенадцати часам, вместе с первыми посетителями, и выбирала себе в библиотеке лучшее место - на стуле, лицом к большой стеклянной стене, где можно было читать книгу, а когда надоест - смотреть вниз, на людей на площади. Она проводила так по много часов; если ей хотелось есть, то она доставала кусок булки, который предусмотрительно брала с собой из дому, и пластмассовую бутылочку с водой. Воду в бутылочку она набирала в туалете, так как выходить было нельзя, иначе потом пришлось бы снова стоять в очереди на вход.

Маруся была в старом джинсовом полупальто, которое купила на Блошином рынке на Порт де Монтрей за пятьдесят франков у араба. Она все время ходила только в нем и не снимала даже в доме у Пьера, потому что там было очень холодно. Ей вообще очень не хотелось возвращаться туда, но вечером, когда автоматический голос объявлял, что Центр закрывается, она с чувством тоски и обреченности вставала, брала свою сумку и плелась к выходу, утешая себя мыслью, что ведь еще нужно ехать в метро, потом идти, и еще много времени пройдет, прежде чем она снова окажется в этом жутком доме.

В Петербурге Маруся тоже часто ходила в Публичную библиотеку. Она любила сидеть в зале Основного фонда за первым столом, спиной ко всем, лицом к окну, и прямо напротив она видела угол Гостиного Двора, чуть справа внизу — кусок Невского с голубоватыми фонарями, где постоянно курсировали машины, а сверху падал снег, или дождь, и всегда было темно, и с неба всегда что-то падало, а Маруся сидела за этим столом и часами смотрела в окно, забыв про раскрытую перед ней на столе книгу. В зале Основного фонда, как правило, было много народу, все места заняты, и худенькая девушка ставила стремянку, чтобы достать книги сверху. Маруся сидела и смотрела в окно, постепенно впадая в полнейшую протрацию. Она как бы парила, летела над городом, под этим низким серым небом и смотрела на него сверху; это было наяву, она уже не раз пролетала там, и могла лететь все выше и выше, а могла — совсем невысоко, и если ей угрожала опасность или просто какая-то неприятность, то, чтобы ускользнуть, нужно было просто подпрыгнуть и так немного задержаться, а потом делать руками так, будто плывешь. Погружаясь в это особое пространство, Маруся как бы оставляла свою оболочку, свое тело внизу, за столом, и могла обрести относительную свободу. Иногда, правда, эта свобода становилась тяжестью, легкость исчезала, и Маруся погружалась в какое-то особое темное

пространство, причем, чем дальше она продвигалась вглубь, тем темнее и темнее становилось вокруг, было нечем дышать, и оставалось только срочно выскакивать обратно на свет. А вдруг не успеешь? В таких состояниях Маруся иногда ловила кайф, и постепенно привыкла к ним так, что они стали ей необходимы, как наркотик. Она чисто бессознательно будила в себе подобные ощущения. Возможно, это был путь к безумию - у каждого ведь он свой. Всем нужно пройти через эти особые пространства, у одних они яркие блестящие, слепящие, у других — темные, мрачные и душные, но всегда, как правило, в этом есть свой особый кайф, больше, чем в пьянстве или куреве.

В тот, самый первый раз, когда они с Пьером вышли из Центра Помпиду на улицу, было очень душно, Маруся чувствовала, что задыхается от жары и выхлопных газов тысяч машин, она боялась, что потеряет сознание и упадет прямо здесь, на мостовой, в толпе прохожих, целиком окажется во власти враждебных ей людей. На площади перед Центром толпился народ. Больше всего людей собралось вокруг мужика, который запихивал себе в рот огромную саблю. Зрелище было не из приятных, и Марусе хотелось поскорее пройти мимо, но Пьер остановился и, точно зачарованный, стал наблюдать за ним, самозабвенно ковыряя в носу. Потом, когда мужик благополучно проглотил и вытащил назад свою саблю, Пьер дал ему один франк.

- Это страдание, - с важным видом пояснил он Марусе, - он страдает.

Они повернули на одну из узких улочек справа от Центра Помпиду. Пьер подошел к окну, открытому прямо на улицу, в котором стоял араб и продавал бутерброды и напитки. Насаженный на шампур огромный кусок мяса медленно вращался над зажженным пламенем. Продавец в белом фартуке отрезал ножом от этого куска тонкие ломти, клал их на булку, добавлял салат, жареный картофель, разные соусы, и получался очень аппетитный бутерброд. Все это стоило двадцать франков. Пьеру очень хотелось есть, да и Маруся тоже проголодалась. Пьер остановился перед окном и со страдальческим видом смотрел на продавца.

- Он - арабский, - пояснил он Марусе по-русски. Маруся ждала, что же будет дальше.

К окошку подходили люди, покупали бутерброды и отходили, а Пьер с Марусей все так и стояли, как вкопанные. Продавец с насмешкой их разглядывал. Наконец Пьер решился. Он подошел поближе и спросил, можно ли положить вместо салата побольше жареного картофеля. Продавец ничего не имел против. Пьер снова задумался. От волнения он еще энергичнее ковырял в носу и облизывал пальцы. Марусе это начало надоедать, к тому же и продавец уже смотрел на них с нескрываемым презрением. Но Пьер все-таки достал из кармана две монеты по десять франков и протянул их продавцу. Тот сделал ему бутерброд и даже завернул его в белую бумажку. Пьер взял бутерброд и, разломив его пополам, половину протянул Марусе. Маруся была очень голодна, поэтому в этот момент прониклась признательностью к Пьеру.

Они сели на скамейке на площади под деревом и стали жадно есть. Тут же к ним подошла толстая девочка в грязном засаленном платье и стала что-то жалобно говорить,

протягивая руку. Она просила милостыню. Пьер отвернулся от нее, но она тоже перешла на другую сторону скамейки и продолжала жалобно скулить. Тогда Пьер протянул ей бутерброд. Девочка отрицательно покачала головой и снова настойчиво протянула руку.

- Ей нужны деньги, - сказал Пьер, обращаясь к Марусе. - Я предлагаю ей еду, но она отказывается. Значит, она не голодна. Ей нужны только деньги. Какой подлый мир, всем нужны только деньги, все думают только о деньгах!

Маруся молчала. Девочка наконец отвалила. Ее лицо было профессионально кислым, на нем застыла гримаса унижения и подобострастия. Маруся огляделась вокруг и увидела, что девочка уже подошла к другой скамейке. На площади было несколько таких девочек, которые попрошайничали, подходя по очереди ко всем иностранцам.

- Это румыны, - продолжал Пьер, - они несчастны. О какое несчастье! Сколько горя на земле!

Он уже съел свой бутерброд и с наслаждением облизывал пальцы. Пьер очень любил говорить о страданиях, он считал, что имеет на это право, ведь у него был опыт – восемь электрошоков!

Пьер повез Галю с дочкой на машине к берегу Ла-Манша. Они видели гору Сен-Мишель, проезжали через всю Францию, и Пьер даже один раз купил Юле мороженое. Это произошло в городе Фужере, где находится средневековый замок, окруженный рвами и стенами, и там, в этом средневековом городе, живут современные люди в пиджаках и коротких юбках, а узкие улочки, вымощенные грубым булыжником, круто поднимаются вверх. Было очень жарко, они устали и ужасно вспотели. Пьер приобрел целую коробку с фисташковым мороженым в большом магазине "Монопри", после чего они сели отдохнуть и перекусить на площади около фонтана. Пьер был недоволен, что Юля все время говорила "спасибо" и "пожалуйста", как ее учила мама, и пытался отучить ее от этого. Юля уже начинала его бояться и старалась не отходить от мамы. Однажды, когда Юля заснула в машине, Пьер с Галей пошли прогуляться по лесу, но оказалось, что лес огорожен колючей проволокой, и им пришлось пролезать между прутьями, а Галя даже порвала себе платье. У Гали в то время были месячные, и ей не очень удобно было сношаться с Пьером в таких походных условиях, лежа на колючей траве, к тому же рядом не было никакой воды, и нельзя было помыться, но Пьер был очень доволен.

Он считал, что нет никакой разницы между грязным и чистым. Эту мысль он прочитал у какой-то писательницы, и она ему так понравилась, что на какое-то время он вообще перестал мыться. Правда, с тех пор, как у него поселилась Галя, он все же периодически принимал душ и брился, и от него уже не так пахло. Он даже стал употреблять одеколон и чистить зубы, хотя и был глубоко убежден в том, что это глупости, и нужно только торговцам зубной пастой и парфюмерией.

Они посношались с Галей на сене. Рядом был загон для скота, где бродили лошади и с интересом наблюдали за Пьером и Галей. Пьер даже во время сношения никогда не терял головы и периодически раздраженным голосом давал Гале указания, как она должна повернуться и в какую позицию должна лечь. В основном он просил ее, чтобы она садилась на него верхом - "как бык на корову", пояснял он, хихикая - потому что это позволяло ему сохранить силы и энергию, а иначе он очень уставал и сразу кончал, что ему не нравилось, хотя ему и было все равно, поскольку он не был фаллокротом, но он ведь знал, что все русские - фаллокроты, и поэтому ему приходилось делать некоторые уступки, к тому же Гале нравилось (так ему казалось) сношаться с ним, когда член у него стоял, а это случалось довольно редко. Когда он, например, выпивал слишком много вина или водки, член у него не стоял совсем, но он все равно пытался получить свою долю удовольствия - перекачивался по Гале взад и вперед, терся об нее то задом, то передом и шлепал ее по заднице все сильнее и сильнее - это его особенно возбуждало.

Когда Пьер был маленьким и учился в школе, у них была очень красивая молодая учительница, которая, наказывая мальчиков, ставила их в угол со спущенными штанишками и шлепала по голой попке ладонью. С тех пор Пьер не мог этого забыть и всякий раз, когда он об этом вспоминал, это его ужасно возбуждало. Пьер говорил, что Галя сделала ему много хорошего: например, с тех пор, как он начал жить с ней половой жизнью, у него значительно уменьшился псориаз, который покрывал его руки. Он болтал язычком из стороны в сторону, как младенец, который кричит или доволен, и активно втягивал воздух через нос. При этом он надувал живот и через нос же воздух выпускал. "Это псориаз, у меня такая кожная болезнь. Это психосоматическое". Пьер лежал на траве, раскинул руки, вдыхая полной грудью воздух и глядя в голубое небо, с наслаждением потягиваясь под яркими лучами солнца. Внезапно он сел, достал нож и начал скоблить себя по псориазной руке. Белые чешуйки стали обдираться, проступило что-то розовое, вроде сукровицы, но крови не было. "Мне совсем не больно..." - конечно, ему не было больно, а может, и было, а он просто так "самоутверждался", как тогда, когда, схватив ножик и предварительно выпив бутылку красного вина, он сгибался пополам, прижимал ножик рукояткой к животу и говорил петрушечьим голосом:

- Ну-у-у, я тебя убью... - и почему-то обыкновенные русские слова в его устах звучали непристойно.

И еще одно добро сделала ему Галя - Пьер часто об этом говорил - с тех пор, как он с ней совокуплялся, он перестал стесняться мочиться в присутствии посторонних. Раньше, когда он, например, хотел помочиться на улице, он отходил к углу дома, расстегивал штаны, но не всегда мог, а теперь эти задержки мочеиспускания почти прекратились, и он стал мочиться свободно. Он говорил, что в том, что ему не всегда удавалось помочиться, виновата его мать, потому что в детстве, когда он садился на горшок, она на него кричала. Или же это из-за того, что, когда он рождался на свет, сперва появился его брат, а ему пришлось подождать в утробе, поэтому у него развилась клаустрофобия.

«Сегодня утром звонила Эвелина и сказала, что пойдет топиться. Она точно обозначила место, где она будет топиться. Я знал, что она не утопится, раз говорит об этом так прямо. Она полюбила католического священника, а им нельзя жениться».

«Все женщины любят священников. Еще они любят деньги. Женщина и деньги - это всем известно. Я пошел посмотреть, как топится Эвелина. Я стоял на мосту, а она была внизу. Она зашла в воду по колено и начала орать. Естественно, она замочила юбку. Прибежали люди и вытащили ее. Я очень смеялся. Она была вся в грязи».

«Моя сестра любит своего отца, хотя он уже умер. Но для меня он есть. И моя мать тоже - есть. Они оба - есть. Никто не умирает. Перед тем, как уйти, мне надо воспроизвести себя. Во мне есть желание стать отцом. Я хочу быть отцом. Но я не хочу походить на моего отца. Мой отец смотрел на меня, нахмутив брови. Я его боялся. Я и сейчас его боюсь. У него были черные глаза. Он сидел за столом и ел. Когда он приходил с работы, он сразу же усаживался за стол, ноги - под стол, и ел, ел, жрал, целый день! Он был невыносим, этот тип! А моя мать ему прислуживала».

«Мужчина работает и приносит деньги, женщина же платит ему натурой. К черту! Прогнившая система. Любовь и деньги не имеют ничего общего».

«Мой отец всегда говорил: "Никогда ноги «красного» не будет в моем доме!" «Красными» он называл русских, потому что они все коммунисты. А у меня в доме теперь полно русских! Если бы он это знал!».

«Когда мне невтерпех, я удовлетворяю себя сам. Но если в доме кто-то есть - естественно, женщины - тогда другое дело. Почему каждый должен заниматься онанизмом в своем углу? Лучше лечь вместе, и всем будет хорошо».

«Вчера ночью я звал Ивонну к себе. Я оставил дверь открытой и слышал, как она пришла с работы в два часа ночи. Я плохо сплю ночью. Это потому, что у меня нет женщины. Когда у меня будет женщина, я буду спать хорошо. Тогда я буду, как все люди. Я звал: "Ивонна! Ивонна! Иди ко мне! Нам будет хорошо вместе!". Но Ивонна не пришла. Потом я оставил ей записку: "Ивонна, я тебя люблю. Приходи сегодня ко мне. Нам будет хорошо. Галя об этом не узнает, если ты ей не скажешь!". Скоро приезжает Галя с Юлей, и я не хочу, чтобы они узнали об этом. Но Ивонна не пришла. Она меня избегает, хоть и живет в моем доме. Это обидно для меня».

«Сегодня приехали Настя и Валерий. Настя красивая и большая. Это мой тип. Зачем она приехала с Валерием? Я люблю таких женщин. Она похожа на мою мать. Я поцеловал ее в лоб. Ей было приятно. Она не любит Валерия».

«Валерий - еврей. Все евреи любят деньги. Мой отец не любил евреев. Но я тоже еврей, потому что мне сделали обрезание. У меня член, как у еврея. Но мой отец был аристократ. Аристократ не имеет ничего общего с деньгами. Деньги загрязняют руки».

«Мой отец работал ревизором в газовой компании. Он приходил к людям и проверял газовые счетчики. А они придумывали всякие хитрости, чтобы не платить. Мой отец хорошо знал людей. Он разбирался в их психологии. Он был честный человек. Я тоже честный человек. Честь для меня - дороже всего».

«Сегодня видел Аллу. Она очень красивая. Это мой тип. Я схватил ее сзади за сумочку. Я пошутил. Она испугалась, потом сказала: "Ну-у-у, Пьер!". Я смеялся. Она не любит своего мужа. Они уже давно спят отдельно. Я мог бы спать с ней. Я ее люблю».

«Сегодня пришла Ивонна и привела Джоанну. Джоанна - это американка. Она очень красивая. Это мой тип. Завтра я ее поцелую».

«Джоанна оттолкнула меня, когда я хотел ее поцеловать. Она сказала, что я мог бы быть ее отцом. Нет, это не мой тип. Я сказал, что она должна уйти из моего дома. Это мой дом, и я в нем хозяин. Но это мне не нравится. Мне не нравится слово "хозяин". Мне не нравится слово "спасибо". Это все комедия, а я не люблю комедию. Я откровенный человек».

«Позвонила Валя. Она сказала, что у меня будет жить Света. Света - красивая, ей двадцать лет. Это мой тип. Я поцеловал ее в лоб и в шею. У нее короткая черная юбка».

«Мне кажется, что у Светы есть опыт. И у меня – опыт. Восемь электрошоков. Главное - это познать себя. Свое тело. Души нет. Культурные люди не знают себя. Культура - это знание опыта других. А себя они не знают. Я знаю себя. Я – личность».

«Сегодня жарко. Я сижу в кресле и не двигаюсь. Зашел Петр, он меня не заметил. Я нарочно не двигаюсь. Так делают животные. Это мимикрия. Петр мне не нравится. Он двуличен. Нет, он безличен. Он любит шоколадный крем, он, как большой бородатый ребенок, сидит на кухне и ест бутерброды с шоколадным кремом. Петр – еврей».

«Петр принес много денег, но мне не дал. Недавно я получил счет за электричество. Это было ужасно, и это из-за него. Он всю ночь не спит и что-то пишет, у него постоянно горит свет. А потом он спит до двух часов дня. Я показал ему счет. Он вынул деньги и хотел мне дать. Но я отказался. Мне не нужны эти грязные деньги!».

«Люди еще узнают, кто такой Пьер Торше! Я написал на бумаге: "Con-trolleurs con-posteurs!". Я нарочно написал слово "con" отдельно! По-русски «con» означает «пизда». Это женский половой орган, но это грубое название. Я хотел повесить это на вокзале. Галю вчера поймали контролеры. Они были очень агрессивные. Они кричали на нее. Ей пришлось заплатить им штраф. Потом она шла пешком от Пон Кардине до Аньер. Она очень устала и испугалась. Бедная Галя! Теперь у нее совсем нет денег. Какая гадость! Какое прогнившее общество!».

«У соседей лает собака. Это естественно, ей надо самоутвердиться. Она не умеет говорить, поэтому лает. Я не люблю собак, они много жрут. Я видел на улице девушку и юношу. Девушка присела на корточки и целовала собаку. А лучше бы она целовала юношу! Ему ведь тоже хочется».

«Еще день прошел! Главное - это настоящий миг! Я живу настоящим мигом. Когда-нибудь я напишу книгу "Присутствие и отсутствие"».

«Сегодня нашел на дороге четыре гайки и три болта. Значит, день прожит не зря - я заработал двадцать франков. Проклятый капитализм! Франция - это не рай! Тут все давно прогнило».

«Слушал по радио передачу "В пижаме ли вы спите"? Я уже давно сплю голый. В простынях хорошо, как в животе у матери. Простыни - это приятно. Я могу себя трогать, сколько хочу, а пижама мешает. Только дураки спят в пижамах. Те, кто спят в пижамах - несчастные люди».

«Утром стоял на мосту. Ветер освежает меня. Я люблю ветер. Он дает мне энергию. Солнце я тоже люблю. Оно дает энергию. Я часто питался солнцем и ветром».

«Видел рекламу с голой женщиной. Это реклама стирального порошка. Какие идиоты! Но женщины любят свое тело и всегда купят то, что нарисовано рядом с ним».

«Наше правительство - это идиоты! Я анархист! Я коммунист Петр Трахов! У меня есть мой портрет на фоне красного знамени. Там я гордый и честный - настоящий коммунистический лидер. Когда мы с Галей ходили в гости к Франсуа, я выпил много вина и громко говорил. Это естественно, мне нужно было самоутвердиться перед Галей. А Галя потом мне сказала: "Ты орал, как партийный лидер на митинге!" Да, я хотел бы быть лидером. Еще она мне сказала: "Я тебя ненавижу!"»

Жить за счет Пьера с каждым днем становилось все сложнее и сложнее: холодильник был пуст, последние деньги закончились у Маруси два дня назад, так что ей ничего не оставалось, как последовать Диминому примеру и отправиться на помойку. Сам же Дима куда-то исчез, его не было уже три дня. Правда, несмотря на голод, Марусю слегка подташнивало от одной мысли об этом – у нее в мозгу почему-то постоянно всплывали воспоминания о грязных питерских помойках, располагавшихся, как правило, в глубине сырых дворов-колодцев и источавших отвратительный запах. Однако эта помойка мало походила на те. За огромными выкрашенными в серый цвет железными воротами ровными рядами стояли аккуратные серые пластмассовые бачки с яркими зелеными крышками, они были на колесиках, чтобы их было удобнее передвигать. Там были очень большие бачки, были и поменьше – на выбор. Неожиданно Маруся услышала знакомую русскую речь. Она обернулась и заметила силуэты женщины и ребенка. Это были Галя с Юлей. Оказывается, они тоже уже давно ходили на эту помойку. С тех пор, как Галя отказалась спать с Пьером в одной кровати и запиралась на ключ, Пьер перестал кормить их и давать им деньги. Правда, она получала пособие на свою дочку – четыреста французских франков, но экономила и не тратила их, потому что хотела купить себе обратный билет и уехать в Россию, хотя бы на автобусе, однако билет даже на автобус стоил дорого, и ей приходилось тяжело. Пока же, чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были искать себе пропитание таким образом. Девочка ловко залезла в огромный мусорный бак, причем на ней была даже надета специальная одежда, "помочная", как

они ее называли. Ее мать давала ей эту одежду, чтобы она не пачкала хорошую. Рядом с помойными бачками все-таки ужасно воняло, потому что, вместе с продуктами в упаковках, в бачках находились и какие-то покрытые плесенью гнилые отбросы, — видимо, то, что выбрасывалось и не сортировалось. Маруся и Галя стояли рядом и помогали девочке. Юля выбрасывала из бачков пачки печенья, упаковки мяса, картофель в сеточках, а они быстро подбирали все это и запихивали в большие сумки. Галя сказала Марусе, что они стараются набрать побольше, чтобы ходить сюда не так часто, потому что их могут поймать и сдать в полицию. Раньше, когда ее дочка ходила сюда днем одна, ее как-то засек лысый мужик, сотрудник магазина, который в ярости стал грозить Юле кулаком. Девочка очень испугалась, и после этого они целую неделю сидели голодные. Потом Галя набралась храбрости и отправилась вечером вместе с дочкой на знакомую помойку. Маруся была рада, что оказалась на помойке не одна. Она чувствовала себя не очень уютно. Когда она подходила к большим железным воротам, за которыми находился задний двор супермаркета и помойка, она огляделась по сторонам. Мимо прошла пожилая чета хорошо одетых французов, они с подозрением покосились на нее. Маруся была в старом потертом джинсовом полупальто, рваных сапогах, в руке у нее была огромная сумка, похожая на мешок. Галя рассказала Марусе, что Пьер решил написать книгу о жителях России. Он считал, что это самые свободные люди в мире, потому что, как и он сам, они не стесняются рыться на помойке.

Во Франции Пьер чувствовал себя изгоем. Он даже нарисовал большую картину, на которой русая девушка в цветастом сарафане заглядывала в помойный бак. Картина называлась «Россиянка» - по аналогии с «Таитянской» Гогена. Маруся потом видела разбросанные по всему дому розовые и голубые страницы, на одной из которых она прочла: "Они с дочкой отправились рыться на помойку. Они облазили все помойки окрестных магазинов. Это опрокидывает все социальные устои". Пьер сам тоже ел то, что приносили Галя с дочкой. Галя особенно старалась его ублажить, чтобы он не проявлял особой агрессивности по отношению к ней и к Юле. Тем не менее, Пьер периодически хватал столовые ножи и крутил их у Гали перед носом, бешено вращая глазами, хихикая и приговаривая:

- Такой... и такой... и такой...

Галя пыталась увести Юлю вверх, но это не всегда получалось, потому что Пьер начинал верещать и швыряться в них пробками. Юля тут же включалась в игру, а Галя с ужасом ожидала, что Пьер швырнет в нее вместо пробки бутылку или нож.

- Я как ребенок..., — повторял он при этом и лукаво посматривал на Галю. Он постоянно пытался внушить ей мысль, что, если она не будет с ним спать, то он может стать настолько агрессивным, что набросится на Юлю или саму Галю с ножом. Он говорил, что половой акт успокаивает его надолго, хотя со стороны это было совершенно незаметно. Однажды он сказал, что отвезет Юлю на машине в бассейн, а сам завез ее невесть куда и оставил там.

Галя отправилась ее искать и нашла в другом квартале, всю в слезах, ужасно испуганную. С тех пор она уже не решалась отпускать Юлю с ним.

Когда Пьер вел машину, он часто разгонялся до скорости 120 км/час, не говоря уж о том, что он периодически начинал вилять рулем то туда, то сюда, при этом он возбужденно хихикал. Он сильно втягивал в себя воздух через нос, его ноздри раздувались, а волосатые руки судорожно сжимали руль. В общем, все это стало порядком надоедать Гале. К тому же, наступил уже октябрь, а Пьер так и не приступил к исполнению своих профессорских обязанностей. Правда, теперь он писал книгу.

Сестра Пьера, когда ей было восемнадцать лет, пела в Военном Клубе, у нее был хороший голос, она пела арии из итальянских опер. Тогда она влюбилась в молодого человека. Но она была очень толстая, просто круглая, и, к тому же, очень стеснительная и не могла заставить себя заговорить с ним, а только молчала и краснела.

Потом, правда, ее выдали замуж за вполне приличного господина, но вскоре она обнаружила, что ее муж ничего не видит. Днем он носил очки с толстыми стеклами, а на ночь эти очки снимал. Она потом говорила, показывая на белый квадратный фарфоровый чайник, что даже после его смерти всегда чувствовала его присутствие рядом, он все время был здесь, как этот белый холодный блестящий куб, и только в последние два года он отодвинулся от нее. Ее муж умер, выпал из окна, как она говорила, а как дело было на самом деле, никто не знал. Почтальон утверждал, что это она сама его вытолкнула. Его жизнь была застрахована на большую сумму, и она вытолкнула его из окна.

Но она говорила, что он зачем-то полез на окно и выпал, потому что хотел рассмотреть что-то внизу. Но он ведь был очень близорукий и к тому же ничего не чувствовал носом, то есть не ощущал никаких запахов, и был почти глухой. Он настолько плохо видел, что ей приходилось самой вставлять его член себе во влагалище, а влагалище у нее было очень узкое или просто сильно сжатое из-за того, что она долгое время принимала триперидол - это лекарство позже было признано вредным для здоровья, и его отменили, но тогда назначали в огромных количествах. Ей оно было нужно, потому что она была не совсем здорова.

Эвелина внезапно начинала плакать безо всякой видимой причины, иногда из-за того, что чувствовала себя очень слабой, а иногда из-за того, что ее друг давно к ней не приходил. Этот друг был существом загадочным: иногда она ощущала его присутствие в шкафу, иногда - под кроватью. Порой он приходил к соседям в комнату наверху, чтобы увидеть ее, но сама она его в эти моменты почему-то не видела. Она говорила, что он, кажется, израильтянин, а у них такие красивые волосы. И еще он очень много работал и был очень занят. Она никак не могла встретиться с ним, это было не так просто, но она все же надеялась в конце концов на встречу.

У кого-то из ее соседей по лестнице недавно была свадьба. На каждой площадке у всех дверей были выставлены большие горшки с цветами, правда, цветы были искусственные, из искусно подкрашенных бело-розовых и зеленых тряпочек, но именно эта похожесть на настоящие и была в них самым отталкивающим. Всякий раз, когда Эвелина проходила мимо них, ей казалось, будто она касается рукой какой-то гадости, мерзости.

После смерти мужа - после того, как он выпал из окна - у нее в квартире завелись невидимые арабы, которые часто появлялись у нее и воровали то документы, то туфлю с правой ноги, то одну серьгу. Они проникали то через окно, то через дверь, а если все было закрыто, им было достаточно и щелей или дырочки в розетке, от них было невозможно избавиться, и они очень беспокоили Эвелину.

Она часто приходила к Пьеру, ей было тоскливо одной дома, а у Пьера постоянно жили какие-то люди, и было весело. Эвелина обходила весь дом, в каждой комнате она находила обрывок материи и говорила:

- Смотри-ка, это платье моей матери! - или же: Эту ткань покупала моя мать для обивки мебели.

Маруся ходила за Эвелиной по всему дому и кивала головой. Она была рада ее приходу хотя бы потому, что с Пьером ей было тяжело, и его присутствие угнетало и вселяло страх, а с Эвелиной Марусе было веселее и легче. Потом они втроем садились за стол, и Эвелина долго молчала, уставившись в пол. Заметив пятно на своей юбке, она начинала ужасно волноваться и пыталась его счистить.

У Пьера на стене висели фотографии разных красивых девушек, вырезанные им из журналов, среди них была фотография одной манекенщицы с вытянутым носом и нежно опущенными губами, глаза манекенщицы смотрели задумчиво и томно. У нее на голове была офицерская фуражка с красным околышем. Однажды Эвелина долго рассматривала эту фотографию, на ее лице то появлялась, то исчезала улыбка. Наконец она вздохнула и произнесла, обращаясь к Пьеру:

- Это же фотография испанского короля Хуана Карлоса!

Пьер дико захохотал:

- Да ты совсем спятила! Что это у тебя в голове все короли!

Эвелина вздохнула и сказала, обращаясь к Марусе:

- Да, вот он всегда так. И в детстве он очень сильно дергал меня за косички, - и вдруг, опустив голову, залилась безутешными слезами.

В это мгновение из своей комнаты вниз спустились Галя с Юлей, они сели за стол подальше от Пьера, видно было, что они его побаиваются. А когда Пьер вдруг, разозленный тем, что Юля засмеялась, положил на стол свои ноги в огромных грязных ботинках неестественной формы, напоминающих ортопедическую обувь, Галя внезапно разрыдалась и, схватив Юлю за руку, выскочила из-за стола. Эвелина продолжала сидеть, глядя непонимающим взглядом на Пьера и на его ноги, потом вдруг резко вскочила и вышла, хлопнув дверью. Пьер остался наедине с Марусей, его ноги по-прежнему лежали

на столе, подошвы ботинок касались грязных тарелок и кусков хлеба и сыра. Он задумчиво ковырял в носу. Потом вдруг, взглянув на Марусю, визгливо захохотал, резко вскочил со стула, бросился к Марусе и запечатлел у нее на лбу злобный колючий поцелуй.

Последнее время Пьер пребывал в плохом настроении. У Гали тоже был какой-то затравленный вид, а Юля побледнела и тоже стала очень нервная. Она часто без причины начинала плакать или обзывалась на Пьера всякими словами. Наверное, эти слова она выучила в школе, которую она здесь посещала и где с ней в классе в основном учились негры и арабы. Пьер тоже обзывал ее разными словами, а однажды Маруся увидела, как Юля плюнула на Пьера. Тогда он погнался за ней и тоже плюнул на нее.

Однажды, выпив, Пьер повеселел, и начал шутя кидаться в Юлю пробками. Юля в ответ тоже кидала в него пробками, постепенно Пьер начинал злиться, потому что Юля была более ловкая и более меткая и попадала в него чаще, чем он в нее, к тому же, она еще смеялась над ним, отчего Пьер разъярялся еще сильнее. Галя напрасно старалась их урезонить. Пьер расходился все больше и больше, и наконец вскочил, весь красный, растрепанный, в расстегнутой рубашке, из-под которой торчали седые взлохмаченные волосы, которыми очень гордился (когда Пьер шел по улице и видел на рекламной фотографии юношу с гладкой мускулистой грудью, то тыкал в него пальцем и со смехом кричал: «Смотри, смотри, у него нет волос!»), и бросился за Юлей, а та -- от него. И вдруг Марусе стало ясно, что, если он догонит ее, то точно задушит, и Галя тоже, вероятно, почувствовав это, вскрикнула и кинулась вслед за ними. Хлопнула дверь, потом лязгнула тяжелая железная калитка, раздался топот, и все стихло. Маруся осталась за столом в одиночестве.

Пьер любым путем хотел получить любовь, а его жена Галя, кажется, тоже не особенно собиралась его любить. Пьер затаил на нее злобу, он вовсе не хотел быть, как его отец. Там в Петербурге, она с ним спала: на узкой кровати в комнате в коммунальной квартире, и Бог был рядом с ними, а рядом ровно дышала ее дочка, такое милое прекрасное существо. Но в Париже она почему-то отказалась спать с Пьером.

Пьеру это надоело, и он в один прекрасный вечер залез к ней в комнату через окно, она спала рядом со своей дочкой. Пьер разделся, посапывая от наслаждения залез под одеяло и пристроился рядом. Он нежно поцеловал ее в шейку. "О нежное мясо, прекрасное мясо, благодарю тебя, Господи, что ты послал мне такое прекрасное мясо!". Не то, чтобы Пьер на самом деле был людоедом, просто он как все французы немного путал секс со жратвой и обожал, например, жрать и целоваться: пища переходит из одного рта в другой, и это очень приятно, это придает пище какой-то необыкновенный привкус. Галя вздрогнула всем телом и проснулась.

Дальше события развивались стремительно, но Пьеру все равно было приятно наблюдать, как его все боятся. Галя схватила свою дочку на руки, крича от ужаса, выскочила на улицу и прямо в ночной рубашке побежала в неизвестном направлении. Пьер, позевывая, смотрел ей вслед, пока она не скрылась между домами. Потом он потрогал свой член и лег в кровать. Там еще сохранился запах нежного детского тельца и прекрасного тела взрослой женщины. Он долго принюхивался, посапывая, пока наконец не заснул спокойным сном.

Потом Пьер, рассказывая знакомым об этом периоде своей жизни, посмеивался и шутил. Но сначала после отъезда Гали и Юли он ужасно расстроился и, чтобы отвлечься, переставил в доме две двери, пробил новую дверь в стене из кухни в салон, даже хотел перенести туалет на улицу, в гараж, но у него не хватило на это сил. В конце концов, он напился до полусмерти и, выходя из дому, споткнулся и разбил себе лоб об стену. Всем приходящим к нему в гости он теперь орал:

– Ну, что ты пришел? Я твой отец, что ли?

А потом дал объявление в газету "Русская мысль": "Пожилой верующий француз, православный, хотел бы познакомиться для создания семьи с русской девушкой, блондинкой, ростом не ниже 175 см. Имеет собственный дом". На объявление откликнулись многие и приходили на смотрины на очень высоких каблуках.

«Гал, извини меня за то, что в последнее время я был немного резок. Но перед твоим отъездом у меня в голове установилось что-то вроде навязчивой идеи. Я ведь не хотел вам с Юлей ничего плохого. Почему я спрятал ножи в своей комнате под подушкой? Да просто потому, что я боялся, чтобы Юля не поранилась ими. А тогда ночью, когда вы от меня убежали, у меня в руке оказался нож, потому что я хотел перерезать им телефонный провод. Вы ушли как цыгане и скрылись от меня. А я совсем не хотел этого, я хотел, чтобы вы остались.

А тогда, когда вы стояли под дверью, и я не пускал вас, я даже не знаю, что на меня нашло, я сам не понимал, что я делаю. Конечно, есть только одно Божественное Счастье, и только Бог делает счастливыми всех нас. Но я все время несчастен, это несправедливо.

Почему я пью вино? Потому что я, когда иду в магазин, каждый раз его покупаю. Лучше бы, конечно, я пил воду из горных источников и бродил по горам в течение пятнадцати дней, подставляя лицо свежему ветру и лучам солнца. Но вместо этого я пью вино, и с этим ничего не поделаешь. Наверное, тебя изнасиловали в детстве, и с тех пор ты не любишь мужчин. А я, вместо того, чтобы быть смирным и ласковым, являл тебе лицо вечно пьяного разъяренного мужчины, напоминая тебе твоего отца, когда он, пьяный, возвращался с работы и избивал тебя до полусмерти.

Эвелина вчера выписалась из лечебницы. Жан-Поль отвез ее домой на машине. Эвелину не надо было запирасть в тесной комнате, ей нужны широкие пространства, чтобы она могла вдоволь покричать, ведь именно этого ей хочется.

Ивонна, наша мать, когда Эвелина была маленькая, постоянно запирала ее в подвале. Лучше бы она отправляла ее погулять в сад, где она чувствовала бы себя на просторе. Эвелина иногда впадает в ярость. Ярость - это хороший предохранительный клапан, он позволяет нам самоутверждаться и самовыражаться. Поэтому я тоже иногда впадаю в гнев.

Юля называла меня педерастом. Наверное, это потому, что ее никогда не целовал взрослый мужчина, к тому же, она не понимает значения слова "педераст". Я обнаружил, что она написала на стене это слово. Но не волнуйся, это не страшно, ничего серьезного. Я просто покрашу стену краской. В Париже сейчас тепло - + 14 градусов, но я все равно утепляю дом - набиваю на стены стекловату, и сверху покрываю ее бумагой - так будет еще теплее.

Я узнал, что у вас на выборах партия женщин завоевала 9% голосов, это очень хорошо, я хотел бы, чтобы у вас в парламенте было как можно больше женщин. У нас во Франции и вообще в Европе такое невозможно, хотя в Англии Маргарет и была премьер-министром. Я бы хотел приехать в июне на белые ночи, не могла бы ты попросить в ОВИРе для меня визу?

Нежно любящий тебя
Петр Трахов».

Примерно через неделю после того, как Галя с дочкой сбежала от Пьера, у него в доме появились Денис и Вадик. Денис был высокий, с окладистой русой бородой и длинными стриженными в скобку волосами — настоящий русский тип, он был художником и поэтом одновременно. Вообще-то, он намеревался просить политического убежища в Германии, но, приехав в Париж, решил попросить убежища и здесь, на всякий случай. Денис лично знал поэта Олега Григорьева, точнее, знала его мамаша, а Денис тогда еще был совсем маленьким. Мамаша же вообще была в этого Григорьева почти влюблена и все уши своему сыну прожужжала про него. Лично Денис познакомился с Григорьевым позднее, когда ему уже исполнилось шестнадцать лет. Шел он как-то по Невскому, и вдруг из подворотни до него донесся хриплый голос:

– Денисушка...

Он обернулся, а это поэт Григорьев, весь грязный, оборванный, с гноящимися глазами вцепился ему в рукав и тянет за собой:

– Денисушка... Пошли, ширнемся...

Денис с ним тогда не пошел, но потом с гордостью рассказывал об этом всем знакомым.

Из Германии Денис приехал вместе с Вадиком. Вадик был не такой интеллектуал, как Денис, за что тот презрительно называл его пэтэушником, но все же, вдвоем им было как-то легче. Вадик уверял, что он раньше в Питере был крупным бизнесменом, но потом решил все бросить и подумать о спасении души. Вот он все и бросил и уехал в Германию, а оттуда собирался в Америку, в монастырь. В Питере он много чем занимался, ему даже предлагали наладить бизнес по торговле девочками.

– А что, — говорил он, — берешь такую классную девочку, привозишь, и хозяин тебе за нее до пяти тысяч марок может отвалить. Ну, это, конечно, если она, вообще, супер... Так можно хорошие бабки сделать...

– Ну и чего же ты? — спрашивала его Маруся.

– Да так... — уклончиво отвечал Вадик, — все же живая душа...

Вадик рассказал Марусе, как в Германии он украл у магазина чей-то велосипед — очень хороший, дорогой, «просто супер» — но ему так и не удалось его продать, как он рассчитывал. Городок был маленький, все друг друга знали, и полиция сразу же отправилась в лагерь, где жили русские беженцы. В результате, Вадик пришлось этот велосипед вывезти ночью на пустырь и там оставить.

Пьер был уверен, что Вадик кого-то убил и теперь решил скрыться, свалить в Америку. Маруся же предполагала, что, может, он просто растратил чьи-то деньги и теперь скрывается от мести. Во всяком случае, он ожидал вызова из Америки из мужского монастыря, а пока усердно упражнялся в молитве: каждое утро выпрыгивал из окна во двор, становился на колени и читал псалмы.

Он постоянно следил за своей речью и почти не ругался матом. Получалось, что даже Денис ругается больше, чем он. Денис пользовался успехом у дам, правда, только при первой встрече — познакомившись с ним поближе, женщины почему-то полностью утрачивали к нему интерес.

Первое, куда направились Денис с Вадиком, была помойка магазина «Монопри», о которой им сразу же рассказал Пьер, то есть он стал описывать им Димины подвиги и просто не мог обойти вниманием помойку.

Потом они стали ходить туда уже регулярно, раз в неделю. Денис обычно стоял на шухере, пока Вадик рылся в помойном бачке, из которого доносились стук, лязг и ругань — это Вадик энергично выбрасывал на землю отбросы. Потом Вадик звал Дениса, они вместе складывали все в сумки и отправлялись домой. Как-то Маруся, возвращаясь домой поздно вечером, проходила мимо «Монопри» и увидела там Вадика с Денисом: они мирно сидели на каменных столбиках напротив помойки и ели слоеное печенье с изюмом и вкусные крендельки с маком и сахаром, которые только что нашли в помойном бачке. Марусю они тоже угостили.

Трофимова однажды приехала в гости в Буа-Коломб к Марусе с Тамарой и еще с одной своей подругой — Ирой — муж которой сидел в Санте за неизвестные преступления. Они решили навестить Марусю, а заодно и "посмотреть на сумасшедшего", то есть на Пьера. С собой они привезли водки, печенья и замороженную пиццу. Водку смешали с апельсиновым соком и выпили, после чего Маруся почувствовала, что вся покрылась красными пятнами. Перед этим она несколько дней на ночь принимала снотворное и пребывала в полной прострации, а когда выпила водки, то ощутила нездоровый подъем. Пьера не было, Дениса и Вадика — тоже, поэтому они сидели одни, пили и беседовали. Тамара, как только выпила, начала вся трястись и орать на Трофимову, что, мол, это та ее вызвала в эту поганую Францию, и теперь ей отсюда не выбраться, а этот старый серб, с которым она живет, над ней издевается, и издевается утонченно, а она даже не может работать, вот она тут закончила курсы программирования — и то не смогла работать, потому что он не дает ей спать по ночам: вваливается в два часа ночи пьяный и начинает горланить песни, иногда он приходит со своим братом и требует, чтобы она вставала и готовила им еду... Тамара вся тряслась. А Трофимова лениво выслушала ее и сказала:

– Ну не ври, не ври... Стоит тебе хоть раз дома не переночевать, как ты сразу же домой звонишь: как там мой Славка ненаглядный?

Тут Тамара завизжала:

– А ты видела, как этот Славка пьяный валяется в собственной блевотине, яйца и хуй вывалив наружу? Ты видела, как он моего Пашку бьет и матом на него орет? Видела? Видела?

– Ох, — отмахнулась от нее Трофимова с видом превосходства, — тебе совершенно нельзя пить. Стоит тебе выпить, как ты сразу начинаешь.

– Не, ты рукой не маши, — не унималась Тамара, — тебе легко говорить, ты всю жизнь как блядь со своим Тошкой горя не знала, и сама блядовала от него, а теперь еще учишь меня. Да как ты можешь понять?

Трофимова явно получала от этой перепалки какое-то странное удовольствие. Возможно, она просто чувствовала себя сильнее и удачливее Тамары или же ловила кайф оттого, что у нее жизнь складывается все же лучше, хотя ее и бросил Боря, и она была в депрессии и пила какое-то лекарство. Боря ушел от нее просто так, даже не к какой-то бабе, а просто потому, что она ему надоела.

Тамара была родом из города Грозного, там у нее остался брат, но он был женат на бабе с двумя детьми, поэтому она считала, что ей туда возвращаться нельзя. Маруся неоднократно предлагала ей уехать обратно в Россию: можно было ехать на автобусе через Варшаву или прямо в Москву, это стоило недорого, но Тамара говорила, что у нее нет денег, и это, вероятно, так и было. Ее муж отказался платить даже за ее ребенка, который был устроен в какой-то колледж на полный пансион. Им пришел счет на восемьдесят тысяч франков, а он сказал, что платить не будет, и не заплатил, так что Тамаре теперь нужно было самой где-то добыть эти деньги. Когда Маруся опять предложила ей уехать в Россию,

та поначалу, вроде бы, загорелась. Но Трофимова была явно недовольна и сразу же сказала:

– Да ты что, с ума сошла, куда тебе ехать? К кому? И что ты там будешь делать?

– Да, правда, — внезапно скисла Тамара, — ехать некуда. Отец и мать умерли, где я жить-то буду? И что делать? Нет уж, лучше здесь.

Трофимова смотрела с явным торжеством и удовлетворением, как большая толстая сытая кошка. Маруся подумала, что это она заманила Тамару сюда, в Париж, когда та осталась одна с ребенком, которого родила от какого-то финна опять-таки по совету Трофимовой. И тут в Париже Трофимова ей тоже "помогла" — нашла ей старого серба, который двадцать лет проработал в ресторане "Распутин" и который, по словам Тамары, был "настоящей прожженной канальей". Раньше у этого серба был замок, и он был очень богатый, но он все пропил. Он пил так, что у него началась белая горячка, и однажды он допился до такой степени, что не мог выйти из комнаты, то есть не мог найти дверь, а он просто хотел выйти в туалет пописать, но не найдя дверь, разделся догола и весь обоссался и облевался, а потом встал на колени перед батареей парового отопления, обнял ее и залился горячими слезами. Когда Тамара вошла в комнату, она увидела, как он обращается к батарее:

– Выпусти меня, пожалуйста, отсюда, я тебя очень прошу!

Тамара облила его холодной водой, и он пришел в себя. Обычно она старалась забрать у него деньги, хотя он сопротивлялся, и ей приходилось его долго уговаривать:

– Бика (так она его ласково называла), отдай маме денежки! Мама деньги сохранит, а ты пропьешь!

Но он был хитрый и денег не отдавал. Его любимым фильмом всегда был «Рембо» с Сильвестром Сталлоне, он ложился на диван и смотрел его в десятый или в двадцатый раз, радуясь победам любимого героя. Ему казалось, что это он сам в одиночку расправляется с целой бандой полицейских. Как-то они с Марусей и с Трофимовой приехали к нему в гости, а он, весь потный и совершенно пьяный, только что пришел из кафе, где провел целую ночь: мокрые волосы свисали ему на лоб, а мутные глаза, обведенные черными кругами, были воспалены. Он смотрел на Трофимову с хитрым прищуром и все повторял:

– Да-а, Ольгу я знаю! Ольга – блядь! Ты ведь блядь? – цеплялся он к ней.

– Да, блядь, – с гордым вызовом, но чуть устало отвечала Трофимова, и он заливался радостным сумасшедшим смехом. А потом они все поехали на Трофимовской машине к какой-то польке, вместе с которой Трофимова раньше работала в ресторане. Этой польке было уже сорок пять лет, и они решили посмотреть, какие зубы она себе вставила. В квартире у нее было темно, какой-то юноша, внезапно возникший из темноты, галантно расцеловал всем им руки, а потом появилась и сама полька. Ее звали Тереза, и она сразу стала демонстрировать всем свои зубы, которые действительно были очень хорошие – не слишком белые, а цвета слоновой кости – она даже включила свет на какое-то время, чтобы все могли получше рассмотреть ее зубы. Трофимова сообщила, что они обошлись ей в

целое состояние. Потом они поехали дальше – Трофимова с Тamarой сели впереди, а Маруся – сзади, вместе с двумя собаками. Она смотрела в заднее стекло и видела, как быстро уносятся назад домики, дорожные знаки, магазины, деревья с облетевшими листьями и все-все-все. Рядом Маруся чувствовала спокойное размеренное покачивание теплого шерстяного собачьего бока, и это ощущение придавало ей немного сил, потому что своих сил в Марусе уже оставалось очень мало, и ее все больше заполняла пустота. Они зашли в магазин «Монопри» и купили там шесть бутылок красного вина. Во всех углах магазина висели таблички: «Новое Божоле». В это время в ноябре здесь делают вино Божоле, и пока оно новое, молодое, его нужно пить, его обязательно нужно попробовать, – так объяснила Марусе Трофимова. И они нажрались этим Божоле, а потом пошли в парк, где, сидя на берегу озера, продолжали квасить, и Трофимова говорила, что вот, теперь стало хорошо, как будто в Питере...

Трофимова вышла замуж за француза уже пятнадцать лет назад. Маруся была у нее на свадьбе и обратила внимание, что весь зал Дворца бракосочетаний был буквально забит мужиками всех видов и размеров: высокими, маленькими, худыми, толстыми, бородатыми, усатыми, лысыми, волосатыми. Это все были бывшие любовники Трофимовой. Мужа Трофимовой звали Антуан, а она ласково называла его Тошкой. Тошка по-русски не говорил ни слова, и Трофимова обычно в его присутствии в выражениях не стеснялась и крыла и его, и всех остальных французов. Она не скрывала, что выходит замуж, только чтобы уехать во Францию, и нисколько не любит Антуана. Но Антуан этого, конечно, не знал – он надеялся создать настоящую крепкую семью и завести с Трофимовой кучу детей. Потом они уехали в Париж, и Маруся долгое время не имела от Трофимовой никаких известий, кроме одного случая, когда с группой французов, приехавших в Ленинград на экскурсию, Трофимова передала ей пакет с поношенными вещами, полученными, очевидно, в одной из благотворительных парижских организаций. Тогда Маруся и трофимовский знакомый Виталик поехали в аэропорт встречать этих французов и долго ожидали вместе с ними, пока они получают свой багаж, при этом французы ужасно боялись КГБ, и Виталик тоже – он буквально трясся, можно было подумать, что у него нервный тик, так он шарахался в сторону от каждого прохожего. Маруся еще неловко пошутила по-французски, что багаж им теперь не отдадут, так как КГБ все заберет себе, и французы буквально обмерли, лица у них вытянулись, кроме того, они стали вопить и требовать начальника аэропорта, поэтому Маруся тоже испугалась, и ей с большим трудом удалось объяснить им, что она просто пошутила. Виталик же пришел встречать одну француженку, на которой мечтал жениться, правда, ей на вид было лет пятьдесят, а Виталику – всего двадцать пять, но он все равно заискивающе смотрел на нее, угодливо старался под нее подладиться и показать, что любит ее, а она всячески демонстрировала ему свое презрение и безразличие. Зато потом, когда французы уехали, Виталик стал ругаться матом и обзывать эту француженку сукой и блядью, и в его голосе звучала настоящая ненависть.

Года через два Маруся случайно встретила в театре мать Трофимовой, очень моложавую и кокетливую даму, и та стала ей рассказывать, что Оленька работает в ресторане, торгует сигаретками и разными мелочами типа презервативов, но все же у нее все хорошо, потому что она не где-нибудь, а во Франции. А еще через два года Трофимова и сама приехала в Ленинград. У нее тогда начался бурный роман с одним ленинградским фарцовщиком, Борей. У них была страстная любовь, и Боря везде возил ее на машине, поэтому Трофимова даже заявила Марусе, что не может с ней встретиться, потому что машины под рукой нет, а ездить в общественном транспорте она просто не в состоянии и тем более ходить по улицам пешком. Потом Трофимова сделала Боре приглашение в Париж, и вскоре до Маруси дошли вести, что Трофимова развелась с Антуаном и вышла замуж за Борю, причем к тому времени Трофимова уже стала “французенкой” и, в соответствии с французскими законами, вполне могла обеспечить Боре законное пребывание в стране. Их счастливая жизнь продолжалась довольно долго, и Трофимова всегда при случае расхваливала Борю, его мужские достоинства и строила планы на дальнейшую жизнь. И вдруг Маруся узнала, что Боря бросил Трофимову, и та пребывает в жесточайшей депрессии.

Маруся думала, что она Борю заебала, причем в прямом смысле этого слова, так как недавно, во время последнего Марусиного приезда, она сама ей хвасталась, что они "занимаются этим" чуть ли не целый день и ночь напролет. После того, как Боря ушел от Трофимовой, та часто звонила Марусе, рыдала и говорила, что вот теперь она получает обратно то, что сделала Тошке, от которого ушла, как только получила французские документы. То есть получалось, что Боря тоже ее просто использовал, а теперь она стала ему не нужна.

– Ты представляешь, – икая от слез, говорила Трофимова Марусе, вспоминая свою счастливую жизнь с Антуаном, -- я как-то вернулась из отпуска, а он мне лошадь купил. Настоящую лошадь! Видишь, как он меня любил?

Маруся, с одной стороны, была довольна тем, что обычно такая наглая и самоуверенная Трофимова наконец-то оказалась в дерьмо, но, в то же время, ей было ее жалко, как бывает жалко животное, которое вдруг обидели, причем оно даже не понимает, за что, потому что оно ни в чем не виновато, а только удовлетворяло свои животные инстинкты и ни о чем не думало.

В тот вечер, когда они приехали к Пьеру, Трофимова была наряжена в короткое шерстяное красное платье в обтяжку с большим вырезом на груди, и ее сильно выступающий вперед бюст соблазнительно покачивался. Ее черные волосы были распущены по плечам, черные глаза сильно накрашены, губы тоже, хотя на шее уже виднелись морщины, и в углах рта лежали какие-то горькие складки. Тут открылась дверь, и вошли Денис с Вадиком. Денис сразу же приглянулся Трофимовой, она стала с ним заигрывать и строить ему глазки, но Денис, казалось, на это абсолютно не реагировал. Трофимова встала и несколько раз прошла мимо него, задев его грудью. Денис

отодвинулся с прохода и старался на Трофимову не смотреть. Тогда напившаяся Тамара, которая перед тем пыталась петь, вдруг вскочила со стула и с криком: «Дай я тебя поцелую», — бросилась к Денису. Тот с неожиданным проворством вскочил со стула и выбежал из комнаты. Тамара помчалась за ним. Денис с воплем: «Я в Бога верую!» – побежал на третий этаж. Но Тамара, которая была похожа на одержимую, продолжала его преследовать. Кажется, ей все же удалось настичь Дениса где-то наверху, и они вскоре спустились вниз, причем он был явно смущен. Трофимова смотрела на них с легким презрением. А когда Тамара, выпив еще, затянула песню «Утро красит нежным светом...», Трофимова поморщилась и, брезгливо поморщившись, сказала: «Совок». На следующий день она позвонила и поинтересовалась у Маруси: «Ну, как там подростки?» - намекая на Вадика и Дениса. Но Марусе было плевать на то, как она их определяет, потому что ни Вадик, ни Денис не имели к ней никакого отношения. Трофимова же внезапно пустилась в рассуждения о том, как хорошо все придумано во Франции, как правильно, что они защищаются от иностранцев, потому что они вынуждены это делать, причем она говорила не «они», а «мы», как будто она была прирожденной француженкой, которая выступает против засилья иностранцев у себя дома. Еще Трофимова несколько раз повторила, что ненавидит негров и арабов. «... и совков, – добавила она, подумав. -- Никогда больше не поеду в Питер, там кругом одно дерьмо, все грязное, лучше я поеду в Альпы, в Италию: там солнце, все чистое и вообще цивилизованный отдых».

Приехав в Париж пятнадцать лет назад, Трофимова вначале сразу же пошла к знакомому своей матери, который уехал как диссидент уже очень давно и издавал в Париже свой журнал, она надеялась, что он ее пристроит, и вначале все было очень хорошо, потому что у него там было свое бюро переводов, и он ее туда взял. Она переводила технические тексты и даже политические диалоги, а однажды даже речь украинского националиста, который постоянно повторял: "М-м-м, э-э-э, ну-у-у...", – и ей это так осточертело, что она стала пропускать эти места, но Сергей (так звали диссидента) на нее наорал. Он считал, что нужно переводить все, включая звуки, потому что на Западе работать надо на совесть и так, на халяву, не получится, это она в Советском Союзе привыкла делать все кое-как, а во Франции такое не пройдет. Тогда она ужасно обиделась, это была их первая ссора, до этого они с ним очень хорошо находили общий язык, иногда спали вместе, и она была в него даже влюблена.

Потом, правда, она быстро поняла, что она не одна пользуется его благосклонностью. Сергей не пропускал ни одной особи женского пола, очевидно, он решил реализоваться в жизни таким образом, он посещал разные рестораны, заказывал самые диковинные блюда, знал, что из чего готовится, жрал в три горла, то есть стал настоящим гурманом, во французском духе, и еще ебался от души, все знакомые Трофимовой прошли через него, но он им, конечно, помогал, как мог, деньгами и кормил. Он, в сущности, был добрым

человеком, и никому не желал зла. Еще он очень любил говорить о своих знакомствах с советскими писателями, которые уже давно вошли в золотой фонд советской литературы, став так называемыми классиками соцреализма. Он постоянно рассказывал истории из их жизни, в частности, из супружеской: как один советский писатель, например, каждый день желал сдохнуть своей жене, тоже известной писательнице, писавшей в свое время про комсомольцев и строителей метрополитена. А та уже не могла защищаться, потому что была полностью парализована, и ее возили в инвалидном кресле из комнаты в комнату, хотя писать она продолжала.

У него дома было много спиртных напитков: мартини, красное вино, причем хорошее, коллекционное, и шампанское, и даже голубой ликер цвета ультрамарина, от которого зубы становились голубыми, он дал его попробовать Трофимовой, а потом пригласил посмотреть в зеркало, чтобы та убедилась в том, что у нее теперь голубые зубы. Потом он повел ее в спальню и показал ей свою постель со словами: «Вот моя супружеская постель». К тому моменту она уже изрядно выпила, и он подошел к ней и сказал: «Можно я за тобой немного поухаживаю?» – после чего поцеловал ее в засос и, расстегнув ширинку, достал оттуда свой член, короткий и толстый. Трофимовой он понравился. Еще по рассказам матери она поняла, что Сергей стоящий мужик, хотя мать подробностей и не рассказывала, но все равно было ясно, что между ними что-то было. К тому же, он мог помочь устроиться и в плане материальном тоже, хотя у него и была уже жена, японка сорока пяти лет, и он был ею доволен. Он сам говорил, что она очень легко возбуждается – раз, и готово! – но почему бы не попытать еще счастья, ведь Трофимова была моложе, и у нее тоже был пылкий темперамент, в общем, она должна была его удовлетворить. Но беда была в том – это она поняла значительно позже – что ему каждый месяц были нужны новые бабы, он и ее так же использовал, а она-то даже была влюблена в него какое-то время и говорила, что он похож на Емельку Пугачева.

Он с женой был записан в клуб nudистов. Клуб находился в окрестностях Парижа, вход в него был замаскирован под скалой – вокруг много красивой растительности, а сама скала, как будто дикая – в этом клубе все ходили голые, там были и дети, и старики, и молодежь, но нужно было платить довольно большие взносы, то есть туда могли ходить только люди состоятельные, а Сергей себя считал именно таким. Он и Трофимову водил в этот клуб, там и бассейн с сауной имелись, но половые контакты были категорически запрещены, даже обниматься было нельзя, если тебя за этим застукают, то сразу выгонят, и деньги не помогут. Трофимова со своим огромным бюстом сразу привлекла внимание многих, вокруг нее стали увиваться негры, а Сергей сидел, развалившись за столиком и пил пиво, у него были огромные яйца и очень короткий и очень толстый член, даже какой-то противоестественно толстый, как обрубок водопроводной трубы, в спокойном состоянии он напоминал раздавленный сверху картонный стаканчик из-под мороженого. Один раз, когда они с Трофимовой сношались, он заснул и захрапел, но даже во сне не вытащил свой

член из трофимовской пизды – он хотел получить от жизни максимум удовольствия и даже во сне не собирался терять время даром.

Среди его знакомых были и гомосексуалы, но он с ними никогда не сношался, он и сам не знал, почему. Иногда мысли об этом приходили ему в голову, а как-то даже один пассив пришел к нему и заискивающе на него смотрел, но у Сергея, по его словам, даже и в мыслях не было вступить с ним в какие-либо отношения, кроме деловых, конечно.

Маруся тоже была в гостях у Трофимовой. Тогда она жила в новом районе на окраине Парижа, куда нужно было ехать до конечной остановки - метро Кретей - и там еще идти. Когда Маруся по дороге к метро проходила через мост Леваллуа, она в очередной раз обратила внимание на рекламный плакат: на огромном щите красовалась девушка с неестественно большим бюстом и башней из белокурых волос на голове. Она, лукаво улыбаясь большим ярко-красным ртом, протягивала вперед, по направлению к Сене, руку с длинными ярко-красными же ногтями, и изо рта у нее выходила фраза: «Ведь я достойна этого лака!» – а внизу была надпись: «Лореаль».

В Ленинграде, когда Маруся подрабатывала в салоне причесок ночной уборщицей, к ним устроилась девушка Надя с очень глупым лицом и добродушными бараньими глазами, но что-то в ней притягивало внимание. Маруся все приглядывалась к ней и, наконец, поняла: это был неестественно огромный бюст, подтянутый чуть ли не под подбородок. Как-то они остались одни поздним вечером, все уже ушли, и они, как всегда, стали обходить все столы мастеров, отливая понемногу из бутылок шампунь, откладывая понемножку крем в заранее приготовленную баночку. В парикмахерской была еще и кухня, где иногда парикмахерши оставляли еду и где можно было попить чаю. Однажды Маруся оставила там свою сумку на подоконнике, а злая косноязычная старуха, работавшая туалетчицей, сперла у нее кошелек, но потом эту старуху уволили, и убирать туалет приходилось другим уборщицам по очереди. А один раз туалет засорился, и Маруся долго собирала тряпкой с пола воду, смешанную с мочой, и тут прибежала парикмахерша, задержавшаяся позже других, которая очень хотела в туалет. Она села на унитаз и помочилась, а вся ее моча почти сразу вытекла на пол, и Марусе снова пришлось убирать за ней, что она молча и сделала, хотя ей и было противно. Там уборщицей работала еще одна толстая старуха, Нина Ивановна, жившая напротив в коммуналке, так что окна ее комнаты выходили на лютеранскую церковь, где тогда располагался бассейн. Она жила одна, и когда однажды Маруся принесла ей зарплату, она внезапно загородила ей дверь своим толстым телом и, схватив Марусю за руку, прошептала: «Красивая, а счастья нет!» - как цыганка. Маруся так и не поняла, что же это значит, старуха совсем ей не нравилась.

А тогда они с Надей остались одни и долго ходили по огромному пустому салону, а потом вышли на балкон – как раз был ноябрь, праздник, и под окном укрепили огромный

красный транспарант с белыми буквами, который был весь мокрый от дождя, ветер тяжело раскачивал его, и он бился о стену – они покурили, а потом вернулись, так как нужно было подметать и мыть пол. Надя стала переодеваться, сняла платье, и Маруся увидела действительно нечеловеческих размеров бюст, лифчик ему был явно мал, он выпирал со всех сторон, и на нем тут и там виднелись черные синяки. Перехватив марусин взгляд, Надя с гордостью поправила лямки и сообщила: «Вот с мужем недавно хорошо побаловались». Что-то в ее лице и взгляде было неясное, ускользающее и вместе с тем притягивающее, хотя в то же время думать об этом было противно, поэтому Маруся резко повернулась и вышла. Ей нужно было еще убирать педикюрный кабинет, самое отвратительное из всего, где из-за огромного количества ногтей и обрезков кожи ей приходилось задерживать дыхание, чтобы прекратить рвотные позывы. В конце работы нужно было ставить салон на сигнализацию, а если это не получалось, что-то не работало, то вызывали мастера и ждали: ждать можно было и час, и два, и всю ночь.

Маруся помнила, как однажды, уже зимой, была ее очередь, и она вызвала мастера и села его ждать. Она смотрела телевизор в салоне, пока не кончились передачи, потом она пошла прогуляться по салону – все было чисто убрано и блестело – она подошла к окну: напротив, в ресторане «Кавказский», шла бурная жизнь, подъезжали и отъезжали такси, заходили пары, вываливались пьяные, а по Невскому все ехали и ехали машины. Наконец, внизу позвонили в дверь, пришел мастер, за пятнадцать минут нашел неисправность и уже собрался уезжать, но тут за ним пришла милицейская машина, где сидели еще два мента. Было очень холодно, мороз тридцать градусов, а Маруся была одета всего-то в демисезонную куртку и джинсы. Мастер сказал, что с удовольствием бы ее подвез, но им – в другую сторону, и они уехали. Им было тепло там, в машине, а она, выйдя на улицу, сразу почувствовала, как ее охватило холодом, джинсы сразу заledenели, а транспорт уже не ходил, и ей нужно было тащиться пешком от салона до улицы Жуковского.

Она пошла очень быстрым шагом, надеясь согреться на ходу, но холод проникал все глубже и глубже, и возле Гостиного Двора, не пройдя и половины пути до дому, она поняла, что не дойдет. Даже зайти погреться было некуда: все парадные на Невском были закрыты и магазины тоже. Она вспомнила, как замерзали в блокаду, и ей стало страшно. И вдруг рядом с ней затормозила машина. Дверца распахнулась, за рулем сидел молодой человек, он пригласил ее садиться, выбора не было: либо замерзнуть, либо ехать с ним. В машине было тепло, звучала блатная музыка, а водитель был под хмельком и благодушно настроен.

– Тебе куда? - спросил он.

– Мне до Жуковского.

– Ладно, до Литейного довезу, а там сама дойдешь.

До Литейного доехали быстро, она вышла, ее никто не удерживал, и она радостно побежала домой, на этот раз все же успев добраться до парадной и не заledenеть.

Трофимова встретила Марусю на машине, они быстро подъехали к дому, по дороге предварительно завернув в магазин “Монопри”. Трофимова купила четыре бутылки красного вина, а потом, махнув рукой, еще две, прибавив при этом, что Боря дал ей денег на гигиенические пакеты, но она купит себе ваты, потому что вата дешевле. Трофимова все время говорила Марусе, как хорошо ей живется во Франции, поэтому, наверное, ей не хотелось ударить в грязь лицом при первой же встрече. Они с Борей жили в блочном доме, вокруг стояли такие же дома, почти как в новостройках в Ленинграде, и лифт был такой же грязный, весь исписанный и изрисованный.

Они с Трофимовой зашли в маленькую прихожую, причем дверь была открыта, а на пороге лежал огромный ротвейлер, размером с небольшого тельца.

– Видишь, мы поэтому и двери не закрываем, – пояснила Трофимова, – его и так все соседи боятся.

Тут из комнаты вышла еще одна собака, ризеншнауцер, а за ней еще одна – овчарка. Маруся удивилась, почему Трофимова держит столько собак, но та ей пояснила, что Боря работает охранником на одном заводе, и собаки ему просто необходимы, да к тому же Трофимова их очень любит. Собаки окружили Марусю и молча, мрачно и враждебно смотрели на нее. Марусе стало не по себе, хоть она тоже любила собак. Она захотела погладить ризеншнауцера и уже протянула было руку, но Трофимова закричала:

– Не трогай! Она терпеть не может чужих!

Маруся в ужасе попятилась, а Трофимова, загнав собак в кухню, провела ее в комнату. Там на полу у телевизора сидел небольшого роста мужичок с черными волосами, в джинсах, и играл в компьютерную игру.

– Вот это мой муж, Борька, – познакомься, – Трофимова подтолкнула Марусю вперед. Но Боря даже не повернул голову, и не обратил на Марусю ровным счетом никакого внимания. Он был весь поглощен игрой.

– Черт, – пожаловался он вслух, неизвестно к кому обращаясь, – вот эти ниндзи никак не могут пройти через эту гору, им эти мудаки мешают, а звездочки уже все кончились, блядь!

Он был не на шутку взволнован.

– Ну ладно, – сказала Трофимова, – пошли на кухню, а то он очень занят.

Они с Марусей устроились за столом в кухне и, открыв первую бутылку, разлили вино по чашкам.

– Бутылку спрячь, – прошептала Трофимова, – а то Борька мне пить не разрешает.

Маруся замаскировала бутылку за большой коробкой с собачьим кормом, и они сидели и мирно потягивали красное вино. Потом Трофимовой понадобилось ненадолго выскочить в магазин, в это время пришла ее дочь Полина, высокая худая светловолосая девочка лет шестнадцати, волосы у нее были закручены штопором, голос был низкий и хриплый, на Марусю она посмотрела, как на пустое место, и даже не поздоровалась.

А Боря, тем временем, прошел на кухню и, усевшись напротив Маруси на место Трофимовой, сказал:

– Привет! Ты что, с Ольгой в школе училась? Ну и как она была, ничего? Она же просто блядь, понимаешь, блядь и ничего больше. У нее даже был так называемый “голубой” период, как у Пикассо, когда она с пидарасами жила. Представляешь себе? А француза ты ее видела? Француз-то ей попался помоечный, как раз по Сеньке и шапка, у него вся спина была покрыта таким лишаем, псориаз, что ли, но он, правда, очень любил ее дочку, занимался с ней и даже устроил в дорогой колледж. Ну а она на него совсем плевала, совсем, ну я и думаю: как же это так, это же просто безнравственно, так нельзя. А подружки у нее – ты видела? – да просто все были валютными проститутками, правда, попадались и настоящие красотки, тут уж ничего не скажешь, но были и не очень, хотя уродин не было. А Ольга? Ну что ж, я, конечно, сперва с ней пару раз так от нечего делать, да и вообще, почему бы не довернуть за щеку, если сама предлагает, а мне тоже от этого польза. Но к проституткам я никогда не ходил, разве что уж если сперма совсем в голову бьет и из носа капает, а так они неприятные – просто автоматы какие-то – у них все на время, постоянно на часы показывают, время, мол, деньги, и это здесь нормально. А то, что про меня Жора сказал, что я ни одной юбки не пропускаю, так уж точно он пидор – такое бабе говорить! С ним все ясно! Я раньше в Питере всех писателей знал, и ту, что в инвалидном кресле под конец жизни ездила, известную писательницу, она еще вышла замуж за красивого юношу, гораздо моложе ее, а он оказался педрилой, любил мальчиков. Так он ей только и делал, что повторял: “Когда же ты сдохнешь, старая сволочь?” – и ходил возле нее с такой рожей, что просто испугаться можно было, а сам жил за ее счет и все гонорары проедал и тратил на своих дружков. Она ничего сделать не могла, ужасно злилась, но его все равно продолжала любить...»

Весь этот монолог Маруся выслушала молча и встрепелась только, когда Боря упомянул их общего знакомого Жору, который работал в “Русской мысли”, но которого оттуда выгнали «когда “Русскую мысль” перестало финансировать ЦРУ». Тем временем Боря все подливал себе да подливал из бутылки, которую он обнаружил за коробкой с собачьим кормом, при этом он не преминул заметить, что Оля алкоголичка, и это он ее спас, а то быть бы ей в лечебнице для алкоголиков, и что пить ей нельзя ни в коем случае. Маруся просто онемела от таких откровений, она не знала, что на все это Боре ответить, но к счастью, тут вернулась из магазина Трофимова и, с подозрением покосившись на Бору и на Марусю, стала готовить на плите какое-то мясо. А Боря снова ушел в комнату играть в компьютерную игру. Вскоре из комнаты стал доноситься визг и хихиканье Трофимовской дочери, и Борин довольный басок, как будто он ее там щупал и щекотал, но Трофимова не обращала на это ровным счетом никакого внимания, и Маруся подумала, что ей виднее.

Потом Боря и Трофимова пошли провожать Марусю, а заодно и выгулять собак. Всю дорогу они говорили про домик, который хотели купить тут же, неподалеку. Поэтому они даже специально повели Марусю по парку, вдоль озера -- было уже темно, около

двенадцати часов ночи — туда, где они присмотрели себе такой небольшой домик с хорошенькой крышей и оконцами. Они часто ходили вокруг него, прикидывая в уме, как будет замечательно, когда у них будет такой же, и как бы они его перестроили, «окошечки бы сделать побольше, а дверцы — поменьше, и вместо этой стены поставить бы веранду».

Марусе с самого начала в этом домике почудилось что-то странное, но она не спешила делиться своими догадками с Трофимовой, а только молча слушала, как они мечтают. И вдруг Боря тихо произнес:

– Бля, да это же сортир. Точно, сортир, — добавил он, обойдя домик еще раз. Трофимова подошла поближе и заглянула внутрь. В домике было темно, свет не зажигался, но сильно пахло мочой и блестели унитаза. В углу виднелась раковина.

– Бля, сортир... — протянул Боря с явным разочарованием. Трофимова молчала.

В Париже на улицах день и ночь продолжалась жизнь. На углу возле Оперы стоял шарманщик с птицей на плече. Он играл какие-то грустные мелодии, а в корзинке у его ног мирно спала собачка, укрытая одеяльцем. Потом Марусе кто-то сказал, что такие личности дают собачкам наркотики, чтобы те дрыхли с утра до вечера, а прохожие умилялись. У Центра Помпиду часто прогуливался смуглый, тощий, похожий на индуса продавец сахарной ваты, который выдувал огромные розовые клочья этой ваты из специальной старинной машины с бронзовыми блестящими ручками и завитками, а на плече у него сидела обезьянка. Да и сам город, все эти старинные дома, церкви, в которых в любую жару было прохладно, действовали на Марусю завораживающе. Она могла часами бродить по улицам, заходя в садики, пила воду из фонтанчиков, гуляла по магазинам.

Особенно ее притягивала Сена. Там, на набережных, пахнущих мочой, постоянно собирались какие-то юноши и девушки, а также было много клошаров, которые сидели, выпивали, закусывали и смотрели на проходящие мимо речные трамвайчики, где горел свет, звучала музыка, а за столиками весело болтали люди. Марусе особенно нравился один деревянный мостик, украшенный цветами и зеленью. Туда она ходила смотреть салют ночью 14 июля: огромные огненные шары, спирали, змеи, пирамиды и другие разноцветные фигуры вдруг расцветали на ночном небе, и вся толпа восхищенно ахала. Маруся тоже смотрела и не могла оторваться. Ей совсем не хотелось возвращаться домой, к Пьеру.

Если у нее были деньги, она покупала себе «греческий сэндвич» в Латинском квартале, спускалась к Сене, садилась прямо на набережной, свесив ноги вниз, и, глядя на воду, долго так сидела.

В последнее время Марусе было очень тяжело здесь, ей казалось, что счастье осталось там, в далеком сером дождливом городе, где шелестят под ногами желтые листья и так

спокойно и легко на душе, и ничего не нужно, а только идти по широким просторным улицам к себе домой.

Иногда под вечер, когда она уже лежала в кровати и засыпала, в голове проносились слова, целые фразы, они были так красиво построены, связаны между собой, но если она вставала, чтобы их записать, то сон сбивался. И она знала, что если заснет, то они уйдут и никогда не вернутся. Эта невидимая нежная грань между сном и бодрствованием незаметно стиралась, она переходила в другое состояние, дыхание постепенно становилось ровным, и она погружалась в сон.

Однако, стоило поймать этот момент перехода и как раз тогда толкнуть ее, разбудить, вырвать из сна, создавалось ощущение, будто она оступилась на краю пропасти и падала туда. Она знала, что, если проделать так несколько раз подряд, все время балансируя между сном и бодрствованием, то потом она долго не сможет заснуть, ее сердце будет тяжело биться в груди, и каждый раз, на грани сна и перед тем, как войти в сферу покоя и темноты, она, содрогнувшись всем телом, в ужасе будет просыпаться, задерживаясь на этой невидимой границе и не решаясь, не имея возможности ее перешагнуть.

Так вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.

Пьер рассказывал Марусе про свой мистический опыт, о том, как его посетил Святой Дух, как он почувствовал легчайшее дуновение и потом пошел работать на завод, то есть, таким образом, воскрес для полноценной жизни, а до этого он два года пролежал на кровати и жил, как растение. Это было всего один раз, и он сравнивал появление Святого Духа со сверхзвуковым самолетом, который, пролетая, вызывает сотрясение воздуха, и от него дребезжат стекла.

Когда Пьер стал православным, ему в качестве общественной работы поручили помогать Сюзанне. Она была парализованная, правда, не вся, а частично: руки у нее были иссохшие, и она ходила, как зайчик, прижав их к груди, но ноги у нее еще функционировали. Однажды она позвонила Пьеру и сказала, что у нее еще и рак. Он пришел ее навестить и увидел у нее на носу между выпученных рачьих глазок наклеенный пластырь, а она дрожащим голосом сообщила ему, что там и находится болезнь. Сюзанна рассказывала ему, что в детстве, когда она была еще маленькая, родители очень сильно ее били, но потом, когда она выросла, она стала очень красивая, и у нее было много любовников, поэтому она считала, что неплохо прожила свою жизнь, ей было, что вспомнить. Правда из-за этого битья она теперь вся больная, и недавно у нее что-то случилось с ногой, она ее подвернула, упала и так лежала очень долго, а потом кое-как доползла до телефона и вызвала скорую помощь. Врачи приехали, а она никак не могла открыть дверь, поэтому они вынуждены были разбить стекло и проникнуть к ней через окно.

Ее отец был генералом белой армии, служил у Врангеля, а потом, в Париже, работал шофером такси, а мать служила в ресторане. Сюзанна никогда не хотела иметь детей,

потому что она бы их тоже била, как ее отец и мать. У нее в ящиках комода хранились аккуратно сложенные вещи, иногда она доставала их своими скорченными ручками, а потом складывала обратно, при этом раздраженно приговаривая: "Ах, черт!" Она тоже не любила ни собак, ни кошек, и в этом отношении понимала Пьера. Летом Сюзанна непременно уезжала в дом отдыха. Там очень хорошо кормили, и она заранее предвкушала поездку, радуясь, как дитя. Правда, она и здесь могла каждый вечер спускаться в ресторан, что располагался на первом этаже ее дома, и там жрать за десятерых, но эта пища не шла ей впрок. Пьер, рассказывая об этом, горестно покачивал головой и ковырял в носу. Из дома отдыха она присылала Пьеру открытки: "Погода холодная, но кислорода до фига! Мне очень хорошо, кормят как на убой! Наилучшие пожелания. Сюзанна". Пьер иногда завидовал ей, потому что часто был голоден и жрал, что придется. Маруся видела, как однажды на вокзале Сен-Лазар он нашел на полу конфету – ее кто-то уже пососал и выплюнул – а Пьер поднял, демонстративно осмотрел со всех сторон и со словами: «Ах, как это вкусно!» - чавкая, съел. Он не придавал особого значения материальным удобствам и был доволен тем, что у него теперь хотя бы есть крыша над головой.

Раньше, когда он бродил по Франции, он ходил по лесам, и даже когда наступала ночь, продолжал идти, глядя на луну, которая служила ему ориентиром. Он не спал ночью, потому что в лесу на воздухе он никак не мог заснуть, к тому же он боялся, что его могли убить и ограбить. Один раз он заснул в каком-то сарае рядом с клошаром, и тот захотел трахнуть его в зад, но Пьер злобно его оттолкнул. Потом, вспоминая об этом, он говорил, что если когда-нибудь его и выебут в жопу, то это будет не грязный клошар. А однажды ночью зимой он чуть не замерз, но его спасла большая косматая собака, к боку которой он прижался и так провел всю ночь. Правда, собак Пьер все равно терпеть не мог, как и остальных животных. Пьер спал днем, когда светило солнце, и с тех пор он любил солнце. Часто, валяясь у себя в деревне в Нормандии на дворике, окруженном глухой стеной, он говорил вслух: «Солнце – это наш бог!».

Когда он приехал туда с Галей, они выпили три бутылки красного вина, и Пьер попросил ее залезть на лесенку, только без трусов, а когда она удивилась, рассказал, что в детстве видел фильм, в котором девушка собирала вишни и залезла на лесенку, но трусы не надела, забыла, что ли, а ее молодой человек стоял внизу и ласкал ее, отчего та, естественно, не могла собирать вишни. С тех пор Пьер завидовал тому молодому человеку и мечтал тоже оказаться в такой ситуации, и хотя тогда вишен еще не было, а стремянка стояла в грязной кухне на каменном полу, он все равно хотел повторить этот опыт, и наконец ему это удалось.

Ночью, лежа в постели рядом с Галей, он расспрашивал ее про покойников, и наконец, когда она просто завопила на него не своим голосом и попросила заткнуться, он в раздражении, кипя от благородного негодования, встал, взял свое одеяло и, волоча его по полу, вышел из комнаты. Он хотел приласкать Галю, но она оттолкнула его руку и выругалась. Пьера это очень задело, он сказал Гале:

– Ах вот как! Когда отталкивают руку, которая хочет тебя приласкать, это кое-что значит!

Когда сестра Пьера была маленькая, она провалилась в нужник, устроенный во дворе, возможно, с того случая она была немного не в своем уме и иногда по ночам в своей квартире начинала громко кричать, тогда соседи вызывали полицию, и ее увозили в сумасшедший дом. Покойный муж сестры Пьера был еврей, так что никто в их семье никогда не был антисемитом.

В Париже – несколько еврейских кварталов. В одном из них, возле бульвара Сен-Мартен, где огромное количество лавочек, в которых торгуют оптом и того и гляди могут всучить тебе какую-нибудь дрянь, жила родственница мужа сестры Пьера, которая немного повредила мозгами после смерти своего супруга. У нее в квартире вечно обитали приживалки – она уже не могла жить одна, ей было необходимо кого-нибудь тиранить, и чтобы ей кто-то помогал, с ней разговаривал и следил за ней, чтобы она куда-нибудь не ушла. Своего мужа она тоже держала в ежовых рукавицах.

Однажды она встала в два часа ночи, нарядилась, оделась и собралась уходить из дому, хорошо, что старушка по имени Вера, которая тогда жила у нее, проснулась и удержала ее. Родственницу мужа сестры Пьера звали мадам Израэль, она обычно прятала от Веры мыло и туалетную бумагу и совсем ее не кормила. По субботам та должна была зажигать у нее огонь, а готовить пищу заранее в пятницу, потому что в субботу это было запрещено. Она часто повторяла:

– Я хочу, чтобы у меня все было чисто в моей маленькой уютной квартирке!

Ее сын, у которого раньше тоже была лавочка, продал ее и уехал в Англию вслед за своей женой, с которой вскоре развелся, потому что та его била, такая она была здоровенная бабища. Но у них были дети, и сын иногда ездил их навестить. Он привез к своей маме в квартиру коробки с товарами, потому что больше девать ему их было некуда; теперь они лежали у нее на шкафах, и маму это ужасно раздражало:

– Это не помойка! Он привез свои коробки ко мне! Я хочу, чтобы у меня все было чисто в моей маленькой уютной квартирке!

Но она все же не выбрасывала их, потому что это был ее младший любимый сын. Она любила русских и хотела, чтобы у нее жили только русские. Ее дочка находила ей русских, которые за небольшую плату соглашались присматривать за ней.

Когда мадам Израэль была недовольна кем-нибудь из них, она подходила к телефону, звонила дочке и говорила:

– Что это она тут делает! Здесь ей не Россия!

Старушка по имени Вера жила у нее четыре года, она рисовала картины, сидя в своем уголке, корабли на Неве и Петропавловскую крепость, раз в неделю она ходила убирать еще и к старику, с которым заключила фиктивный брак, чтобы приехать во Францию. Она

была не прочь у него остаться навсегда, но он этого не хотел, а только давал ей конфетку, нежно целовал и говорил:

– До свиданья, Вера, до понедельника!

В конце концов, ей все это надоело, но в Россию она возвращаться не хотела, ей было хорошо и во Франции.

Напротив, в окне, на расстоянии двух метров, каждый день около двенадцати отец семейства с длинной бородой в ермолке садился за стол и долго сосредоточенно ел, он был в очках и очень толстый, вечером он надевал лапсердак и отправлялся в синагогу, его жена, тоже в очках, с огромным носом и толстым задом, целыми днями трепалась по телефону и жрала из коробки кукурузные хлопья. По дому бегали хорошенькие черненькие мальчики с румяными щеками и с черными пейсами, тоже в ермолочках, они появлялись в одном окне, потом исчезали, появлялись в другом. Вечером муж с женой удалялись в свою спальню, потом через некоторое время, если окно было не закрыто, оттуда слышались стоны и вздохи.

Этажом ниже сумасшедший юноша, высунувшись в окно, рассказывал прохожим о том, что у него в желудке завелись чудовища и не только в желудке, но и в комнате под кроватью. Он делал это примерно два раза в неделю. У него в квартире всю ночь горел свет.

Когда Маруся проснулась, на часах было три часа утра, значит, она спала всего три часа. Марусе приснилось, что ночью в комнату входила согнутая фигура в белом, подходила к самой кровати, а потом бесшумно исчезла, как фигура марусиногу дедушки во сне, который приснился ей уже после его смерти, когда он весь в белом, и сам белый, подошел к ней и звал за собой, и она уже хотела идти с ним, но в последнюю минуту испугалась и не взяла его протянутую руку. Проснувшись, она не могла понять, сон это или было на самом деле. Может быть, Пьер пытался проникнуть к ней в комнату, потому что Гали с дочкой не было дома уже две недели, а Ивонна находилась в сумасшедшем доме.

Маруся вспомнила, как однажды ночью сюда заявился Антуан, приятель Пьера из Сент-Анн. Сначала он пришел днем, и Маруся накормила его — сварила макароны — он поел и поинтересовался, где Пьер. Маруся сказала, что Пьер уехал в Нормандию. Вероятно, Антуан принял это за намек и ночью явился с огромным тюком за спиной, долго звонил у ворот, а потом перелез через ворота и стал бродить вокруг дома. Антуан гремел ставнями, пытаясь проникнуть в дом, шуршал внизу листьями или бумагой, а потом залез на крышу соседнего гаража и долго ходил по ней в призрачном свете луны.

Маруся в ужасе побежала вниз, проверить, все ли заперто, в кухне ставни были сломаны, и закрывались плохо, поэтому Антуану почти удалось открыть их, правда, не до конца.

Маруся спустилась в подвал, где были еще два маленьких оконца, и срочно тоже закрыла их. А Антуан еще несколько часов продолжал стучать в окна и трясти двери.

Под утро начал накрапывать мелкий дождь. Наконец, видимо утомившись, Антуан уселся в кресло прямо под дождем, накрылся простыней, которую извлек из своего узла, и заснул. Утром его обнаружил Пьер, вернувшийся из Нормандии.

Он отправился в Нормандию на неделю, но по дороге внезапно вспомнил, что ему нужно к зубному врачу и сразу же поехал обратно. Правда, по дороге назад Пьера снова охватили сомнения, и он опять повернул в сторону Нормандии. Потом опять повернул назад, затем опять решил ехать в Нормандию. Так повторялось несколько раз: Пьер поворачивал то в одну, то в другую сторону. Но в конце концов, он решил, что зубной врач важнее. Однако, вернувшись, Пьер сразу же отправился к себе в комнату и лег спать. Ни к какому врачу он так и не пошел.

Из-за того, что у Пьера совсем не было денег, он почти не покупал никакой еды, ел где-нибудь в гостях, а дома старался поесть то, что купят его жильцы. Но они тоже не особенно много покупали, а если и покупали, то уносили в свои комнаты. Ивонна же и вовсе съедала все из холодильника, когда не худела, а худела она редко – особой необходимости в этом не было. А Диму Пьер отвез к себе в Нормандию, где у него был еще один дом. Пьер возил туда всех своих гостей, включая Марусю и Галю с Юлей. Обычно они выезжали утром, а приезжали поздно ночью, когда было уже совсем темно. Пьер ездил в Нормандию чуть ли не каждую неделю, однако постоянно путал дорогу и спрашивал у редких прохожих, куда ему ехать. Вдоль дороги были установлены столбики, покрашенные флуоресцентной краской, которые отражали свет фар проходивших автомобилей, поэтому казалось, что столбики светятся в темноте. Маруся помнила, как ей хотелось спать, когда они доехали до дома. Было уже совсем темно, в доме тоже не было света, и в темноте Пьер так и не смог найти выключатель, поэтому им пришлось устраиваться на ночлег в полной тьме, Пьер лег на надувной матрас прямо на бетонном полу, а Маруся устроилась в сарае во дворе, там стояла раскладушка. Утром она обнаружила, что дом очень большой, целых три этажа, и даже есть ванная и два туалета, один на первом этаже, а другой – на втором. Третий этаж был совсем не отделан, там повсюду валялась стекловата. Утром Маруся с ужасом увидела это, потому что ночью, когда они приехали, хотела сперва лечь спать там, и задним числом испугалась, представив себе бесчисленное количество стеклянных иголок, впившихся в ее тело. Утром они сразу же поехали загорать и купаться на озеро Коко, которое называлось так, потому что было круглое, как кокос. По дороге они срывали ежевику, которая росла там прямо вдоль дороги, и ели ее.

Вот в этот дом Пьер и отвез Диму, чтобы от него избавиться. Потому что Пьер уже несколько раз выгонял Диму, однако вскоре Дима неожиданно появлялся снова, как обычно бодро напевая и приплясывая. Дима прожил в Нормандии две недели. Первое

время Пьер жил вместе с ним. Они воровали картошку на полях и пекли ее на костре во дворе, где росла одинокая груша.

Этот дворик у Пьера был огорожен со всех сторон бетонными стенами, и там росла травка, что очень радовало Пьера. Иногда он раздевался догола и валялся прямо на травке, подставив красное волосатое тело живительным лучам солнца. Он вообще любил раздеваться, и, будь его воля, все время бы ходил голым. Дома при Ивонне он так и делал. Ивонна кричала на него:

– Пьер, и тебе не стыдно?

– А почему я должен стыдиться собственного тела? — отвечал ей Пьер вопросом на вопрос. В конце концов Ивонна хватала свою куртку и сумку и, хлопнув дверь, убегала к знакомому испанцу, жившему по соседству. А Пьер отправлялся загорать на крышу. Однажды, когда он еще бродил по Франции, где-то возле Лиона он тоже обнаружил заброшенный дом и поселился там. Каждое утро, если светило солнышко, Пьер, совершенно голый, загорал на крыше, но это не понравилось соседям, которые вызвали полицию, и Пьера забрали.

Однако в Нормандии Дима скоро надоел Пьеру, он вывел его на большую дорогу, по которой шли машины на восток, и оставил там. Дима уехал автостопом. Правда, через месяц Дима снова появился, на сей раз с какой-то дамой преклонного возраста, годившейся ему в матери. Дима рассказал Пьеру, что полюбил ее с первого взгляда, и она теперь заменяет ему мать.

– Дима плакал, когда рассказывал мне это, — говорил Пьер, вращая глазами, — он обрел мать в этой женщине. Она любит его.

Но вскоре дама вернулась к своему богатому мужу, и Дима снова был вынужден очистить помещение.

Марусе очень нравились негритянки, они были одеты в красивые яркие длинные платья, и такого же цвета тюрбаны были намотаны у них на головах. У них были красивые коричневые плечи и руки и очень плавная походка. Иногда к спине или к груди у них был привязан младенец. Наверное, точно так же они ходили у себя в Африке, и, наверное, им тоже там было более просторно и свободно, чем здесь, где каждый ютится на десяти метрах жилой площади, а если у тебя есть свой дворик размером с тазик, то ты уже счастлив и с достоинством можешь вечером выйти покурить к "себе в сад", и все зовут тебя "собственник". А вечером можно поставить туда столик и стулья и всей семьей, с трудом разместившись, ужинать на свежем воздухе.

Негры редко устраивались так хорошо, разве что редкие негры, папа у которых раньше был президентом у себя на родине, а потом, наворовав много денег, спасся от военного переворота и улетел на личном самолете в Париж. Но подобных были единицы. С одним из таких негров сошлась Ивонна.

Ивонна жила в Париже уже пять лет. Она вышла замуж за сына русских диссидентов Сашу, который родился во Франции и считался французом. Однако она с ним почти сразу же рассталась и не хотела даже встречаться, правда, когда ее начинали осаждать кредиторы или приходили почтовые уведомления с просьбой оплатить покупку, которую она сделала в том или ином магазине, оставив там чек, а на ее счету денег, естественно, не было, она звонила Саше, и тот тут же предлагал ей оплатить все ее счета. А такое случалось частенько, потому что у Ивонны потребности явно превосходили ее финансовые возможности: у нее в комнате стояло около тридцати пар обуви, шкаф был забит тряпками, а стол завален дорогой косметикой. Когда она рассказывала об этом Марусе, то плакала от умиления и все повторяла, какой Саша хороший. А негр – любовник Ивонны – покупал в универмаге воду «Контрекс» целыми ящиками, потому что воду из-под крана пить было опасно, здесь вода, оказывается, была еще хуже, чем в Питере, и можно было подцепить любую заразу. Ивонна рассказывала Марусе, что с Энтони она познакомилась на улице, то есть она шла со своей подругой Джоанной по улице, а Энтони сидел на подоконнике, из окна доносились звуки музыки, и Энтони был в хорошем настроении, поэтому он и заговорил с ними, ну а они зашли к нему, и там было много народу, все пили и курили марихуану, и Ивонна влюбилась в Энтони, потому что он был очень красивый негр, к тому же его папа оказался президентом одной африканской республики и недавно, перед самым произошедшим там военным переворотом, успел улететь оттуда в Париж. У Энтони было много денег.

Конечно, Ивонна потом стала спать с Энтони, и он ей очень нравился во всех отношениях, у него был очень большой член, и он очень хорошо трахался. Но потом Ивонна обнаружила, что забеременела. Она сказала об этом Энтони, и тот ответил, что любит ее, но о женитьбе ничего не сказал, а Ивонне нужно было, чтобы он на ней женился. Тогда она решила ребенка не оставлять и приняла таблетку, есть такие специальные таблетки, отчего у нее произошел выкидыш. Тем не менее, она все же продолжала встречаться с Энтони, но не спала с ним, а делала вид, что ей то ли не хочется, то ли сам Энтони ее не устраивает, хотя он всячески ее добивался. В конце концов, кажется, она все-таки с ним переспала, но все равно ничего не добилась.

Наступил ноябрь, с каждым днем становилось все холоднее и холоднее. На сей раз Дима исчез надолго и снова дал о себе знать только весной. Оказалось, что Дима познакомился с одним очень знатным аристократом, к тому же очень богатым, которого встретил на Королевской охоте в Фонтенбло.

Королевская охота на оленя проводится раз в год в Фонтенбло, как правило, поздней осенью в ноябре. Охота называется «королевской», потому что она проводится со времен Людовика XIV. В лесу Фонтенбло собирается много народу, некоторые приезжают на велосипедах, но большинство — на машинах. Машины все должны оставить у входа в

парк и дальше следовать за охотниками пешком. Подъезжает множество специальных фургонов с охотничьими собаками, которых фореитор сначала выпускает, а потом сзывает сигналом огромного медного рога. Собаки, радостно виляя хвостами, толпятся вокруг него, предвкушая прекрасную прогулку по осеннему лесу и надеясь затравить оленя. Однако оленя найти совсем непросто, поэтому его заранее выслеживают и составляют возможный маршрут его следования. Несмотря на это, находят его далеко не всегда. В большой черной карете с красными колесами в сундучках хранятся еда и питье, чтобы те, кто охотится, могли подкрепиться. Места в карете стоят очень дорого, пятьсот франков, но к концу охоты карета обычно бывает заполнена до отказа. Большинство охотников восседают на лошадях в красочных охотничьих нарядах, в каскетках, белых лосинах, куртках и сапогах со шпорами. Перед началом охоты все выстраиваются в линейку, и главный охотник оповещает собравшихся о возможном местонахождении оленя. Раньше, в шестнадцатом веке, он докладывал об этом королю Франции, а затем торжественно надевал на него ботфорты. Теперь же это только дань традиции, и ботфорты надевать не на кого. Потом выпускают собак, и все отправляются на поиски оленя.

Дима уже давно ошивался около подобных великосветских тусовок, за это время у него даже успело сложиться нечто вроде тщательно разработанного плана – что говорить, как себя вести – и он только ждал удобного случая, дабы его реализовать.

В день, когда Дима встретил своего избранника, было довольно холодно, и земля в лесу была покрыта слоем опавших листьев, все разбрелись по разным направлениям, ходили долго, но оленя так и не нашли, он остался жив и невредим и продолжал мирно пастись в лесу Фонтенбло до следующей охоты.

Дима почти сразу отметил в толпе нужного ему человека: он был высокого роста и немного сутулился, одет в красный кафтан, на голове белый напудренный парик, а щеки слегка нарумянены. Он расхаживал по опушке леса, нервно и немного жеманно поигрывая тросточкой. Когда Дима приблизился к нему, в нос ему ударил резкий запах духов, казалось, он вылил на себя целый флакон. Дима с ходу без обиняков поведал незнакомцу о том, что он гомосексуал, хотя, вообще-то, из очень хорошей семьи польских эмигрантов, но теперь остался без отца и без матери, да еще и без работы. И аристократ столь же быстро, без какой-либо видимости колебаний, предложил Диме жить у него в качестве прислуги: Дима должен был гулять с собачкой и убирать квартиру.

Наконец-то Дима нашел работу. И все, вроде, шло хорошо, пока однажды он не обнаружил в ванной комнате нечто жуткое, нечто столь ужасное, название чего, рассказывая эту историю Пьеру и Марусе, он даже некоторое время не решался произнести вслух, а все тянул и ужасался, а потом – вероятно, чтобы заполнить паузу – опять вдруг начал приплясывать и напевать, изображая из себя то гитариста, то саксофониста. Что же это было такое? Пьер, пока Дима пел и приплясывал, предположил было даже, что этот аристократ просто насрал в ванную, чтобы унижить Диму и заставить его убирать свое

говно. Наконец Дима замолчал, сосредоточился и решил выложить все до конца: в ванной он обнаружил резиновый член огромных размеров.

Возможно, аристократ думал, что Дима страдает оттого, что долго не имел ни с кем сексуальных отношений, а может, сам решил намекнуть ему на свои чувства. Дима же, увидев член, не мог прийти в себя от возмущения, он тут же пошел и объявил своему хозяину, что не желает больше работать у него, так как это противоречит его религиозным убеждениям. Он покинул дом аристократа, на прощание громко хлопнув дверью, несмотря на то что там у него была своя маленькая комнатка с телефоном, и его совсем неплохо кормили.

Та девушка, что короткое время любила его, оказывается, приходила и к писателю-педофилу, но тот не знал, что она приходит и к Пьеру, а Пьер знал, и хихикал, радостно потирая руки. Почему-то это доставляло ему необъяснимое наслаждение. Потом девушка, ее звали Анна, пришла к нему, села на колени, нежно обняла и, лаская его редкие волосы, сообщила на ушко, что больше не придет, потому что полюбила другого. Пьер расстроился, но ненадолго, ведь он мог смотреть на девушек на улицах.

Недавно он видел одну, у которой были прекрасные волосы, которые спускались ниже колен: она шла, а они развевались сзади. Пьер подумал даже, что ей не нужен халат, она могла целомудренно прикрываться своими волосами, когда например, робко, как газель, будет вступать в комнату, а Пьер сладострастный и нетерпеливый будет ждать ее на ложе, покрытый простынями. Простыни - это хорошо, в простынях ты, как в животе своей матери!

Пьер не помнил, как он был в животе у матери, но помнил свою мать. Она кормила его, приносила ему пищу, когда он лежал на третьем этаже в своей комнате, как растение, лежал в течение года, ему не хотелось жить, он ни с кем не разговаривал, а она приносила ему еду и ставила перед ним. Он съедал ее, молча, не проронив ни звука.

А потом его мать отправили в больницу, она была уже очень старая, и просто устала, она так и сказала, что не хочет больше возвращаться домой, потому что ей все надоело, а сильнее всего ей надоела сама жизнь. Затем Пьера позвали в больницу, чтобы он с ней попрощался, и он видел свою мать под каким-то стеклянным колпаком в центре огромного зала. К ней отовсюду были подведены прозрачные трубки, по которым струилась жидкость — это произвело на него очень странное впечатление, он даже не мог понять, что это было, он просто помнил, что это было очень странно.

Отец Пьера, когда остался один, собирал во все шкафы своей комнаты съестные припасы, там были конфеты, печенье, банки с вареньем, колбаса, масло и просто хлеб. Он все время боялся, что снова начнется голод, ведь он помнил, как голодно было во время войны. Когда пришли немцы, он все равно продолжал работать, не оставил свою службу, поэтому потом, после войны, некоторые соседи обвиняли его в коллаборационизме, и даже

сосед, что всю войну торговал лошадиным мясом и за счет этого разбогател, и тот смотрел на него косо. Он считал, что про него самого никто ничего не знает. Впоследствии этого соседа дети сдали в дом для престарелых, и Пьер иногда приходил к нему. У него была отдельная комнатка с телевизором, а в холодильнике всякая еда и даже бутылочка красного вина, он всегда угощал Пьера, и вспоминал с ним свою жену, которая умерла уже очень давно.

Дима опять пропал, говорили, что он в Петербурге на Пряжке, куда его упрятали родители, потому что он не давал им покоя ни днем, ни ночью. Но и с Пряжки Дима сбежал и вскоре снова появился в Париже, где как раз проходил джазовый фестиваль, а Дима был без ума от джаза. На все концерты он проходил без билета, если его выводили, он проходил снова, контролерам было с ним не справиться, столько у него было энергии и изворотливости. Потом он учил Марусю, как надо проходить без билета:

– По бокам стоят два контролера, а ты так идешь, смотришь на одного контролера и протягиваешь к нему одну руку, а вторую руку протягиваешь в другую сторону, как будто даешь билет другому, и каждый из них думает, что ты даешь билет его напарнику.

Правда, Марусе так и не довелось проверить Димины слова на практике.

Он снова появился в доме у Пьера, заявившись туда прямо в пижаме, на голове у него красовалась не то феска, не то ермолка. Прямо с порога он объявил, что стал мусульманином и спросил, в какой стороне находится Мекка. Пьер ему указал направление, но только приблизительно. Каждый вечер Дима спускался в подвал, становился на колени лицом по направлению к Мекке и совершал мусульманскую молитву. Он набрасывался с кулаками на каждого, кто случайно плевал на землю, даже на Пьера, который очень часто харкался. Дима утверждал, что никто не имеет права оскорблять землю.

Дениса он таким образом вскоре отучил от плевков. Однако Пьер никогда не менял своих привычек, и однажды, после очередного возмущения Димы по поводу его плевка на землю, вытолкнул того за двери. В конце концов, Дима вынужден был признать право плевать на землю за Пьером, остальных же продолжал преследовать.

Пьер так долго терпел присутствие Димы в своем доме, потому что тот всегда приносил с собой продукты. Он приносил прекрасное тонко нарезанное мясо, сырое, но его так и ели сырым, только предварительно заливали соусом, который прилагался тут же, в маленьком пластиковом пакетике, на котором был нарисован лимон. Приносил он и мясо страуса, которое Пьер раньше никогда не ел – оно стоило очень дорого – и бифштексы, и куриные эскалопы, и мясо индюшки, козий сыр, масло в пластмассовых коробочках, хлеб, лепешки и блинчики, печенье, белый шоколад и конфеты. Как-то Дима принес банку с шоколадным кремом, у пластмассовой крышки банки был отколот маленький кусочек, а однажды он преподнес Пьеру целых пятьдесят плиток белого шоколада, которые Пьер

потом использовал как приманку для женщин, попадавших в его дом. Сначала Пьер был уверен, что Дима эти продукты где-то ворует, но ему, вообще-то, было плевать, главное, что не нужно было постоянно думать о том, где достать пропитание.

Но наконец Дима поделился с Марусей и с Пьером секретом этого маленького чуда: Дима нашел место на заднем дворе супермаркета, куда выставляли мусорные бачки с продуктами, срок годности которых кончался.

Обычно Ивонна работала по ночам, но вдруг Пьеру позвонили и сказали, что Ивонна в Сент-Анн. Пьер радостно захихикал и сообщил Марусе, что Ивонна тоже «того» и уже в психбольнице. Ивонна потом позвонила еще и сама и попросила Марусю привезти ей пижаму, сигареты и книжку.

На самом деле, Пьер в глубине души немного расстроился, потому что Ивонна с ним обычно старалась быть ласковой. Когда он был раздражен или не в духе, она целовала его в красный потный лоб и говорила Марусе:

– Смотри, вот как надо делать! Это совсем нетрудно!

Пьер делал вид, что отгоняет ее, но видно было, что ему это нравится, и вскоре он расплывался в улыбке.

Маруся взяла серые лосины Ивонны, серую ее футболку, пачку сигарет Мальборо и поехала в психбольницу. Пьер подробно ей рассказал, где она находится, потому что он сам провел там два года.

Его там лечили с помощью электрошоков, учили играть в теннис и позволяли печатать на машинке бесконечные стихи. Он потом показывал эти стихи Марусе. "Я параноик.... парано... пара... но.... ик... Параноидальный..... параноический...." и т.д. и т.п. А когда книга его стихов под названием "Я — параноик" была издана, один из белых русских, Миша Толстой, прочитав ее, подпал под полное влияние Пьера. Пьер стал для него как бы учителем, и Миша во всем с ним советовался.

Именно Миша успокоил Диму, когда тот однажды явился в церковь Александра Невского на улице Дарю, и, увидев, что там внутри продают свечи, иконы и книги, вдруг неожиданно громко завопил и пинком ноги опрокинул стол и купель. А там как раз в это время собирались крестить младенца, но, к счастью, купель была еще пуста и со звоном покатилась по каменному полу. Дима непременно хотел опрокинуть еще что-нибудь, его пытались остановить, но не могли, потому что он стал очень сильным - его просто переполняли силы - он стоял посреди церкви, вращая глазами, расставив руки, и всем своим видом как будто говорил: "Ну подходи, кто не боится". Никто не решался подойти к нему, все боялись. И только граф Миша Толстой, который работал в церкви реставратором икон и жил в маленькой комнатке при церкви во флигеле, не испугался. У него всегда в шкафчике стояли бутылки с ликерами - из черной смородины, малины, клубники,

ежевики - и он периодически наливал себе рюмочку и выпивал. Он был небольшого роста, крепко сбитый, с черными глазами навывкате и черными волосами, его голова росла прямо из плеч, и у него был черный пояс по карате. Он стремительно приблизился к Диме, тот попытался ударить его по голове, но промахнулся, а Миша заломил ему руку за спину и так вывел на улицу.

Тем временем кто-то уже вызвал полицию, и Миша стоял с Димой на улице и ждал машину. Но тут Дима стал так жалобно просить, чтобы его отпустили, и вдруг стал таким маленьким, беззащитным, а на его голубых глазах даже показались слезы, что Мише стало его жаль, и он отпустил его, а когда приехала полиция, сказал, что хулиган убежал.

Миша дружил с Пьером, они познакомились уже давно. Одно время Пьер бродяжничал, а потом его приютили русские, и он стал работать в РСХД шофером грузовичка: возил продукты, одежду и людей. Миша тогда был еще совсем маленьким, отдыхал в лагере в Альпах вместе с другими скаутами, а Пьер со своим грузовиком тоже был там, и они подружились. Пьер рассказывал ему о смысле жизни, о том, что все вокруг - одна большая комедия, поэтому не нужно стараться стать кем-то в этом лицемерном обществе, а самое важное - это быть самим собой. Миша все это слушал, и ему хотелось стать таким же, как Пьер.

Сестра Миши была отправлена в католический колледж, потому что у нее были очень уважаемые родители, которые хотели, чтобы их дочь была воспитана в строгом нравственном и религиозном духе. Но как раз в этом колледже ее изнасиловал учитель математики. С тех пор она стала мужененавистницей и не подпускала к себе мужчин. Пьер, рассказывая об этом, всякий раз пускался в рассуждения о том, что девочку первым должен просветить какой-нибудь родственник, например, дядя, кузен или брат, но лучше старший, тот, у кого уже есть опыт. Таким образом, он намекал на Юлю, которая, хотя и была еще мала, но ведь когда-нибудь же она вырастет, и вот тогда-то Пьер и поможет ей, чтобы она не имела до конца своих дней отвращения к сексу с мужчинами. Хотя в глубине души он надеялся, что у него самого будет дочка, и он сможет все это объяснить своему собственному ребенку.

Маруся вышла из метро и пошла по пыльным улицам, искать психбольницу. Она нашла ее почти сразу же: вокруг было много машин скорой помощи с голубыми полосками, с голубыми же звездочками, которые все время подъезжали и отъезжали. Пройдя мимо двухэтажных каменных зданий, она завернула на пыльный двор и позвонила в обшарпанную дверь. Оттуда выглянула девушка в джинсах и накинутом на плечи белом халате, наверное, санитарка. И тут же в глубине коридора Маруся увидела Ивонну, которая буквально оттолкнула санитарку и бросилась Марусе на шею. Маруся очень удивилась, потому что раньше Ивонна никогда не обнаруживала по отношению к ней таких горячих

чувств, а теперь Ивонна расцеловала Марусю и даже сказала, что любит ее. Маруся протянула ей мешок с одеждой и сигареты. Тут к ним подошел врач в очках и белом халате и спросил, что они здесь делают и почему Ивонна вышла из палаты, ведь это не разрешается. Ивонна же с идиотским смехом, в котором чувствовалась тайная похоть и кокетство, сказала врачу, что Маруся — это ее сестра. Врач с подозрением осмотрел Марусю, но ничего не сказал.

— Ну, идите, идите, — засуетилась девушка в белом халате. Ивонна снова обняла Марусю и ушла вглубь коридора. Тут неподалеку на скамейке во дворе Маруся заметила молодого человека с очень черными волосами и очень бледным перекошенным лицом. Он злобно смотрел на Марусю, а когда она отошла от дверей, подошел к ним сам и стал настойчиво звонить. Дверь снова открылась, и та же девушка спросила у него, что ему надо.

— Я пришел к Ивонне, — сказал он.

— А кто вы?

— Я ее муж.

Тут Маруся снова на мгновение увидела Ивонну, как она отрицательно качает головой, как бы говоря, что никакого мужа у нее нет.

— Все, кто сюда приходят, говорят то же самое, — со смехом сказала девушка и захлопнула дверь перед носом молодого человека. Маруся пошла прочь.

Маруся однажды видела, переходя через мост Леваллуа, как в Сене вверх брюхом плавало огромное количество дохлой рыбы. Значит, приятель Ивонны Энтони был прав, что избегал пить воду из-под крана. Пьер тогда орал и возмущался весь день, он опять был зол и раздражителен, потому что снова остался без работы. Его взял было на работу один поляк, но он поручил Пьеру пришивать к футболкам неизвестного происхождения бирки "Made in U.S.A.", а Пьер пошел и накапал на него в полицию, потому что "он обманывает честных французов, а сам он всего лишь иностранец, которого во Францию никто не звал". Поляк заплатил штраф, а Пьер оказался на улице.

Пьер никогда не покупал вещей в магазине. Он все находил на помойке или на улице. В Париже и его окрестностях можно было найти все, что угодно. Люди побогаче выбрасывали все, что им было не нужно, предварительно связав одежду в узлы, а иногда и просто прямо через окно.

Галина дочка Юля однажды нашла такой узел и принесла его к Пьеру. Там они обнаружили множество сарафанчиков ярких расцветок и даже кусок фиолетовой материи типа ситца, усеянной фотографическими портретами какого-то улыбающегося негра, кроме того, там были рентгеновские снимки и еще документы с фотографиями негров: негры были совсем черные, отчего на черно-белой фотографии у них вообще трудно было разобрать лицо, блестели только белки глаз и зубы. В тюке были и всевозможные

потрепанные брошюры о том, как получить во Франции пособие на детей, по безработице и еще масса всяких полезных советов, но, к сожалению все это уже устарело.

Галя тогда испугалась, что это все заразное, потому что рентгеновские снимки свидетельствовали о том, что негры от чего-то лечились. Она хотела все выбросить, но Пьер забрал узел в свою комнату. Фиолетовую материю с портретами негра он положил в качестве скатерти на обеденный стол, который он сделал из детской кровати, также найденной им на улице. Поэтому Пьер, сидя за столом, часто начинал его тихонько раскачивать и мурлыкать себе что-то под нос – вероятно, он представлял себя отцом, который укачивал в кровати своего ребеночка. Постепенно Пьер начинал раскачивать стол все сильнее и сильнее, так что Марусе несколько раз с трудом удалось поймать свою тарелку, которая едва не слетела со стола и не разбилась. В столешнице стола были высверлены дырки неизвестного происхождения, и Пьер, когда был в хорошем настроении, совал туда палец, имитируя половой акт, при этом он заливался громким раскатистым смехом, напоминавшим ржанье коня, когда его пришпорили.

По воскресеньям Пьер отправлялся в церковь Святого Сергия, служба начиналась в десять часов утра, но он никогда не приезжал к началу, а всегда ближе к концу. Особенно он любил туда ездить, когда были церковные праздники, потому что тогда после службы всех кормили и давали красное вино. Один раз Маруся пошла с ним на престольный праздник, обретение мощей Сергия Радонежского. На праздничном обеде присутствовал сам епископ с фиолетовым носом и красным лицом, и все высшее духовенство. Рядом с ними за столом сидели студенты православного института Святого Сергия и еще какой-то мужичок с бородкой и в косоворотке. Как Маруся потом узнала, он женился на француженке, правда, не очень удачно, так как у этой француженки периодически случались приступы тяжелой депрессии, и он с ней очень мучился. Но все равно, он неплохо устроился: преподавал математику где-то в университете или в колледже. Тщедушная прыщавая студентка Богословского института в очках, которая приехала из города Киева и никак не хотела уезжать обратно к себе, жаловалась ему, что ей негде жить, общежитие забито, а стипендию почти перестали выплачивать.

– Ну и уезжайте, — ласково наставлял ее мужичок с бородкой, — ведь это, может, знак вам, и Господь вам велит возвращаться на родину.

Студентка испуганно втянула голову в плечи и затравленно посмотрела на него, но все же покорно закивала.

– Вот мне, например, — продолжил тот, — Бог велел остаться, я и остался. Зачем же противиться Его воле? А вам, стало быть, Он велит вернуться, ну и уезжайте, не думайте долго, уезжайте, раз такова Его воля!

Все кругом ели консервированную кукурузу и пили вино. Пьер особенно налегал на вино, он уже несколько раз наполнял свой стакан из бутылки, его лицо приобрело

багровый оттенок, и глаза блестели. Как только трапеза стала подходить к концу, Пьер выскочил из-за стола и направился к выходу, чтобы не принимать участия в уборке посуды, что должны были делать все гости, включая епископа. Бумажные тарелки, пластиковые стаканы и объедки собирались в полиэтиленовые мешки и выбрасывались на помойку.

Пьер собирал на улице все матрасы, которые не были сильно пропитаны мочой и не так воняли. Он складывал их в гараже – если к нему в дом придет сразу много странников (а лучше странниц), то им всем будет, где спать. Одна такая странница, правда, совсем старая, часто приходила к Пьеру. У нее было оплаченное место в доме для престарелых, но ей там не нравилось – она предпочитала бродить по улицам и собирать в сумку разный мусор, а ночевать приходила к Пьеру. Пьеру она, конечно, была не нужна, поэтому он однажды ночью выгнал ее и больше к себе не пускал. Тогда она отправилась ночевать к его сестре Эвелине, и с тех пор ночевала у нее, в благодарность за ночлег убирая ей квартиру, так продолжалось, пока у Эвелины не случился очередной кризис. Все началось с того, что Эвелина открывала шкаф, а от него отвалилась дверца и загородила ей доступ к кровати. Эвелина никак не могла эту дверцу сдвинуть. Она просто не понимала, с какой стороны за нее можно взяться, и поэтому остаток ночи была вынуждена провести на кресле, в согнутом положении. Наутро она пошла к Пьеру и стала просить его, чтобы он пришел и помог ей, но Пьер собрался только через неделю, когда Эвелину уже забрали в дурдом.

Когда Пьер видел в метро или на улице людей в костюмах и галстуках, он кривился и говорил:

– Дерьмо, ломают комедию! Сидят себе целый день в своих конторах, а потом идут в кафе, жрут и треплются о своей работе!

Пожрать он и сам любил, так как считал, что вообще все французы любят пожрать, без этого для них жизнь лишена смысла. Еще французы любят машины. Для них машины – это как их детки, они их моют и ласкают, правда, сам Пьер предпочитал ласкать женщин, в трусах или без трусов, это все равно приятно, ни с чем не сравнимое ощущение. Самое прекрасное в мире – это женщина.

Пьер хотел, чтобы у него родилась дочка, мальчик был ему не нужен, хотя, если подумать, то мальчику тоже можно найти применение, вот его хороший знакомый, писатель Габриэль Мацнефф, знает, как надо с ними обращаться. Но Пьер боялся уголовного кодекса и тюрьмы – часто, просыпаясь в шесть утра, он горько плакал, когда слышал шум проходящего мимо поезда. Однажды он шел по давно заброшенному пути, и – то ли это было на самом деле, то ли Пьеру просто показалось – этот поезд перевозил заключенных. Пьер видел их всех: несчастные, они были заперты в огромном вагоне, как

животные, именно как животные. Пьер ненавидел всех этих правителей, которые издевались над людьми и запирали их в тюрьмы.

Пьер мог бы долго ласкать свою доченьку, потому что предполагаемая мать должна была оставить их и уйти в неизвестном направлении. Пьер не сомневался, что так оно и будет. Но он не знал, как сделать так, чтобы все же заполучить этого ребеночка. Иногда он думал, что можно проникнуть в комнату к какой-нибудь девушке, что жила у него, ночью, когда она будет спать, и тихонько оплодотворить ее сзади, она даже и не заметит. Но тут были сложности. Например, как сделать так, чтобы член стоял, это было не так-то просто, ведь по заказу это не происходит. Пьер читал про дыхательную гимнастику, и иногда после серий глубоких вдохов и кратких выдохов его член поднимался, но ненадолго, а ему надо было успеть за этот краткий промежуток времени добежать до комнаты и вставить его сзади в девушку, причем не ошибиться в выборе отверстия, иначе совершится содомия, а Пьер ненавидел этот акт. Так, один его знакомый постоянно содомизировал свою жену, и, в конце концов, у нее прорвалась перегородка между анальным отверстием и вагиной, и ее госпитализировали.

Пьер старался не думать об этом, он вообще жил настоящим мигом. Его подруга Анна, которой было двадцать лет, никогда не снимала трусов, она была девственница, и Пьер напоминал ей ее отца (хотя, может, это только ему так казалось). Анна была молодая и здоровая, у нее была приземистая квадратная фигура, но восхитительная нежная кожа и груди, как спелые груши.

Маруся один раз видела Анну в Сергиевском подворье на рю де Крими, когда пришла туда вместе с Пьером. У Анны было прыщавое лицо и редкие зачесанные назад волосы. Там же Маруся встретила и странницу Марину с ее двумя дочками - они все были в низко повязанных платках и длинных платьях, а в руках у них были мисочки с бесплатным супом. Тощая женщина в очках сидела на ступеньке церковной лестницы и читала какую-то, вероятно, очень умную книгу, об этом говорил весь ее сосредоточенный вид и задумчивый взгляд поверх очков. Маруся почему-то подумала, что это Эмили, про которую ей рассказывала Агаша, секретарша Кати.

Агаша сказала Марусе, что Эмили очень ей помогла, потому что как-то раз Катя в очередной раз уехала в Россию, и Агаша осталась без денег, ей было не на что даже купить себе хлеба, а Эмили прислала ей деньги в конверте, причем на нем не было написано от кого, а просто стояла подпись: "Добрый ангел".

Пьер считал себя православным, однако, входя в храм, никогда не крестился, а стоял и наблюдал за службой, гордо скрестив руки на груди. Как правило, конца службы он не дожидался и выходил на улицу подышать свежим воздухом. Так было и в этот раз.

Пьер купил себе один сандвич и разделил его с Марусей пополам, а когда к ним подошел сербский философ с длинной черной бородой, большим круглым носом и веселыми маленькими глазками за толстыми стеклами очков, Пьер и ему купил сандвич, и тот, жадно вцепившись в него зубами, стал есть. Звали его Слободан. Это и был тот самый

вернувшийся с Афона Катин муж, которого Костя застал у нее, когда впервые пришел к ней в гости. Правда, Катя теперь решила развестись с ним, потому что полюбила Володю.

Слободан действительно недавно вернулся с Афона, поначалу он собирался уйти в монастырь навсегда, но провел там только два года, так как самое тяжелое в монастыре — это постоянная жизнь в коллективе, а этого он не смог вынести. Так, во всяком случае, говорил он сам. Однако у Агаши была другая версия его возвращения. Слободан, естественно, тоже был влюблен в Агашу, о чем она уже успела сообщить всем, кому только можно. Он преследовал ее, устраивал сцены ревности, и в конце концов, решил уйти в монастырь, а вот теперь вернулся, не выдержав длительной разлуки с Агафьей.

Единственным мужчиной, который не был влюблен в Агашу, оказался новый возлюбленный Кати — Володя. Во всяком случае, никто никогда ни от кого об этом не слышал. Более того, Агаша и Володя терпеть не могли друг друга, и все об этом знали, да они и сами этого не скрывали. Возможно, причины этой глубокой взаимной неприязни заключались в том, что они оба жили на содержании у Кати, и это невольно делало их конкурентами. А между тем, Агаша и Володя были земляки, так как раньше оба жили в Воркуте. Благодаря этому обстоятельству, все кругом сразу же узнали, что Володя некоторое время был любовником женщины, возглавлявшей воркутинский горком партии, но когда та ему что-то не так сказала, ударил ее с двух сторон по ушам так, что у нее лопнули барабанные перепонки, отчего она оглохла. Рассказывая об этом, Агаша делала выразительный жест, как бы собираясь совершить хлопок, но не доводила руки до конца и останавливалась в том месте, где должны были находиться незримые уши секретаря горкома.

Папа Агаши, Самуил Андреевич Покровский, был известным адвокатом. В Воркуте он проходил практику как молодой специалист, да так там и остался. Потом он стал помощником кандидата, выдвинутого на Съезд народных депутатов. После того, как депутата по пути из Москвы в Ленинград выкинули из поезда, он перестал нуждаться в услугах помощника, и Агашин папа уехал в Америку с молодой женой, бросив на произвол судьбы Агашу и ее маму. Агаша осталась жить в его квартире вместе с девяностолетней совершенно глухой бабушкой, которая целыми днями сидела в углу дивана и что-то бормотала себе под нос. Маруся как-то приходила к ней в гости и была поражена: квартира напоминала склад вещей, в прихожей было свалено несколько пар лыж, стояло два велосипеда, лежал даже скафандр водолаза, а полки были забиты самыми разными книгами, от учебников по сталеварению до собрания сочинений Хемингуэя. Агаша тогда поймала удивленный взгляд Маруси и пояснила значительным голосом: «Это книги и вещи людей, которых защищал мой папа».

Агашу сильно раздражало то, что, по мере происходивших в стране перемен, поступок Володи начинал приобретать совершенно неожиданную политическую окраску, также ее возмущение этим поступком тоже могло быть неверно истолковано. В конце концов, она вынуждена была ограничить круг лиц, которым могла поведать эту историю, и говорила

об этом не сразу, при первом же знакомстве с человеком, как делала это поначалу, а только более внимательно к нему приглядевшись.

С тех пор Володя перепробовал множество профессий: был гальюнщиком на речном пароходе, грузчиком в порту, продавцом в магазине строительных товаров, - пока однажды не увидел по телевизору вернувшуюся в Россию Катю, которая к тому времени уже отошла от феминизма и обратилась к православию.

Однажды, еще в Петербурге, Маруся стала свидетельницей странной сцены, смысл которой для нее так и остался до конца не ясным. В одной из компаний, где Маруся случайно оказалась вместе с Катей, какая-то худая черноволосая женщина, тоже когда-то связанная с диссидентскими кругами, едва увидев Катю, вдруг начала трястись всем телом от возмущения, всячески демонстрируя ей свое пренебрежение и отвращение. Чуть позже, уже много выпив, она сделала многозначительную паузу и обратилась к Кате с вопросом:

– А Курочкину вы знали?

Та задумалась и через некоторое время ответила:

– Да...

Тогда женщина почему-то вскочив, вдруг завопила:

– Да-а-а! Да-а-а! Ну и что?

– А что вы имеете в виду? - с некоторым удивлением спросила ее Катя.

– А вот и то! А вот и то! - с еще большим возмущением выкрикнула брюнетка, и, в ярости толкнув стол и разбив две рюмки, выскочила на кухню, где, нервно закулив, злорадно прошипела вышедшей за ней следом Марусе, передразнивая Катю:

– А что вы имеете в виду! Надо же, что за подлость! Та вышла из тюрьмы просто старухой, потеряла все свое здоровье, а она, видите ли, в Париже прохлаждалась! Что вы имеете в виду!

Маруся и потом часто слышала, как диссиденты обвиняют друг друга в сотрудничестве с КГБ, в подлости и т.п., но такую бурную реакцию ей довелось видеть впервые. Говорили, правда, что темноволосая дама была равнодушна к Косте, который в тот вечер сидел рядом с Катей и, казалось, никого, кроме нее, не замечал.

С каждым днем становилось все холоднее, приближалось Рождество. Перед Новым Годом время растягивается и длится очень долго. Маруся стала замечать, что в последнее время оно стало куда-то проваливаться, в какую-то огромную черную дыру. Раньше каждое действие, поступок были осмысленны, а теперь, что Маруся ни делала, все это проваливается и не имеет ни смысла, ни значения, ни длительности. Раньше она получала удовольствие от каждого своего жеста, ощущая его красоту и значительность, теперь же дни стали другими, сжались, уменьшились до микроскопических размеров, их не стало, они ушли, исчезли, и их не вернуть назад никакими усилиями. Иногда кажется, что нарастает лишняя кожа, как на пятках, и если ее содрать, то чувства снова станут

прежними. Эта гадкая кожа нарастает всюду: на лице тоже, в виде прыщей, угрей и бородавок. Эти угри можно давить и ковырять до бесконечности, но ничего не изменится, только, может быть, в каком-то месте, вернее, в одной точке, чувствительность появится, но это ненадолго, потому что толстая кожа нарастает быстро сперва в виде тонкой пленочки, как на глазу у курицы, и этого достаточно - ты лишаешься способности четко видеть предметы вокруг себя, они расплываются в тумане, и вот он, синий туман, желтый туман, белесый, тошнотворный, тошнота чувствуется физически, когда пишешь, она немного уменьшается, потом возвращается снова. Кругом шелестят полиэтиленовые пакетики, люди с лицами, как у животных. Те, что похожи на котов - лучшие, достойнейшие, красивейшие особи. Остальные - отвратительны.

Счастье – иногда в воспоминании о синем море и зеленой траве, в соснах и во вкусе зеленого листа салата с майонезом, и том синем камне: он искусственный, но все же драгоценный, его называют турмалин.

В детстве Маруся знала девочку по имени Клара, которая называла финнов турмалаями. Она и про Марусю тогда сказала, когда увидела ее в доме отдыха:

– Я думала, ты хромая турмалайка.

Она тогда была пьяная, и у нее была такая толстая кудрявая коса и пепельные волосы, а также молочно-белая кожа и толстая-толстая задница, и вообще она была красивая, Клара, сексуальная. Она нарядила Марусю в джинсы и встала рядом с ней перед зеркалом, потом взяла ее под руку и, изгибаясь как кошка, начала ластиться к ней:

- Ах как бы я хотела иметь такого мужика, как ты, он был бы такой красивый.

И Маруся почувствовала, что хотела бы стать мужиком для Клары. Она почувствовала себя виноватой, что она не мужик, а так бы она обняла ее, на ней были такие красивые трусики, все в звездочках, которые красиво врезались в пухлое тело, и такие длинные розовые ногти. Она берегла руки и говорила, что, когда моет пол, всегда надевает резиновые перчатки. Ах, как Маруся любила ее, она была прекрасна. Правда, она была глупая и спала со всеми подряд, в школе ее даже прозвали "Клара — бактериологическое оружие".

Она была влюблена в Ежика, но не давала ему, потому что про него говорили, что всех, кто ему давал, он сразу бросал. Правда, тех, которые не давали, он, естественно, тоже бросал, ибо не видел никакого смысла болтаться с ними просто так.

Как-то вечером она шла с ним, усталая, и сгорбилась, а он как даст локтем ей в грудь и говорит:

– Ну что вымя повесила? Иди прямо!

А другая девочка с красивыми круглыми глазами и круглым лицом, она тоже Маруся нравилась, но она стеснялась познакомиться с ней и попросила отца: он тогда был в хорошем настроении, добрый и пошел к их столику, и они подружились. Они собирали маленьких рачков, их было очень хорошо видно, если смотреть в воду в стеклянной маске, как они переползают по песчаному дну на тоненьких ножках, таща на спине красивую

завитую ракушку, и у них такие огромные вытаращенные глаза, но если их вытащить на сушу, они очень быстро умирают, ими можно любоваться только в воде. И еще там были медузы, огромное количество, после очередного шторма их прибило к берегу, и одна самая большая медуза была размером с гигантское блюдо, и внизу под этим прозрачным куполом у нее была фиолетовая кайма, говорили, что такие медузы жгутся, потому что если медуза целиком белая и прозрачная, то она безвредная и не жжется, а медузы с фиолетовым внутри сильно жгутся. Они выбрасывали их на берег, и молотили палками, издавая какие-то воинственные крики, и медузы превращались в студень, в кашу, а вокруг у берега бились черные обломки досок, зеленые водоросли, такие приятные на ощупь, как шелк, и осколки стекла, найденные на берегу моря были такими гладенькими, что порезаться ими было невозможно. Еще они часто мечтали о том, что как-нибудь ночью пойдут купаться, родители будут спать, а они пойдут только вдвоем, и будут купаться совсем голые, и прожектор, который стоял на пляже, будет освещать их белые тела, голые, как зародыши ос, внутри которых противно что-то чернеет. А вечером после захода солнца, когда оно еще не совсем ушло, и красным светом ложится на море, и песок еще не успел остыть, они мечтали о том, что хорошо бы уплыть куда-нибудь далеко-далеко вместе, в Турцию, потому что ведь там за морем находится Турция, или еще что-то, но главное уплыть ото всех, и долго быть только вдвоем, вдали от людей.

После того, как Боря бросил ее, Трофимовой приходилось выкручиваться самой, она спекулировала икрой и еще чем-то, кажется, даже пыталась торговать картинами, но не очень успешно из-за большой конкуренции. Трофимова обычно бросалась скупать то, что уже и так хотели покупать все, и в результате оказывалась ни с чем. Несмотря на всю ее животную хитрость и живучесть, она не могла здесь конкурировать с теми, кто всю жизнь занимался картинами и делал на этом деньги.

Она знала Наташу Коршунову, которая уже давно скупала картины у советских художников, устраивала аукционы, а художникам платила процентов десять от вырученной суммы, и те были очень довольны. Коршунова даже выписывала из России художников, которые здесь на нее работали, писали то, что она заказывала, в частности саму Наташу в голем виде, хотя она была не первой молодости, и ей было уже за сорок. Во время сеанса она надевала на себя рыжий парик и так лежала, картинно закинув руку за голову, иногда, как была голая, вставала, подходила к художникам и давала указания: эту сисечку так нарисовать, повыше, а здесь животик убрать и так далее, — таким образом она увековечивала свой образ и в то же время омолаживалась. Правда, потом ее все-таки выдворили из Франции, когда там началась уже самая разнузданная борьба с иностранцами. У нее обнаружили человек десять русских художников, которые ютились у нее, кажется, в подвале, в жутких условиях и без документов, почти на правах проституток, которых набирали на работу за границу, суля золотые горы, а потом отбирали документы,

запирали в комнате без окон и заставляли работать за харчи. Художников тоже выдворили из Франции. Тут еще обнаружилось, что Наташа скрывала свои доходы и не платила налоги — вот ее и прихватили и, кажется, даже лишили права въезда на территорию Франции, занесли в компьютер, короче.

Маруся видела ее один раз на вернисаже, на который ее привел Пьер, перед самым Рождеством. В Париже в это время все улицы были украшены красивыми елками, мигающими фонариками и флажками, везде были расставлены игрушечные Санта-Клаусы, а в магазине продуктов становилось с каждым днем все больше, хотя, казалось бы, больше уже невозможно. Маруся по дороге купила у уличного торговца большие оранжевые мандарины — правда, здесь они назывались клемантины и были более сладкими, чем обычные мандарины. Пьер уверял Марусю, что это совершенно новый сорт.

Наташа Коршунова стояла в окружении толпы бывших заслуженных советских художников. Один старый хрыч, весь увешанный медалями и орденскими планками, со своей женой, тоже, наверное, решил заработать себе на старость, потому что Союз Художников дышал на ладан, вот он и переквалифицировался из соцреалиста в импрессиониста или авангардиста. Во всяком случае, Маруся видела там одну его работу: огромная женская жопа розовато-смутлого цвета. Вообще-то, это была дама, лежащая на боку спиной к зрителю, но нарисована она была в таком ракурсе, что была видна только ее гигантская филейная часть. Эта работа, кажется, заинтересовала французов, и ее собирался купить один состоятельный нотариус, а Маруся знала, что во Франции самые состоятельные люди — это нотариусы и юристы. Был уже конец декабря, поэтому вернисаж как-то незаметно сам собой перерос в рождественский бал-маскарад. Начиналось все чинно и официально, но, не прошло и сорока минут, как Маруся с трудом могла узнать присутствовавших на открытии выставки художников — такие с ними произошли метаморфозы. Старый хрыч с медалями, бывший завкафедрой живописи в институте имени Репина в Ленинграде, нарядился гусаром: на его черные джинсы, выразительно подчеркивая обвисшую задницу, была нашта красная ленточка, а на голове у него красовался огромный тяжелый шлем, но не гусарский, а с жестким, якобы конским волосом. Другой, тоже завкафедрой — но уже рисунка в том же заведении — нарядился зайчиком. У него были белые ушки, а сзади к штанам пришит пышный хвостик. Еще у одного бородатого художника в очках, с пористым красным носом, на голове красовались кокошник и белая фата. Тут же проводилась лотерея, на которой разыгрывались бутылки водки, шампанского, сухого вина, можно было выиграть и кое-что помельче, вроде погремушек или пачки «Мальборо». Когда основные призы были розданы, все дружно отправились к стоявшим в глубине зала столам с закусками и выпивкой. Но особого веселья не ощущалось. Вообще, атмосфера вокруг показалась Марусе какой-то нервной: все стремились поймать друг друга на слове и, хотя явно не переругивались, но в каждом жесте ощущалась скрытая враждебность. Изрядно подвыпивший завкафедрой рисунка жаловался Марусе, что его снимают и переводят на должность простого преподавателя,

потому что он в годы застоя слишком явно выражал свои коммунистические пристрастия, а после Перестройки до того зарвался, что устроил свою юную любовницу, которая сама училась всего лишь на третьем курсе, преподавать на факультете. Поэтому против него сплели сложную интригу, и один его ученик, которому он раньше очень помог и вывел его в люди, объединился против него вместе с деканом. Маруся огляделась по сторонам и заметила здоровенного мужика, видимо, тоже художника, пришедшего на карнавал в форме офицера советской армии, который в бешеном ритме отплясывал непонятный танец, гремя сапогами.

Наташа Коршунова была одета в черный пиджак и черные короткие штанишки, у нее были черные аккуратно подстриженные челочкой на лбу волосы, и она улыбалась такой блядской улыбочкой, глядя снизу вверх на стоявшего рядом с ней высокого носатого француза, а ее круглые розовые щеки так и лоснились. Помимо посетителей и художников на вернисаже присутствовали еще и цыгане. Один цыган в красной шелковой рубашке картинно расхаживал с гитарой, а тощая француженка, очевидно, потрясенная таким количеством "русского стиля", вдруг в подпитии пустилась плясать, тряся плечами и визгливо выкрикивая какие-то непонятные слова. На столе были расставлены закуски а-ля фуршет: маленькие кусочки ананасов, насаженные на палочки, кусочки колбаски, бутербродики с искусственной икрой, отвратительного вкуса прокисшее шампанское — возможно, продукты для закуски Наташа тоже нашла на помойке, хотя внешне выглядело все очень красиво, ничего не скажешь, были даже помидоры и ананасы, образующие какие-то диковинные гирлянды. Марусе очень хотелось спереть один ананас, но никак не удавалось — вокруг все время толпился народ. Пьер же был очень доволен, жрал и пил за троих.

Потом ночью Маруся слышала звуки, как будто кто-то блюет. Наутро Пьер сообщил ей, что икра была несвежая, и он отравился. Маруся подумала, что вероятно, не только икра, но промолчала. Ей, к счастью, повезло, и она не блевала.

Когда-то давно, когда она еще училась в школе, в канун Рождества Маруся шла по заснеженному Невскому, мела метель, и в глаза ей летел мокрый снег, острые снежинки больно кололи лицо. Когда она вышла на набережную Невы, ветер стал просто невыносимым, визжал в ушах и сносил Марусю куда-то вбок. Обычно Рождество с детства ассоциировалось у Маруси со стихами Блока, и даже его портрет, который уже очень давно висел в ее комнате, казался ей словно подернутым инеем: голубые глаза, как морозное небо в ясный день, волосы, каждая волосинка отдельно, как это бывает при сильном морозе, когда волосы покрывает тонкий иней, и весь его облик, какой-то странно таинственный и чудесно далекий, виднелся словно в дымке воспоминаний детства, и тут же представлялась наряженная елка, увешанная игрушками, запах мандарин, шуршащие обертки конфет и

даже крашенные золотой и серебряной краской орехи. Маруся потом среди старых елочных игрушек в деревянном ящике нашла скорлупки, на которых виднелись остатки этой краски. Там же лежали: серебряный дельфин с плавниками и хвостом из кусочков голубой губки, желтый цыпленок с таким же красным клювом, ярко-зеленая стеклянная елочка, на ветвях которой застыл серебряный выпуклый иней, белый стеклянный мальчик с лопаткой в руке и в сиреневой лыжной шапочке, и сиреневый пингвин, прижимавший крылом к толстому боку бутылку с микстурой. Еще был Дед Мороз, сделанный из тонкой блестящей бумаги, весь набитый ватой, которая торчала из образовавшихся от времени дыр, в нежно розовых рукавицах и нежно-голубой шапке, подпоясанный красным поясом и державший в одной руке желтый мешочек. Лицо у него было фарфоровое, тонко раскрашенное кисточкой, а длинная белая ватная борода спускалась до самого пояса.

Блок всегда был для Маруси самым прекрасным поэтом. Она с ним даже разговаривала во сне, и он являлся к ней. Она на самом деле видела его высокую стройную фигуру в сером костюме, озаренную каким-то неясным колеблющимся светом. Он был для нее как бы одновременно воплощением Петербурга и Рождества, и это рождало в ней именно то ощущение, которое она пыталась снова воскресить здесь, в Париже, и которое как будто уже умирало в ней, как будто уходило в какую-то унылую желтую вату.

Марусе иногда бывало так страшно и тоскливо, особенно часто это бывало ночью, когда она просыпалась перед самым рассветом, как будто она совсем одна, и никто ей не поможет, и очень страшно будет умирать, но одно утешение, что это еще не скоро, и лучше об этом не думать, лучше стараться думать о чем-то другом или заняться чем-то отвлекающим.

Иногда, когда Маруся выходила из дома в Шепетовке поздно вечером в туалет, она видела в небе одинокую звезду. Стоило ей посмотреть на нее, как она влекла и притягивала к себе, и вот уже было невозможно сдвинуться с места или подумать о другом или даже вернуться в дом – так можно было стоять до самой смерти, хотя она еще и не скоро. Или когда Марусю везла на санках бабушка, которая, как и Маруся, была вся закутана в платок – был очень сильный мороз, и снег скрипел под полозьями санок – Маруся видела в черном небе огромную луну в дымке, эта дымка была от мороза, а мороз был такой, что даже в горле и в носу щипало и больно было дышать, поэтому бабушка и закрыла ей нос и рот платком. И тогда уже Маруся боялась смерти и знала, что умрет. А теперь это все ближе и даже нет утешения, что еще не скоро, может, уже и скоро, и нельзя отвлечься от этих мыслей, они все навязчивее и навязчивее.

Маруся однажды видела у метро старика, сидящего прямо на каменном полу: он был грязный, оборванный, и от него сильно пахло мочой. Он сидел, вытянув ноги, так что в глаза бросались подошвы его пыльных ботинок. Он повернул голову и бессмысленным взглядом рассматривал ее, а она не решалась смотреть на него прямо, чтобы он не заметил и не попытался завязать разговор, но это была напрасная предосторожность, потому что

он уже, очевидно, достиг состояния растения, и такие функции, как речь, у него атрофировались. Ему это было не нужно, он просто жил.

Помимо продажи картин, Трофимова обслуживала новоявленных богачей из России, так называемых "новых русских". Они приезжали красиво потратить деньги в Париж, им хотелось покутить и погулять, и нужен был человек, который бы показал им магазины, рестораны, бары и прочие достопримечательности Парижа. Трофимова прекрасно для этого подходила. Ее знакомый в русском консульстве сообщал ей, когда приезжали нужные люди. И платили ей очень неплохо - франков по двести в день, да еще к тому же бесплатно кормили в ресторанах. Трофимова все еще не смирилась с тем, что ее бросил Боря, она по-прежнему каждый день звонила Марусе и рыдала в телефонную трубку.

Маруся и сама чувствовала себя не лучшим образом, оттого что жила в доме Пьера и ежедневно наблюдала перед собой его красную физиономию с перекошенным ртом, когда он начинал смеяться, он широко его разевал, и там, в глубине, трепетал его красный язычок. Все это в сочетании с обломками торчащих оттуда гнилых зубов производило странное впечатление, причем спереди у Пьера сохранились два зуба, и они были какого-то желтовато-красного цвета, как будто на них смешались кровь и гной, и Маруся, когда смотрела на них, чувствовала приступ тошноты. Если Пьер шел по улице и какой-нибудь идущий навстречу с матерью ребенок говорил: «Мама», – Пьер подхватывал его слова, как эхо:

– Мама, мамочка..., – голос тогда у него становился кукольным, в нем звучало сладострастие, и этим сдавленным голосом он еще долго продолжал повторять:

– Мамочка, мамочка... – он все время рассказывал Марусе, как он в детстве был несчастлив, потому что его мама не любила его. Однажды Маруся нашла старую фотографию, где была снята его мать, молодая и худая, а два стоявших рядом с ней маленьких мальчика весело и беззаботно смеялись. Она сказала, что вот, все же они были счастливы, раз смеются. Пьер очень обиделся, надулся и не разговаривал с ней два дня.

Потом он сменил гнев на милость и даже пригласил Марусю в китайский ресторан. Они пошли по старому заброшенному рельсовому пути, это была узкоколейка, которой уже никто не пользовался, насыпь вокруг заросла колючими кустарниками, было холодно, и Пьер дал Марусе свое старое драповое пальто. Маруся продиралась сквозь заросли этих кустарников, цепляясь за них длинными полами пальто. Неожиданно они наткнулись на каменный забор, Пьер перелез через него, а Маруся – за ним, хотя она уже страшно была зла на него, что он заставляет ее ползать по каким-то зарослям и лазить через заборы. В конце концов, они все-таки добрались до ресторана, где все стоило недорого, и даже вдвоем они могли поесть всего за пятьдесят франков. Пьер всегда брал к обеду бутылку красного вина, причем на сей раз он долго обсуждал с хозяйкой, какое вино лучше взять, хотя, на самом деле, он, конечно, предпочел бы подешевле, потому что денег у него было не так много. На второе он заказал рис с консервированными побегами бамбука и еще что-то

острое, какое-то мелко нарезанное мясо в соусе, потом не удержался и взял еще бутылку вина. Выпив и пребывая в прекрасном расположении духа, он вступил в разговор с официантами, которые одновременно являлись и хозяевами ресторана. Он рассказал им, что Маруся приехала из России, из Санкт-Петербурга, а китайцы, сузив глаза и улыбаясь, кивали головами. Непонятно было, знают они, где это, или нет. Однако Пьер не отставал от китайцев, пока один из них не ответил ему что-то более или менее связное, оказалось, они вообще не знают такой страны, как Россия, не то что города на Неве.

Расплатился Пьер специальными талонами, называвшимися "tickets de restaurant", которые ему выдавали на работе. Уходя, Пьер забыл в ресторане на спинке стула свою кожаную сумочку, которую незадолго до того нашел на улице, она была из хорошей кожи, к тому же там были его документы. Он почти сразу же обнаружил пропажу и бегом вернулся в ресторан. Китайка с поклонами вернула ему сумочку в целости и сохранности, и Пьер все повторял Марусе, что у них во Франции всегда так.

Вскоре после этого Маруся попала в больницу с приступом желчнокаменной болезни, и ей сделали операцию. Перед этим Маруся съела артишок и сердце артишока с майонезом, а потом арбуз и ночью ей стало плохо, у нее начались ужасные боли, она чувствовала, как острые камни проходят по протокам, доставляя ей ужасные мучения. Сперва она терпела, а потом позвала Пьера. Он явился в серых кальсонах: на его шее было намотано какое-то тряпье, а на голове надет красный вязаный берет, - так он спал, потому что в доме было холодно. Он предложил Марусе идти в больницу. Маруся ответила, что она не может идти, потому что у нее приступ, и она и шагу не могла ступить от боли. Она попросила его вызвать "скорую помощь". Но Пьер заявил, что вызов «скорой» стоит от пятисот франков, и есть ли у нее деньги, чтобы за него заплатить. Маруся сказала, что таких денег у нее нет, и начала рыдать, потому что боль стала невыносимой. Тогда Пьер, чертыхаясь, сказал, что сам отвезет ее на своей машине в ближайшую больницу. Маруся обычно боялась ездить с Пьером, но выбора не было. Пьера, кажется, очень пугало, что Маруся может умереть у него в доме, и у него будет много хлопот с ее трупом. Поэтому он и решил ее отвезти.

Они подъехали к большому серому зданию, которое находилось в Аньер, недалеко от Буа-Коломб, потому что в самом Буа-Коломбе больницы не было. Там Маруся сперва ждала в приемном покое, а потом ее пригласили войти в комнату и лечь на каталку. Она улеглась, к ней приблизился носатый молодой человек, попросил ее раздеться и стал щупать ей живот. Потом он дал ей градусник и попросил ее вставить его в задний проход. Маруся молча исполнила это, потому что ей было совершенно все равно, и у нее ужасно болел живот. Вскоре ее отвезли на эхографию и там действительно обнаружили, что камни движутся по желчной протоке. Потом ей сказали, что нужно оставаться в больнице и делать операцию. Пьер пытался протестовать. Он боялся, что его заставят платить, и поэтому все время повторял, что денег у него нет: "И у нее тоже", — добавлял он и указывал

на Марусю. Чернявый ассистент сказал Пьеру, что нужно остаться, так как операция пустяковая, а желчный пузырь вообще ни к чему.

– Как так ни к чему? — возмутился Пьер. — А зачем же тогда его создал Господь Бог?

Пьер любил вступать в дискуссии с продавцами, медсестрами и полицейскими. Ассистент ничего ему не ответил и молча ушел.

Марусю подсоединили к капельнице, положили на каталку и повезли на третий этаж, в палату. В палате кроме Маруси находилось еще две женщины. Одна, лет сорока, все время ужасно стонала и рыдала, а другая — огромная толстая старуха с коричневым лицом сидела на кровати и умиротворенно покачивала головой, осматривалась по сторонам. Оказывается, ее уже выписывали, и на следующий день ее место заняла молодая толстая арабская женщина. Всю ночь Маруся не могла спать от стонов и криков женщины, находившейся слева от нее, у окна. Оказалось, что у нее было прободение язвы желудка и одновременно приступ желчнокаменной болезни. Ей ничего не помогало, она стонала и плакала, и никто к ней не приходил. Потом появилась молодая плечистая сестра и сказала ей, чтобы она замолчала, так как тут ничем помочь нельзя. Только под утро, когда ей сделали укол морфия, она успокоилась и заснула.

К Марусе же в три часа ночи пришли сестра и врач и запихнули ей через нос пластмассовый желудочный зонд. Этот зонд они подключили к трубке, которая торчала над головой у Маруси, и по этой трубке побежала какая-то жидкость, то темно-зеленого, то желтого цвета. Маруся с интересом наблюдала за этим, но трубка причиняла ей ужасные мучения, и она думала, долго ли ей придется это терпеть, она даже спросила об этом медсестру, но та только развела руками и сделала такие грустные глаза, что Маруся поняла, что долго. Весь день и всю ночь она лежала с трубкой, причем спать с ней было невозможно, потому что при любом повороте головы или туловища она сразу чувствовалась в желудке или в пищеводе. Днем нужно было вставать и делать свой туалет.

Женщина слева от Маруси, та, что была в тяжелом состоянии, не могла встать и лежала весь день и стонала. К ней даже пришел муж и ее дети, наверное, они думали, что мама уже умирает, у них были очень испуганные лица, и они тихо переговаривались, муж потребовал главного врача, и тот, кажется, успокоил их, сказав, что ее будут оперировать.

Маруся тоже знала, что и ей предстоит операция, завтра или через день. К ней приходил Пьер навестить ее, он был пьяный и веселый. Он принес ей в подарок розовый цветок в горшке и еще пачку розовой же туалетной бумаги, которую он спер, скорее всего, в Центре Помпиду. Все в палате смотрели на Пьера с изумлением, особенно молодая арабская женщина, которая откровенно уставилась на него и даже открыла рот. Пьер улыбнулся ей и завел разговор о том, как он воевал в Алжире, и какие там красивые женщины. Арабская женщина мечтательно зажмурилась и сказала:

– Да, там очень красиво... Там горы...

Она была еще молодая — двадцать три года, очень толстая, но все равно очень хорошенькая — у нее были вьющиеся волосы, бледная матовая кожа и большие карие

глаза. В воскресенье к ней приходила вся ее семья: муж, отец, мать и ее дочка, которой было года три, тоже очень хорошенькая девочка. Она забиралась на кровать на огромный живот своей матери и сидела там, как на горке. Мать арабской женщины была в длинном платье, похожем на ночную рубашку, волосы у нее на висках были заплетены в косички и выкрашены в рыжий цвет, так что седины не было видно, вокруг глаз у нее была нежно-синяя татуировка и на щеке тоже, а на голове накидка. Она все время садилась у изголовья своей дочки и долго с ней целовалась. Отец же был в шапке пирожком, пиджаке и вязаной разноцветной жилетке. Все зубы у него были золотые. Он смотрел на Марусю и улыбался. Маленький и тощий муж арабской женщины тоже садился к ней на кровать, и они подолгу обнимались, шептались и целовались. Маруся подумала, что если бы не присутствие на кроватях еще двух незнакомых женщин, то они спокойно могли бы совершить половой акт, а в общем-то им на женщин было наплевать, скорее всего, он просто боялся, что могут зайти врачи или еще кто-то из больничного персонала.

В воскресенье состоялся большой врачебный совет. Толпа человек из двадцати в белых халатах ходила из палаты в палату, впереди шел высокий лысый мужик, а за ним бежал маленький в золотых очечках паренек с челочкой, ровно подстриженной на лбу, и все ему объяснял. Он делал это так энергично и старательно, что мужик поневоле кивал ему и улыбался. А паренек так и лез вон из кожи, так и старался влезть ему буквально в рот. Вероятно, тот бы его начальником. Когда очередь дошла до Маруси, то начальник снисходительно наклонил голову и спросил:

– Comment ça va?

Маруся ответила, что "bien". Маленький стал излагать марусин диагноз и сказал, что через пару дней ее будут оперировать. Главный наклонил голову в знак согласия, и они прошли к следующей кровати, где стонала француженка. Тут главный нахмурился и распорядился, чтобы пациентку немедленно готовили к операции. Как только он ушел, к ее кровати сразу же подскочили расторопные санитары, раздели ее и стали обтирать губками, предварительно макая их в какой-то раствор. Желудочный зонд, который торчал у нее из носа, как и у Маруси, вытащили, и она лежала на кровати, блестя мокрым тощим телом. Потом пришли санитары, надели на нее накидку ярко-синего цвета, завязали тесемки на шее и покатали прямо на кровати в коридор.

Маруся с ужасом подумала, что скоро это предстоит и ей. Соседки не было очень долго, ее привезли обратно только поздно вечером, когда было уже темно. У нее из-под одеяла свисали два пластиковых прозрачных пакета: в одном была жидкость красного цвета, а в другом - желтого. Маруся старалась не смотреть на них, она так и представляла себе, что завтра и у нее из живота будут тянуться такие же пластмассовые трубки с пластиковыми пакетами на концах. Соседка была еще под наркозом, то есть в полусне, и все бормотала какое-то слово, Маруся никак не могла понять, что она говорит.

На следующий день Марусю повезли в Кламар, чтобы сделать ей эхо-эндоскопию. Оказалось, что во всей Франции только в Кламаре можно сделать такой анализ, его

непременно нужно было сделать, чтобы узнать, можно ли Марусю оперировать сейчас или нет. Ее переложили с кровати на каталку и прямо на этой каталке вкатили в машину скорой помощи, и они поехали в Кламар. Капельницу Маруся держала в руке, только потом ее подвесили на специальный крючок к стене в машине. Трубка тоже торчала из носа у Маруси, но она все еще надеялась, что ее скоро вытащат, хотя она уже начала привыкать к этой трубке и почти не обращала на нее внимания. Она с удивлением отметила, что можно привыкнуть к самым мучительным и неудобным вещам и даже не замечать их. Она ехала лежа, ей было удобно, и она смотрела в окно на проносящиеся мимо дома, домики, деревья, везде на дорогах были синие панно с указанием направления и расстояния в километрах. Маруся боялась этого анализа уже заранее, поэтому ей хотелось, чтобы они ехали как можно дольше. Ее сопровождал молодой негр, который молча сидел у нее в ногах и тоже смотрел в окно. Когда они приехали, Марусю также на носилках выкатили из машины и покатали по коридорам. Потом привезли в палату, где на возвышении в углу стоял телевизор, медсестра в синем халате дала ей заполнить длинную анкету, где было множество вопросов о том, чем Маруся болела, какие заболевания были у ее отца и матери, и тому подобное. Потом анкету у нее забрали, и медсестра с улыбкой сказала, что нужно подождать, потому что какой-то там главный врач, который обычно проводит этот анализ, еще не подошел. Маруся лежала и с тоской смотрела в телевизор, где шел фильм "Санта-Барбара". Он шел здесь во Франции уже шесть лет. Наконец за ней пришли. Ей пришлось перелезть с одной тележки на другую, специальную, и ее отвезли в зал, где было много народу в синих халатах, и все улыбались Марусе, а потом попросили ее лечь на правый бок, и она поняла, что сейчас дадут наркоз, и, действительно, она видела, как неслышно подошедшая девушка отсоединила трубку, идущую в ее вену, от капельницы, и шприцем ввела туда какую-то жидкость, и Маруся подумала, что обязательно поймает миг, когда она будет засыпать, и успела заметить, как фигуры врачей и сестер в синих халатах становятся все более расплывчатыми, как будто в комнату вдруг напустили туман, и совсем внезапно все исчезло. Она проснулась в другой комнате, на ней было синее одеяние, такого таинственно-синего цвета, как глубокий сон, звездное небо или смерть, или анестезия, или наркотик — цвета, притупляющего боль.

Очнулась Маруся в той же комнате с телевизором оттого, что ее настойчиво звали и трясли. Оказывается, все уже было позади, и только непонятная припухлость во рту изнутри на нижней губе говорили Марусе о том, что ей что-то пихали в рот. Но трубки у нее в носу не было — какое счастье, можно было немного отдохнуть, хотя она и была уверена, что, как только она очутится в больнице, ее снова вставят. Маруся была в полусне, и вдруг заметила рядом с кроватью какого-то мужика в пиджаке с седыми волосами и неестественно белым зубами, он смотрел на нее и улыбался. Маруся тоже ему улыбнулась, потом она на какое-то время прикрыла глаза, а когда открыла их снова, рядом уже никого не было. Мужик исчез. Маруся подумала, что ей почудилось, и все же этот загадочный мужик ей кого-то напомнил, или же она его видела раньше. Потом, уже много позже, Пьер

сказал, что к ней заходил его брат, Жан-Поль, который работает в той же больнице кардиологом. Потом за ней пришел санитар, и ее снова на машине «скорой помощи» перевезли в больницу. Когда она очутилась в палате, ей забыли вставить в нос трубку, и она какое-то время лежала спокойно. Но потом появилась медсестра и указала, что трубка должна быть вставлена, другая пыталась ей возразить, что, может, не нужно, но первая сказала, что указаний врача на этот счет не поступало, и трубка снова вернулась на прежнее место. В тот же день Марусе сделали еще и сканирование. В перерывах между всеми этими процедурами к ней постоянно подходили санитары и санитарки, черные и белые, и делали ей уколы или брали анализ крови из вены или из артерии. Особенно больно брал у нее кровь из артерии негр, он был какого-то устрашающе черного цвета, с маленькими красными глазками, а на шее у него висела толстая золотая цепь. Маруся стала его бояться и, когда он подходил к ее кровати, вздрагивала. Пьер говорил ей, что негры очень подозрительные и недоверчивые, поэтому с ними нужно вести себя осторожно и не давать им повода для подозрений. Потом Марусю отвезли на сканирование, на этот раз в кресле на колесиках, хотя она вполне могла идти самостоятельно, причем вез ее в этом кресле Пьер, как раз пришедший навестить ее. Сканирование происходило в самом низу, на первом этаже больницы, перед этим ей дали выпить целый графин отвратительной молочно-белой густой жидкости, но вкус у нее был кисленький, наверное, французы, чтобы было не так противно, сделали ее приятной на вкус. Но все равно даже сквозь этот вкус прослеживалась, сквозила какая-то гадость, не то, чтобы это был привкус, но, скорее, сама идея этого напитка, что он просто должен быть отвратительным на вкус, а не таким конфетно-кисленьким, как его пытались сделать.

Марусю ввели в кабинет, там француженка в очках попросила ее лечь, она легла, и ее вдвинули в какую-то круглую камеру, сказав перед этим вытянуть руки вверх над головой. Когда она так сделала, рядом с ней появилась еще одна медсестра и сказала ей, что сейчас будет очень жарко. С этими словами она ввела из огромного шприца Марусе в вену какое-то лекарство. Марусе действительно стало жарко, и кожа на руке вокруг того места, где ввели лекарство, сильно покраснела. А другая француженка в это время кричала ей:

– Дышите!... не дышите!..

Маруся повиновалась этим крикам, а в это время круглая камера над ней двигалась, жужжала и щелкала. Марусе было плохо, больше всего ее пугало, что она задохнется в этой жуткой камере, к тому же тем временем ей снова ввели "продукт, от которого становится жарко во всем теле". Потом, наконец, процедура была закончена, и ее снова усадили на кресло и отвезли в палату. Маруся думала, что она сама могла бы идти, но раз уж ее возили, то она не возражала и изображала из себя слабую больную, хотя на самом деле чувствовала себя прекрасно. Единственно, она ощущала слабость, потому что уже несколько дней ничего не ела и не пила, но ей сказал врач, что все необходимое питание она получает через капельницу.

Наконец все анализы были готовы, и врачи сказали ей, что операция состоится завтра. Маруся, правда, тешила себя надеждой, что, может, она что-то не так поняла, не так расслышала, все же говорили они по-французски, и Маруся часто чувствовала себя как в тумане среди всей массы этих незнакомых слов и предложений. К тому же они все говорили по-разному - одни шепелявили, другие глотали слова, третьи заикались - в общем, часто она вообще начинала плохо соображать и чувствовала как будто дурман от этого обилия незнакомых слов. На нее как будто напал приступ идиотизма, и она начинала сама плохо говорить, коверкать слова и фразы и вообще вызывала удивленную улыбку французов, которые за минуту до этого говорили ей комплименты по поводу прекрасного владения языком. Маруся объясняла это усталостью, потому что очень тяжело все время говорить на иностранном языке. У нее над головой у кровати висел телефон, ей могли звонить, а она — нет, потому что за подключение этого телефона нужно было платить двести франков. Первой Марусе позвонила сестра Пьера Эвелина и два часа рассказывала ей историю своего брака.

Арабской соседке Маруси тем временем поставили телевизор — за это заплатил ее муж — пользование телевизором стоило сорок франков в день. Пришел мастер, установил телевизор и подключил его. Арабская соседка смотрела по своему выбору все развлекательные передачи. В основном там были игры, игра по угадыванию слов, похожая на "Поле чудес", игра по угадыванию цен, и еще множество каких-то игр, смысла которых Маруся не понимала, но которые все сводились к тому, что их участники выигрывали деньги или поездку за границу, или какую-нибудь технику, ну и, опять-таки, "Санта-Барбара"... Арабская соседка с увлечением смотрела все это и комментировала вслух. Маруся не понимала почти ничего из ее слов. У нее был очень сильный акцент. Маруся пыталась с ней говорить, как и с той француженкой, что лежала у окна и постепенно приходила в себя после операции. Но вскоре она с изумлением заметила, что эта соседка тоже плохо понимает Марусю, хотя усердно кивала ей и говорила: «Да... Да... Да что вы?» Теперь к ней каждое утро приходил расторопный жизнерадостный санитар с крючковатым носом, который бодро помогал ей слезть с кровати, сажал в кресло, перестилал ей постель и помогал помыться, то есть сперва он сам мыл ее всю с головы до ног, а потом она постепенно стала сама ползать в туалет, волоча за собой капельницу и придерживая другой рукой мешочки, которые тянулись из двух дырок в ее животе. Эти мешочки пугали Марусю больше всего, и она вся тряслась при мысли о том, что у нее будут такие же. Поэтому когда внезапно пришли за ней и сказали, что она едет на операцию, она вдруг затряслась и зарыдала. Все засуетились вокруг нее и стали говорить, что это не страшно и дали ей белую таблетку и воды, чтобы запить. Маруся таблетку проглотила, но все равно горло ей периодически сжимали спазмы, и она вся начинала трястись. На лифте ее привезли в операционную, тут ей на голову надели шапочку бледно-зеленого цвета и такой же передник, а перед этим еще в палате на ней был надет халатик синего цвета. Она потом поняла, что синий цвет — это цвет анестезии, а зеленый — уже операционной. Ее ввели в

зал, где все блестело и сверкало, но света было не так много, Маруся же все равно было очень страшно, и она тряслась помимо своей воли. Медсестра объяснила ей, что для них это совсем простая, совсем обычная операция и бояться не стоит, потом пришел высокий араб, и ей сказали, что это хирург, который будет ее оперировать. Маруся попыталась ему улыбнуться, но лицо было сведено судорогой, и улыбки не получилось. К Марусе снова подошла медсестра и пустила ей в вену из шприца жидкость. Маруся поняла, что это наркоз. Потом все провалилось.

Маруся проснулась оттого, что ее трясло от холода, она вся тряслась и с удивлением обнаружила, что она совершенно голая. Вокруг нее хлопотали врачи и медсестры, вытаскивали у нее из носа трубки, и укрывали ее электрическими грелками.

Оказывается, операция проходила при очень низкой температуре — это ей объяснили потом — поэтому она вся замерзла. Маруся потом пыталась вспомнить хотя бы одно ощущение, как же ей все-таки делали операцию — и ничего не могла вспомнить. В животе у нее все болело, и она даже боялась смотреть на него — она была уверена, что у нее из живота тянутся такие же ужасные трубки, как у той француженки.

Потом ее отвезли в палату. Пришел Пьер, снова пьяный, на лбу у него блестели крупные капли пота, пот прямо стекал ручьями, и рубашка у него на спине была вся мокрая. Он радостно сообщил, что приехали Настя и Валера — художники из Москвы — и они вместе выпили за здоровье Маруси. Пьера очень заботил вопрос оплаты услуг врачей и больницы. За день до операции он уже предлагал Марусе уйти, но Маруся после всех перенесенных мучений думала, что уж лучше дотерпеть до конца. Пьер же боялся, как бы его не заставили платить. Марусю в больнице не кормили и не поили, — значит, платить за питание не придется.

Арабская женщина тем временем со слезами стала рассказывать Марусе, что после родов она стала идиоткой, она теперь даже не умеет считать, и все это из-за врачей, потому что они сделали ей неправильный наркоз, и теперь она стала совсем глупая, а раньше она была очень умная и хорошо училась в школе. К тому же она постоянно стонала и требовала себе судно. Санитары не шли, их приходилось ждать долго, она звонила несколько раз, и один раз она даже не вытерпела и обмочилась, а потом со слезами рассказывала об этом пришедшему санитару. Тот ей посочувствовал, но видно было, что ему совершенно плевать на эту иностранку, и что даже если она пожалуется, ему все равно за это ничего не будет, даже с работы не выгонят, потому что все так считают: недовольна, так поезжай обратно к себе в Алжир, нечего здесь доставать порядочных французов, и без тебя работы хватает.

Маруся уже на другой день после операции встала и самостоятельно пошла в туалет. Ей не хотелось звать этих наглых негров, которые нехотя пихали тебе судно, как будто делали величайшее одолжение. Утром после операции к Марусе тоже пришел бойкий санитар и стал обмывать ее губкой, он помыл ей все, даже между ног, а потом она слезла с кровати, и он поменял ей белье. Тут Маруся к своей радости обнаружила, что у нее на животе всего четыре небольших белых пластыря, и совсем нет никаких трубок. Ее радости и удивлению

не было предела. Она была совершенно уверена, что трубки есть, она думала, что так делают всем. А потом пришла сестра и в стеклянной коробочке дала ей камни, которые извлекли из ее желчного пузыря. Камней было много, они все были ровненькие и кругленькие, только два или три камня были побольше. Маруся долго любовалась на них, потом убрала в ящик.

Снова пришел Пьер, и, смочив бумажную салфетку в одеколоне, стал обтирать Марусю лоб, тем самым проявляя о ней заботу, наверное, он видел в кино, как больным так утирают со лба пот. Марусю затошнило от резкого запаха этого одеколона, она попыталась отвернуться, но ничего не сказала Пьеру, не желая его обижать. Потом Пьер поцеловал ее в лоб, оставив у нее на щеке каплю пота и торжественно удалился, полы его расстегнутой клетчатой рубашки гордо развевались. Маруся проводила его глазами и отметила, что штаны сзади сильно врезались ему между ягодиц — было видно, что трусов он не носил, значит, он говорил ей правду.

Маруся с надеждой подумала, что, возможно, скоро ей дадут поесть, вот уже неделя, как она ничего не ела и не пила. Арабская соседка уже давно ела и победоносно посматривала на Марусю. А Марусе есть никто не давал. У нее брали анализы по несколько раз в день, опять стали бегать негры с резиновыми жгутами, ампулами и иглами, у нее они брали кровь из артерии и из вены, и еще ей давали пробирочку и просили туда помочиться. Оказывается, они торопились к обходу врачей. Наконец все анализы были готовы, снова пришла вереница врачей в белых халатах, и высокий француз с орлиным носом сказал, что ей можно начинать есть. Маруся поинтересовалась, а что же она может есть, и француз, многозначительно вытаращив глаза и наклонившись к ее кровати, отчеканил:

– Теперь вы можете есть все!

Маруся очень обрадовалась, она уже забыла, как вообще происходит процесс приема пищи. Сначала ей сказали, что у нее будет диетический стол, но потом внезапно тот же главный врач все отменил и сказал, чтобы ей дали обыкновенную еду. И ей принесли огромный кусок колбасы с томатным соусом, картофельное пюре, маринованную капусту, и на десерт шоколадный крем и яблоко. Маруся с ужасом смотрела на все это, она просто боялась это есть, к тому же она слышала, что после такой операции нужно все диетическое, а ей сразу же предложили кусок колбасы с томатным соусом. Она знала, что французы любят проверять на иностранцах новые методы лечения, потому что те все равно не могут никому пожаловаться. Но тем не менее она съела все. Она сразу же почувствовала непривычную тяжесть в желудке и улеглась на кровать, ожидая результатов. Но ничего особенно страшного с ней не произошло.

У нее на животе еще оставались наклеенные пластыри, и вот вечером пришел негр с клещами, похожими на кусачки, какими выдирают гвозди из стены. Маруся ужасно испугалась, а негр молча отклеил ей пластыри на животе, и она увидела, что там в коже завязаны какие-то тонкие проволоочки, и одна проволоочка торчит из пупка. Негр аккуратно стал перекусывать эти проволоочки щипцами, а Марусе даже совсем не было больно, она

напрасно боялась, оказалось, что это совсем не больно. Но она никак не могла понять, каким же образом ей сделали операцию — на животе не было ни шрамов, ни рубцов, никаких разрезов — только небольшие следы, как будто дырочки. Наверное, они вытягивают желчный пузырь через эти дырочки и через пупок — подумала Маруся. Но все равно ей трудно было себе представить, как это все происходит.

Пока она лежала в больнице, сильно похолодало, небо стало серым, часто шел снег с дождем, вскоре ударили и настоящие морозы — и когда в палате открывали окно, чувствовался холод. В доме у Пьера, наверное, настоящий колотун — подумала Маруся, так как знала, что отопления там нет. Вскоре ей сказали, что ее выписывают. Это произошло внезапно. Пришел врач и объявил:

– Завтра вас выписывают.

Маруся обрадовалась, а он посмотрел на нее с недоверием и спросил:

– Вы довольны?

Наверное, ему было странно видеть хоть одного пациента довольного тем, что его скоро выписывают, обычно в больнице старались задержаться подольше, чтобы бесплатно есть, пить и лежать в тепле. Вот арабская соседка Маруси, услышав о выписке, чуть не расплакалась, а врач смотрел на нее с явным удовольствием и насмешкой. Она пыталась говорить, что у нее болит и там, и сям, но он не реагировал на это и только повторял:

– Завтра вы уходите, - а потом, повернувшись, вышел. Марусе же надоело в этой больнице и хотелось на свободу.

В Париже Маруся не теряла надежды найти издателя и для своего первого романа и для перевода Селина, с этой целью она и пришла в гости к Наде. Надя со своим мужем, известным писателем-диссидентом, жила в небольшой квартирке под самой крышей недалеко от площади Републик. Когда Маруся пришла к ней в гости, Надя сидела на широкой тахте, покрытой красным знаменем с серпом и молотом в уголке.

Такое же точно красное знамя висело и у Кати на стене ее ленинградской квартиры. Однажды, вскоре после того, как Катя впервые вернулась к себе на родину из изгнания, к ней пришел фотограф, чтобы запечатлеть ее портрет для газеты, которой она только что дала интервью. Фотограф был уже пожилой, и, видно, работал в газете еще во времена Григория Васильевича Романова, однако он явно не ожидал увидеть красное знамя на стене этой квартиры. Он понимал, что православная диссидентка, рассказывающая читателю историю своих гонений при советской власти, будет смотреться на фоне красного знамени, по меньшей мере, странно. Катя же, которая к приходу фотографа уже успела выпить три бутылки вина, казалось, ничего не понимала. Маруся, случайно присутствовавшая при этой сцене, заметила недоумение фотографа и готовилась к худшему, так как знала, что Катя в пьяном состоянии, да еще в присутствии зрителей, обожает устраивать всевозможные демонстрации и спектакли. К счастью, опытный

фотограф не подал виду, а просто предложил Кате перейти к другой стене, на которую «лучше падает свет».

Надя пригласила Марусю посмотреть вместе передачу по телевизору: там как раз должны были показывать встречу французской общественности с Солженицыным, который в то время еще только намеревался вернуться в Россию, но ждал, пока ему выстроят дом под Москвой. С Солженицыным беседовали представители влиятельных парижских газет, философы, социологи и писатели. Надя хотела написать на эту тему статью и опубликовать ее в Париже, а может быть, и в России. По настоянию Нади Маруся тоже должна была взять карандаш и бумагу и внимательно смотреть, запоминая каждое слово писателя, так как предполагалось, что потом Маруся будет редактировать Надину статью.

Вскоре подошел еще один знакомый Нади — Арвид — мужик средних лет с бледно-голубыми глазами и бесцветными волосами, зачесанными на лоб в виде челочки. Он тоже уселся прямо на красный флаг и уставился в телевизор. По ходу телебеседы Надя несколько раз раздражалась диким хохотом, так что Маруся сперва даже вздрагивала от неожиданности, но потом привыкла. Арвид же на любую реплику Нади отвечал ничего не значащими словами. Маруся чувствовала себя обязанной сказать хоть что-нибудь, но ей ничего не приходило в голову, и она только иногда повторяла: "Да-а-а... Да-а-а...". Надя постепенно стала смотреть на нее с нескрываемым раздражением. Мужа Нади не было в Париже, так как он уехал в Москву. До Нади у него уже было несколько жен, и все они потом становились писательницами, начинали писать или стихи, или прозу, очевидно от него исходила какая-то особая эманация. Все жены, пожив с ним какое-то время, его бросали (или он их бросал) и очень неплохо пристраивались. Надя же пока жила с ним. Раньше она работала манекенщицей, и, очевидно, еще с тех времен у нее осталась манера размахивать руками и хохотать громким хриплым голосом.

Когда Надя говорила, она все время смотрела на себя в зеркало, висящее на стене, поворачивала голову то так, то эдак и по-разному модулировала голос. Периодически у нее случались запои, однажды после одного такого длительного запоя Надя очнулась в шесть утра и начала звонить мужу в Москву, заявив ему, что сейчас она покончит с собой. На что муж ей ответил:

– Если надумаешь уйти из жизни, оставь телефон.

Непонятно, что он имел в виду: то ли телефонный аппарат, то ли номер телефона. Надя, рассказывая об этом Марусе, опять разразилась громким смехом. Напротив их квартиры на лестничной площадке жили негры, целое семейство, иногда по субботам к ним приходили друзья, и они устраивали там церемонии вуду. Тогда из квартиры слышалось заунывное пение и какие-то потусторонние звуки. А вообще они были очень веселые. Надя говорила Марусе, что они всегда улыбаются. Маруся же в тот вечер была в очень мрачном настроении и когда говорила с Надей, то все время вздыхала и повторяла: "Ужас... ужас...". На что Надя ей потом сказала, что она пессимист. Сама Надя считала себя

оптимистом, ей было уже за сорок, но она обожала «Sex Pistols». Несколько раз она говорила Марусе, что не понимает, почему Цветаева не могла пристроиться на Западе, «ведь она же знала языки, а в то время здесь в Париже было так много разных групп и течений: сюрреалисты, символисты, дадаисты...».

Правда, сама Надя тоже так и не смогла «пристроиться на Западе». Начинала она как манекенщица в Америке, потом какое-то время подрабатывала пением в русском ресторане в Париже, а в последнее время и вовсе была без работы, полностью посвятив себя литературному труду.

На следующее утро Надя снова позвонила Марусе, но вместо статьи о Солженицыне почему-то предложила ей подписать письмо протеста против антинародной политики российского президента. Маруся отказалась, и Надя в ярости бросила трубку, однако вскоре позвонила снова и говорила с Марусей, как ни в чем не бывало.

Вскоре Надя уехала к мужу в Москву, а Маруся осталась в Париже. Из Москвы Надя заехала ненадолго в Петербург, где у нее должен был состояться творческий вечер в зале ВТО. Присутствовавший на вечере Костя потом рассказал Марусе, что Надя, затянутая в кожаные штаны и кожаную куртку и в кожаных же сапогах на огромной платформе читала стихи о том, как кому-то в жопу засунули гранату, и она разорвалась, но, вообще-то, это были стихи о любви. В заключение Надя спела хриплым голосом пару романсов из репертуара парижского ресторана, где она одно время подрабатывала. После вечера, как и положено, состоялся фуршет.

Когда же потом, Надя, Костя и курчавый молодой человек с хвостиком, Даниил, тоже парижский знакомый Нади, оказались на Невском, то Надя, явно перебрав во время фуршета, неожиданно схватила за лацкан кителя проходившего мимо юного румяного курсанта Военно-Морского училища и, прижав его к стенке, минут десять пыталась его, за Ельцина тот или за парламент. «Предатель, подлец!» – вопила она, почему-то при этом стараясь запихнуть свое колено ему между ног, а курсант весь съежился и вжимался в стенку. Наконец Косте и Даниилу с трудом удалось оторвать Надю от вконец растерявшегося юноши. Даниил поймал такси, и Костя, которому уже все порядком надоело, с тоской подумал, что теперь ему тоже придется тащиться в другой конец города, слушать вопли. Но Даниил, пропустив вперед даму, юркнул следом и ловко захлопнул перед самым носом у Кости дверцу такси, бросив при этом на него торжествующий взгляд. Такси умчалось вдаль, а Костя в глубине души был очень признателен Надиному приятелю.

Однажды Катя, желая помочь Марусе найти работу, повела ее в ресторан к арабу недалеко от ее дома, араб долго говорил с ней, осматривал с головы до ног, но отказал, очевидно, она его чем-то не устраивала. Скорее всего, ему нужна была любовница, а не официантка, а еще лучше – жена: жена будет работать бесплатно. Араб, приземистый, плотный, с черными бровями, походил на Саддама Хусейна, от режима которого он бежал во

Францию как диссидент. Маруся была рада, что он отказал ей, она вообще не представляла себе, как будет работать официанткой, тут нужен какой-то особый склад психики. И к тому же ее очень удивила фраза Кати, которую она обронила, когда они вышли от араба:

– Я бы очень хотела, чтобы вы с ним полюбили друг друга.

Маруся не знала, как это понимать, правда, Катя сразу же поправилась:

– Извини, извини, я глупость сказала.

Позже Марусе стало ясно, что Катя была не прочь ближе сойтись с Костей, но она не понимала, что главная проблема для нее заключалась не в Марусе, а в самом Косте, который, общаясь с Катей, был настроен на столь возвышенный лад, что по-прежнему не замечал ее женских уловок и хитростей, а если иногда замечал, то ее кокетство выводило его из себя. Маруся хорошо знала эту особенность психики Кости, который долгие годы воспитывал свой дух, сначала в санитарах, потом в библиотеке, а потом на фабрике. Костя считал любовь пошлым чувством и относился к нему с глубоким презрением. Маруся не раз слышала от него об этом.

Пьер тоже не советовал ей идти работать в ресторан, он говорил, что она должна будет спать с клиентами, почему-то это именно так рисовалось в его голове. Пьер всегда мечтал спать не один, а с кем-то, поэтому он и другим приписывал те же желания, а может, так оно и было на самом деле.

Маруся записалась в контору, набиравшую отесс (то есть мэтр д'отелей), которые должны были дежурить в ресторанах, на выставках или в кафе. Но утром, проснувшись, она опять почувствовала страшную скованность, ей было страшно, и она боялась идти туда, в эту таинственную контору. Похожие чувства, наверное, ощущает ребенок, оставшийся без мамы или лишившийся поводыря слепец. Она боялась шагнуть, повернуть голову, посмотреть в сторону, а взгляды прохожих причиняли ей почти физическую боль, она бы хотела вообще раствориться, исчезнуть, лишь бы никто на нее не смотрел, и лишь бы ей не нужно было ни с кем разговаривать. Но она прекрасно понимала – каким-то уголком сознания – что это вообще ведет в полное небытие и нужно, хоть и через силу, делать то, что делают обычные люди, ни в коем случае не останавливаясь. Она надела на себя наряд, в котором, по словам Ивонны, нужно было явиться в эту контору: черную юбку, черные туфли, белую блузку и черный же пиджак. Когда она оделась и посмотрела на себя в зеркало, ей показалось, что она ничем не отличается от других – и в этом и было ее спасение – но какой-то незаметный перекося в углу рта или слишком напряженный взгляд или складка чересчур плотно сжатых губ уже были как бы клеймом, наложенным на нее, и ей никак не удавалось сделать вид, что она такая же, как и все, и ничем от них не отличается. Иногда это приводило ее в отчаяние, и ей все же удавалось – или просто казалось, что удалось – добиться радостного идиотизма и беззаботности в улыбке, но она-то знала всегда, что внутри нее сидит липкий страх, бесформенный, липкий, затягивающий, как медуза или вязкая болотная жидкая трясина. Она настолько слилась с этим образом мазохистки, что даже при рассказах о том, что какой-то мужик поймал

девушку, запер ее в голом виде в комнате и так держал все время, она ощущала, как судорогой ей сводило ноги. «Как у собаки», – думала она, вспоминая старую сучку, у которой была течка, и которая как клещами сдавливала лапами ногу доверчиво расслабившегося гостя и начинала основательно заниматься онанизмом на его ноге. Ведь это могло случиться и с ней, но инстинкт самосохранения все же удерживал ее от последнего шага – туда, в пропасть и полную пустоту, темноту, и там лишь кое-где были вспышки красных огней.

Однажды в кафе Центра Помпиду к ней пристал какой-то странный тип с бледным лицом, налитыми кровью глазами и гладко зачесанными назад черными волосами. Она сидела за столиком, а он подсел рядом, после пары незначущих слов взял ее за голую руку выше локтя и так сильно сдавил, что потом черные следы от его пальцев долго приходилось скрывать под длинными рукавами. Он был в костюме, галстук и с дипломатом, он вышел вслед за ней, она пошла по открытой галерее пятого этажа, он бежал сзади, ей не хотелось привлекать внимания и орать – она надеялась, что он просто отстанет – но он все бежал сзади, пытаясь обнять ее, вдруг дипломат у него раскрылся и какие-то белые листочки закружились по ветру. Он с криком «Merde!» бросился их собирать, пытаясь одновременно при этом растопыренной рукой удержать Марусю, не давая ей выйти из угла, как наседка, растопырив крылья, не пускает цыплят со двора. Маруся боком, по стенке пробралась к эскалатору и спустилась в библиотеку. В библиотеке было много народу и тихо, он присмирел и стал просить о свидании. Маруся назначила свидание на завтра, заведомо зная, что не придет, и он, взяв с нее клятвенное обещание, ушел, деловито помахивая дипломатом.

Маруся, нарядившись в условный черно-белый костюм для отесс, выпила кофе, выкурила сигарету, и со вздохом взглянув на часы, поняла, что ей пора туда идти. Пьер вызвался ее проводить, так как сочувствовал ей и разделял ее страх и неуверенность. Но когда они вышли и прошли буквально сто метров, настроение у него резко испортилось и он со словами: «Я не хожу с манекенами!» – повернулся и пошел в неизвестном направлении. Маруся снова осталась одна в этом зыбком пространстве, и опять ее охватил страх и неуверенность. Она, заставляя себя двигаться как автомат, купила билет и стала ждать электричку. Ей нужно было ехать до «Pont Cardinet» – это не доезжая одной остановки до Парижа, до вокзала Сен-Лазар. В вагоне электрички она внезапно почувствовала, что задыхается, ей плохо, и она сейчас упадет в обморок. Она, как бы в поисках спасения, стала обводить глазами стоявших вокруг пассажиров, в их глазах было лишь холодное недоумение и высокомерное удивление. Ей стало еще хуже, но тут поезд затормозил, и она вместе с толпой пассажиров очутилась на перроне. Теперь нужно было ждать следующую электричку, и Маруся, стараясь успокоиться, дрожащими руками достала из сумочки сигарету «Голуаз» и закурила. Но от курения ей стало еще хуже, и она бросила недокуренную сигарету прямо на асфальт. Она продолжала дымиться. Маруся посмотрела на часы – конечно, она уже опоздала, и надо будет позвонить и записаться еще

раз. Ей стало спокойнее, и она решила просто доехать до Сен-Лазара и прогуляться по Парижу, раз уж все равно дело сорвалось.

Именно Надя познакомила Марусю с Ольгой Кокошиной, возглавлявшей витебское СП «Кока-Даун». Когда Маруся впервые услышала название издательства, то невольно рассмеялась. Однако потом выяснилось, что название возникло благодаря стечению обстоятельств, которые самой Кокошиной, видимо, было совсем невесело вспоминать.

Дело в том, что основавшего фирму мужа Кокошиной в его родном городе Витебске все с детства звали «Кокой», под другим именем его там просто не знали. «Кока» погиб во время октябрьских событий в Москве – это было темное дело, так и оставшееся невыясненным – однако его тело было найдено завернутым в плед, неподалеку от Останкинской телебашни. Вскоре после смерти мужа Кокошина встретила с солидным ирландским бизнесменом по имени О’Даун, который проявлял живой интерес к белорусской недвижимости и вскоре вошел с Кокошиной в долю. Ирландец очень плохо говорил по-русски, и с истинно ирландским упорством настаивал на том, чтобы его имя обязательно вошло в название фирмы. Первая же часть названия была дорога Кокошиной как память о муже, которому она считала себя обязанной всем. В результате всех этих перипетий и возникло это совместное белорусско-ирландское предприятие «Кока-Даун», неизменно вызывавшее улыбки у всех, кто о нем слышал впервые. Эти улыбки глубоко задевали Кокошину, но она считала, что должна гордо нести свой крест. Увы, упрямый ирландец вскоре бесследно исчез из Витебска, прихватив с собой часть документации на недвижимость и всю имевшуюся в наличии валюту.

Злые языки утверждали, что О’Даун был вовсе никакой не ирландец, прекрасно говорил по-русски и просто так, можно сказать, подшутил над бедной вдовой. Не исключено даже, что имя Даун тоже было его кличкой, вряд ли только школьной. Впрочем, сама Кокошина предпочитала не углубляться в это дело, после смерти мужа она решила вести себя осторожней. К тому же, и урон фирме был нанесен сравнительно небольшой. Менять название она не стала, так как это было невыгодно с рекламной точки зрения: название было смешным, но зато запоминалось хорошо! «Нет худа без добра!» – говорила она. Тем не менее, однажды она призналась Марусе, что хотела бы сменить свою фамилию на «Королеву» – фамилия Кокошина ей не нравилась, так как вызывала у нее ассоциацию с кошкой и кокосом, а то и того хуже. Зато «Королева» звучит почти как «королева», и если бы не память о муже, она бы непременно это сделала.

Надя говорила Марусе, что Кокошина спекулирует на смерти мужа, и еще, что мужа у нее убили не зря. Надя заметила, что все, кто хотел сделать или сделал ей что-то плохое, тотчас получали по заслугам — Кокошина хотела ее обмануть и не заплатила за рукопись, вот у нее сразу же и убили мужа. Надя заметила эту свою особенность еще в детстве, когда соседка по лестничной площадке ее как-то обозвала, а потом, через два года, умерла.

Помимо недвижимости Кокошина очень интересовалась культурой, поэтому ее фирма была зарегистрирована как издательство. Поначалу в «Кока-Даун» выходила только массовая литература: ужасы, детективы, эротика. Но позже Кокошина обратила свой взор на серьезную литературу, решив начать с издания полного собрания сочинений надиного мужа. Романы же самой Нади она отказалась издавать наотрез, поэтому Надя пока составляла у Кокошиной эротическую серию, подбирая французские и английские книги для их дальнейшего перевода на русский. Еще в Париже Маруся как-то случайно видела на столе у Нади отпечатанный типографским способом листок. Сначала она подумала, что это листовка, однако, взглядевшись повнимательней, прочитала:

«Вниманию переводчиков!!!

От составителя серии!!!

Уважаемые господа переводчики!

Если вам во французском оригинале попадется слово «bite», то ни в коем случае нельзя переводить его на русский как «член», «хер» или тем более «фаллос». Это слово должно быть переведено как «ХУЙ»!

Если вам попадется слово «cop», то это слово нельзя переводить как «влагалище» или «дырка». Оно должно быть переведено как «ПИЗДА» и только «ПИЗДА»!!!

Слово же «connard», которое некоторые почему-то переводят как «недоносок», «мудак» или «мудило» на самом деле должно переводиться только как «ПИЗДЮК»...»

Далее следовал еще целый перечень французских слов, которые надлежало переводить как «блядь», «охуевать», «пиздеть», «ебать», «пошли на хуй», «ебанный в рот» и «еб твою мать». В завершение было написано: «Надеюсь, вы со всем вниманием и серьезностью отнесетесь ко всем вышеперечисленным рекомендациям. С глубоким уважением, составитель серии «Секс-беспредел» Надежда Воробьева».

Все эти выражения были набраны крупным жирным шрифтом, некоторые из них были подчеркнуты ручкой, а некоторые даже любовно обведены в рамочку.

Внизу зазвонил телефон. Маруся с грохотом побежала вниз по винтовой деревянной лестнице, рискуя поскользнуться и упасть, но успела. Маруся стала кричать: "Пьер, Пьер!" Но никто не отзывался. Она не слышала, чтобы Пьер уходил – когда кто-то уходил из дому обычно звякали железные ворота, но сейчас Маруся не слышала этого звука. Она обошла весь первый этаж, заглянула даже в подвал, но никто не отзывался. Она поднялась на второй этаж и все звала: «Пьер, тебя к телефону!»

В комнате Пьера как всегда было темно и пахло чем-то затхлым, слежавшимися старыми тряпками и каким-то лекарством. Она осторожно зашла в его комнату и,

продолжая звать : «Пьер, Пьер!» – ошупью стала продвигаться вдоль стены. В комнате было темно, только сквозь прорези в железных ставнях пробивался слабый свет от фонарей с улицы, но внутри никого не было.

Значит, Пьер ушел, а она и не слышала. Маруся решила на всякий случай еще заглянуть и в туалет, расположенный рядом, вход в который был прямо из спальни Пьера. Она открыла дверь, но там было темно, хоть глаз выколи, потому что окно, ведущее в туалет, выходило на задний двор, где не было фонарей. Маруся уже хотела было уйти, но вдруг заметила блеск чего-то живого, и внезапно, как вспышка, перед ней промелькнули очертания темной фигуры, сидевшей на унитазах и молча смотревшей на нее. Ее охватил ужас, и она, отступив, пробормотала: «Пьер, тебя к телефону...» – а в ответ раздался ужасный нечеловеческий рев. Пьер, совершенно голый, вскочил с унитаза и завопил:

– Оставь меня в покое, черт тебя подери! Имею я право побыть один или нет!

Маруся выскочила из его комнаты, ее ноги подгибались, она тихо спустилась вниз и сказала в трубку дрожащим голосом:

– Извините, он сейчас не может подойти.

В трубке ей почему-то тоже испуганным голосом ответили:

– Ну хорошо, хорошо, передайте ему, что я звонил...

Это был православный священник, у которого Пьер работал, а когда тот уезжал на лето, Пьер жил в его доме, чтобы никто туда не залез. Этот священник говорил обычно елеинь-масляным голосом. У него был огромный дом в пригороде Парижа, трехэтажный, и маленький садик за домом, а в доме -- большие запасы еды. Священник этот приехал из Сербии и устроился здесь уже давно, Пьер работал у него, и тот платил ему очень мало, но зато кормил. Еще там жила сербская девушка, которая смотрела за детьми священника. Девушка была худая, темноволосая, узнав, что Маруся русская, она прониклась к ней большой симпатией и даже как-то сказала:

– Стоит сербу узнать, что ты русский, как он тебя уже любит.

Маруся уже давно чувствовала, что скоро ей придется подыскивать себе новое жилье, и это чувство постепенно перерастало в уверенность. На всякий случай она позвонила Трофимовой. Та сперва говорила с ней очень любезно, но потом стала рассказывать о своих проблемах: что у нее сломалась машина, и она не сможет ее встретить, а сама она не найдет ее дом в Версале, куда она теперь переехала, так как это очень сложно, однако, адрес свой она Марусе почему-то не говорила, и та поняла, что Трофимова просто не хочет, чтобы она у нее жила. У Трофимовой были свои проблемы – Боря ее бросил, и она была всерьез озабочена поисками мужика и устройством личной жизни. Маруся позвонила еще и Наде, которая вскоре собиралась в Москву, поэтому она надеялась, что та разрешит ей пока пожить в ее квартире. Но та отказала сразу и решительно, и Маруся еще раз убедилась, что в Париже не так просто найти жилье.

Кокошина не меньше двух раз в год навещала в Париж. У нее был счет в Люксембургском банке, поэтому она могла себе это позволить. Обычно она селилась в небольшом отеле недалеко от Мулен Руж, в котором останавливались преимущественно русские туристы, приезжавшие в Париж на автобусе на два-три дня. Вечерами они собирались в кафе внизу и громко обсуждали свои впечатления, причем в основном все сводилось к словам: «Ой, мы тут такое видели! Та-а-а-кое!» Кокошина старалась экономить и не тратить денег, правда, на помойки она не ходила, зато собирала чеки в универсамах, чтобы потом получить компенсацию на таможне за якобы вывезенный в Россию товар. Ее сын Егор, белесый косой мальчик шести лет, которого она брала с собой в Париж, собирал чеки вместе с ней. Как-то, разглядывая надписи на чеках, она обнаружила, что, среди прочего, вывезла в Россию пластмассовое корыто, и это ее очень развеселило. А компенсацию она получала и очень этим гордилась, так как считала, что деловой человек должен уметь извлекать выгоду из всего. Кокошина намеревалась поднять свое издательство на новый уровень, создать нечто солидное и в то же время интеллектуальное, чтобы достичь мировой славы, к тому же, она сама писала стихи и не теряла надежды когда-нибудь их опубликовать. Она уже давно могла бы их опубликовать в своем издательстве, но Надя сказала ей, что так не делают: кто же публикует свои собственные стихи в своем издательстве! Помимо Надиного мужа и Селина, она собиралась издать полное собрание сочинений Пушкина и Данте в кожаных переплетах с золотым тиснением, а также сборник статей о любви какого-то журналиста, которые она прочитала в детстве в «Литературной газете» и которые произвели на нее тогда большое впечатление. Правда, фамилию журналиста она забыла, поэтому постоянно спрашивала об этом у всех, включая Надю и Марусю, но те ничем не смогли ей помочь. Кокошина познакомилась в Париже с довольно зажиточным французом, который работал в адвокатуре. У него был свой дом, и он сразу же пригласил Кокошину к себе жить. Она согласилась, потому что это позволяло ей сократить расходы на проживание в гостинице. К тому же, она всегда хотела оформить брак с каким-нибудь французом, ведь тогда ей уже не нужно будет добывать приглашения в Париж, и она сможет путешествовать сама, как ей захочется. Но стоило ей только заикнуться о браке, как француз тут же стал крайне подозрительным, начал на нее орать, обвиняя ее в том, что она претендует на его деньги и дом: «Все иностранцы лживы и корыстны, так и смотрят, как бы что-нибудь урвать у честных французских граждан». Кокошина потом, рассказывая об этом Марусе, уверяла ее, что он сумасшедший.

– У меня самой денег полно, — говорила она, криво улыбаясь, — зачем мне нужны его деньги?

В результате она снова переехала в отель, потому что лучше уж платить, чем жить в таких условиях.

Маруся как раз находилась в гостях у Нади, когда к ней пришла в гости Кокошина. Она сразу же сбросила туфли и уселась с ногами на диван. Надя потом с возмущением рассказывала об этом всем своим знакомым: почему это она садится с ногами на ее диван!

Адвокат, который привез Кокошину на машине, ждал внизу и несколько раз, пока они беседовали, прибежал к ним, входил в квартиру и ревниво все осматривал, заглядывал даже под диван, наклоняясь как бы для того, чтобы завязать шнурок на ботинке. Он прибежал раза три, и все три раза у него развязывался шнурок. Наверное, ему казалось, что она тут тайно встречается с мужиком. Кокошина была худенькая крашеная блондинка с перманентом, в черном обтягивающем трикотажном топе, лосинах и белом пиджаке, на шее у нее висели крупные пластмассовые бусы, выкрашенные золотой краской.

В Париже Кокошина пользовалась общественным транспортом, а в России, по свидетельству Нади, у нее был личный шофер, который бегал ей за продуктами, подавал документы на визу, таскал книги, то есть делал практически все, что хозяйка ему поручала, не выражая при этом ни малейшего недовольствия. Когда Кокошина летела на самолете в Москву, он отправлялся вслед за ней на машине и старался поспеть вовремя. Чтобы поменять колеса на машине, ему приходилось выпрашивать у нее деньги неделю; в конце концов, она давала ему деньги, но всегда немного меньше, чем нужно. В результате, она постоянно рисковала жизнью, так как ездила на старых изношенных шинах, и он ничего сделать не мог. В Москве шоферу снимали квартиру с тараканами, а Кокошина селилась в гостинице «Интурист». По этому поводу Кокошина игриво говорила Наде:

– Не могу же я жить с собственным шофером, – и хихикала.

Кокошиной вообще хотелось поселиться где-нибудь в центре, там, где кипит культурная жизнь. Правда покидать Витебск совсем она не спешила, так как в Белоруссии тогда еще существовали государственные расценки на жилье, и тому, кто имел определенные связи – а такие связи у Кокошиной были – удавалось за бесценок скупать квартиры у старушек-пенсионерок, а потом уже перепродавать их по рыночной цене. В России такое не представлялось возможным – цены на жилье там уже повсюду были рыночные и вполне официально. В Витебске ее фирма занимала двухэтажный старинный особняк, а сама она купила себе сразу две квартиры, которые были прекрасно отделаны. Квартиру в Москве она тоже хотела купить, но никак не могла найти дешевую, все подворачивались очень дорогие, а ей хотелось подешевле. Но она надеялась, что и здесь ей удастся найти какого-нибудь алкоголика, и тот продаст ей квартиру по дешевке.

В конце концов, она все же купила себе квартиру в Москве и сразу перестала платить зарплату сотрудникам своего издательства, заявив, что до тех пор, пока не закончится ремонт в ее квартире, денег никто не получит. В штате у нее числилось не меньше пятнадцати человек, а на должность генерального директора она наняла бывшего генерального директора издательства ЦК ВЛКСМ Белоруссии. Кокошина, которая до 1987 года была мелким комсомольским работником, с нескрываемым удовольствием представляла своим знакомым этого крупного мужчину номенклатурного вида, а тот ей при этом подобострастно кланялся и улыбался.

Издавая серьезную литературу, Кокошина не только намеревалась обогатить культуру, но не теряла надежды обогатиться сама: прежде всего, конечно, духовно, хотя она и

понимала, что это очень рискованное предприятие. Однако главным для нее было, безусловно, обретение новых связей и знакомство с выдающимися «интересными людьми», которых в ее родном Витебске было очень и очень мало. Конечно, люди там жили замечательные, хорошие, добрые, но совсем не интересные.

Однажды в Москве Кокошина приехала в гости к переводчику Берроуза, которого Надин муж рекомендовал ей как «классика современной литературы». Была зима, и переводчик сидел прямо на полу, посредине комнаты, на полу стояла жаровня, и в ней горел костер. Кокошина потом с восторгом рассказывала об этом Марусе: как это колоритно, и как она сама уселась прямо на пол в своем белоснежном костюме и сидела с этим грязным длинноволосым переводчиком у костра, а тот говорил ей, что дружит с самим Берроузом и обещал авторские права бесплатно – мол, он с ним поговорит – поэтому Кокошина сразу дала ему авансом тысячу долларов. Правда, потом, где-то через полгода, она случайно заглянула в рукопись перевода и пришла в ужас: это был не роман, а какое-то «пособие по приему наркотиков». Она в ярости поехала к переводчику. Дверь ей открыли два бледных заросших волосами молодых человека, похожих друг на друга, как братья-близнецы, а из глубины квартиры доносился едкий запах гари.

– Позовите пожалуйста, Шварцмана, – обратилась к ним Кокошина, назвав фамилию переводчика.

– А он не может, тетенька, его кумарит, – ответил ей один из молодых людей, уставившись на нее вытаращенными бесцветными глазами, другой же в этот момент вдруг наклонился и начал блевать прямо ей под ноги. Больше она туда не приходила. После этого авторитет Надино мужа в глазах Кокошиной несколько поколебался. Теперь она усомнилась и в значимости Селина: а действительно ли он такой великий и знаменитый писатель, как ей говорят. И на Марусю при встрече она стала смотреть с большим недоверием. Хотя тяга к знакомству с интересными людьми у нее все равно окончательно не исчезла.

На одном из великосветских приемов она познакомилась еще с одним таким «интересным человеком». На самом деле, это был самый обычный вернисаж, какие каждый день проходят в многочисленных парижских галереях, на который привела Кокошину Надя. «Принц Гарри» – так звали человека, с которым познакомилась там Кокошина, не оставлявшая надежды выйти замуж за иностранца. Гарри приехал в Париж из Латинской Америки. По слухам, он был очень богат, а «принцем» его все звали потому, что в его жилах, как он утверждал, текла кровь арабских шейхов. И действительно, внешне он сильно смахивал на араба: смуглый, худой, небольшого роста, с черными как смоль волосами. И одевался он тоже во все черное: на нем были черные холщовые штаны и черная рубашка-косоворотка. Необычный вид и аристократические манеры сразу же сразили Кокошину наповал.

Принц Гарри, действительно, оказался со странностями, и вкусы у него были не совсем обычные. Например, он любил смерть и все, что с ней связано. У него при себе были даже

специальные духи во флаконе в виде хрустального гробика, и запах у них был очень специфический – он утверждал, что именно так пахнет из могилы. Поэтому он и одевался во все черное. Говорили также, что в его доме на Майорке, где он подолгу жил, повсюду висели гравюры с изображениями трупов, среди которых были и работы известных художников, поскольку он их коллекционировал. Вообще, принц Гарри был очень загадочным существом. Кокошина, конечно, не могла равняться с ним в интеллекте, но у нее были деньги, а это значило, что они смогут вести вместе дела. Принц же уверял, что деньги его совсем не интересуют и ему на них глубоко плевать. Несколько раз он, как бы вскользь, обмолвился, что мечтает посетить Россию, так как хотел бы найти там себе жену, простую русскую девушку, небогатую – ведь деньги его не интересуют, у него их хватает, главное, чтобы его любили по-настоящему, а не из-за денег. В Париже русских было не так много, поэтому Кокошина поняла, что у нее есть шанс, хотя в глубине души она не верила, что принца не интересуют ее сбережения и решила быть с ним предельно внимательной и осторожной. По этой причине в тот день, когда наконец Гарри должен был прийти к ней в гостиницу у Мулен Руж, она, на всякий случай, тщательно спрятала все свои деньги и драгоценности, а большую же часть наличности даже отнесла накануне в банк. Гарри пришел вечером, как они и договаривались, с огромным букетом сиреневых и розовых астр и небольшим бумажным свертком, который почему-то сразу не открыл, а просто положил на стол. Кокошина очень плохо знала английский, а по-французски не говорила совсем, поэтому они с Гарри изъяснялись преимущественно жестами. Гарри почти сразу же разделся до трусов, а потом жестом предложил раздеться Кокошиной, и она покорно это сделала. Ей, правда, было как-то не по себе, но раз уж она его пригласила, нужно было идти до конца. Гарри знаками показал ей, чтобы она легла на живот, и когда она это сделала, взял со стола свертки и развернул его. Там оказались десять церковных свечей, из которых он выбрал одну, вставил ее Кокошиной в задний проход и зажег. Кокошина молча лежала в полном оцепенении и не сопротивлялась. Кажется, Гарри остался доволен. Он сидел в трусах и смотрел, как горит свеча, но при этом ровным счетом ничего не делал, даже не пытался заниматься онанизмом. По мере того, как догорала свеча, его лицо приобретало все более странное выражение, и глаза наполнялись слезами. Свечка горела быстро, и Кокошина уже чувствовала жжение на ягодицах, но терпела, хотя ей и хотелось вытащить огарок из задницы. Принц же, казалось, был в полном восторге. Наконец, свечка потухла сама собой, добравшись до зада. Кокошина получила сильный ожог и даже не могла сидеть месяц после этого. Принц же неторопливо встал, оделся, собрал оставшиеся свечки и, исполненный чувства собственного достоинства, удалился, даже не попрощавшись с Кокошиной. С этого момента, встречаясь с Кокошиной, он даже не здоровался с ней, делая вид, что просто не замечает ее. Ее это ужасно злило. Принц же, как выяснилось, не замечал не только одну Кокошину: женщины его интересовали еще меньше, чем деньги. Отныне он всегда появлялся на людях только в сопровождении мальчиков, иногда совсем юных.

Кокошину, между тем, продолжали одолевать сомнения по поводу Селина: издавать или не издавать? Хотя она все-таки взяла у Маруси рукопись перевода и даже заплатила ей аванс, правда, читать рукопись она все равно не стала. Позже, когда Маруся уже вернулась в Петербург и даже забыла думать об этом, ей вдруг позвонили из Витебска. В трубке она услышала голос какой-то женщины с характерным провинциальным акцентом. Это была корректор издательства «Кока-Даун», Авдотья Павловна, которая по телефону стала уточнять упоминавшиеся в переводе названия парижских улиц. В заключение Авдотья Павловна не выдержала и с тяжелым вздохом поделилась с Марусей впечатлениями от романа:

– Мы тут с девочками удивлялись, главный герой-то за все время даже ни разу не помылся! В общем, больной человек!

«Больным» Авдотья Павловна считала и Надиного мужа. Видимо, Авдотья Павловна и «девочки» были единственными, кто в издательстве «Кока-Даун» прочитали Марусин перевод.

Больше о Кокошиной Маруся ничего не слышала, если не считать небольшой заметки в «Книжном обозрении», на которую Маруся случайно натолкнулась пару лет спустя, перелистывая эту газету в «Академкниге» на Литейном. Рядом с заметкой были помещены фотографии Кокошиной в черном трико и в шляпе. На одной фотографии она присела на корточки, обхватив рукой себя за плечи, причем с первого взгляда создавалось впечатление, что она закинула ногу за голову, а на второй – она стояла, нагнувшись вперед и улыбаясь соблазнительной улыбкой, однако при этом почему-то удивительно походила на обезьяну. А на третьей фотографии вообще было трудно что-нибудь разобрать, но казалось, что она сидит на унитазе и тужится. В заметке говорилось, что известная издательница Кокошина выпустила календарь с собственными фотографиями, выступив в новом для себя качестве фотомодели и поэтессы одновременно, поскольку на последней странице календаря были помещены ее стихи. Заметка называлась «Из издателей в фотомодели и обратно». О любви Кокошиной к поэзии Маруся знала, но о ее желании стать фотомodelью никогда даже не подозревала, да и внешность у нее для этого была не самая подходящая: маленькая, тщедушная, невзрачная. Разве что тот факт, что все многочисленные жены Надиного мужа были фотомodelями, оказал роковое воздействие на ее психику. Марусе всегда казалось, что она была в него тайно влюблена.

На площади Этуаль ветер раскачивает огромный плакат с сидящей на ступеньках женщиной, к ней прижались двое детей, а внизу крупными буквами написано: "Где мы будем сегодня спать?" Этот плакат повесили в защиту бездомных, чтобы он напоминал всем благополучным людям о том, что среди бездомных есть даже дети, и им нужно помочь. Но все равно все думают только о себе. Если тебе хорошо, то что тебе до остальных.

Когда будет плохо, тогда и будем думать. А когда дождь, ветер, холод и дети плачут, и тебе некуда идти – что же тогда делать, куда деваться? Тогда ты попадаешь во власть улицы, любая случайность может стать роковой, и ты в ужасе шарахаешься от каждой тени, от каждого силуэта, но деваться некуда... некуда, и так везде: в России, во Франции или в Америке — всюду одно и то же, никакого спасения нет в этом мире, везде один холодный скрежещущий ужас, от которого некуда скрыться.

Когда Маруся в ужасе просыпалась ночью в самый глухой, самый страшный час перед рассветом или среди ночи и вдруг слышала, как наверху кто-то двигает мебель или скачет, или что-то кидает на пол, ей вдруг становилось страшно, что сверху кто-то сошел с ума или кого-то убивают, и некуда было деваться от этого ужаса...

Если уж суждено потерять рассудок, ну что ж, так было бы даже лучше, ведь иначе просто невозможно, невозможно жить в этой реальности, в этой проклятой жизни, которую невозможно вынести. Это не в человеческих силах! И так хотелось бы куда-то убежать, но бежать некуда – везде холодная темная бездна, она и в глазах людей, идущих тебе навстречу, и в небе, и в лужах, и в реках, и в морях, всюду, всюду, и эта бездна затягивает, затягивает тебя, и некуда уйти. Лучше всего работать без остановки – это заставляет забыть, отвлекает, наваливается тяжелый дурман, ты обо всем забываешь, и кажется, что снова проглядывает что-то давно забытое теплое, тихое, и ты как будто в укрытии... Но нет, все равно все время возвращается ужас, возвращается, как припадок удушья, и напрасно ты хватаешь разинутым ртом воздух, все равно надолго не хватит.

Постепенно, вместе с физической болью, мучавшей ее при воспоминании некоторых деталей прошлого, улетучилась куда-то и радость жизни, которую она раньше так остро ощущала и которая вызывала в ней тоже почти физическое опьянение и упоение. Маруся почти постоянно теперь думала о смерти, потому что это единственное, что могло дать ей облегчение.

Она наконец-то подошла к последней границе в своих мыслях о самоубийстве и словно встала, покачнувшись, на самом краю крыши. Сверху все было прекрасно видно и казалось таким крошечным и трогательным. Стоя здесь, на самом краю крыши, она ощущала, как ее сердце переполняет чистая радость. И она отчетливо почувствовала, как прекрасен будет этот полет, который нужно будет постараться продлить, чтобы растянуть это последнее мгновение перед тем, как будет ужасный удар! И потом – все, пустота. Или же она просто раскачает ту пожарную лестницу, что шла вверх по задней выходящей во двор стене огромного здания, и эта лестница, сперва нехотя, а потом все быстрее и стремительнее, с грохотом и скрежетом повалится набок, и все дома вокруг закружатся и завертятся, и у нее мелькнет мысль, что она может каким-то чудом попасть на чей-то балкон, где случайно выставлена мягкая перина, или на газон, усеянный мягкими и чистыми оранжевыми листьями, и эта жизнь еще продлится. Она будет длиться еще долго, почти вечность, и в ней снова будет все, что так очаровывало ее раньше, что так мешало ей сосредоточиться и рассеивало внимание, тянуло полностью, до самозабвения раствориться в плавном потоке

жизни, расслабиться, дать себя убаюкать и плыть, плыть в этом нежном потоке, пока снова не натолкнешься на что-то грубое, твердое... Внезапно она радостно поняла, что не ощущает больше давивших ее со всех сторон раньше границ, условностей, рефлексий – все это ушло, и перед ней раскрылось прекрасное бескрайнее небо, которое она искала всю жизнь и вот только сейчас нашла. Но это ощущение счастья продлилось всего несколько секунд.

Пьера больше всего заботил вопрос отправления естественных надобностей, в частности, его ужасно раздражала невозможность помочиться, когда ему этого хотелось. Из-за этого он ненавидел Париж, потому что там не было бесплатных туалетов и приходилось выкладывать целых два франка, а если человек хотел помыть руки, то и все два пятьдесят. Он давно уже лелеял мечту изобрести такой аппаратик, или мешочек, чтобы можно было его приделать к штанам, захотел помочиться – пожалуйста, и не надо искать укромное местечко. Однажды, еще в психбольнице, он видел женщину, которая стояла и мочилась стоя, как мужчина: сильная желтая струя с шумом лилась на траву – эта картина навсегда запечатлелась в его памяти. Конечно, эта женщина мечтала стать мужчиной, ведь все девочки в детстве мечтают иметь маленькие члены. Когда-то давно он прочитал у Фрейда, что все мужчины, которые курят толстые сигары, жуткие фаллократы, хотя те, которые курят сигареты, вообще-то тоже, но не в такой степени. Пьер и сам раньше курил, но, когда бродил по Франции, был вынужден бросить, так как у него просто не было денег. Сперва он собирал окурки, потом курил самокрутки, а потом просто перестал, чем очень гордился.

А вообще Пьер предпочитал мочиться на природе, потому что испытывал при этом особое удовольствие и чувствовал, как становится растением, птичкой, цветком или лошадью. Часто, гуляя в деревне, он вдыхал в себя разнообразные запахи, и они навевали на него разнообразные воспоминания, но еще чаще они вызывали у него отвращение. Из-за них он даже не любил ездить в парижском метро. "Воняет!" — говорил он, оказавшись там, и показывал Марусе коричневые потеки на стенах. По его мнению, это были следы лившегося сверху дерьма. Возможно, так оно и было на самом деле. Многие в метро действительно справляли нужду прямо в переходах, поэтому там часто можно было встретить какого-нибудь здоровенного негра, который стоял, отвернувшись к стене, и мочился. Пьер обходил подобных типов с опаской: он знал, что все негры — жуткие фаллократы и, к тому же, бандиты.

Пьер никогда не мылся, не чистил зубы и уши – он считал, что таким образом можно достичь просветления и полностью слиться с природой. Вдобавок ко всему, мытье щеткой, например, причиняло человеку излишние страдания, а Пьер не хотел страдать и боялся боли. Зубы он не чистил по той же причине, кроме того, он не хотел тратить деньги на зубную пасту, которую выдумали капиталисты, чтобы на этом нажиться! Все русские — мазохисты и любят страдать, поэтому они и изобрели бани, где хлещут себя вениками. А

французы – как в ответ на это сказал ему Дима – чтобы отбить запах грязи и говна, изобрели духи. При дворе Людовика XVI, между прочим, вообще не было туалетов, и все гадили прямо под лестницы и в парках под деревьями. Про это Дима узнал на экскурсии в Версале. Пьер, слушая Диму, хихикал, однако про себя затаил обиду: почему это французы грязные!

Мать Пьера часами проводила за выдавливанием прыщей – сперва она давила прыщи на лице, потом – на руках, плечах и ногах – ей это нравилось. Пьер считал ее мазохисткой. Его отец был садист, а мать – мазохистка, ну а Пьер унаследовал черты обоих родителей. Жена, конечно, от него сбежала, но это не страшно, он найдет себе новую. К тому же, она не была атеисткой, а он мечтал жениться на атеистке, чтобы обратить ее в православие.

Пьер был с ней так нежен, иногда он чувствовал себя почти счастливым в постели с ней. Он воображал себя маленьким ребеночком, который сосет грудь своей мамочки. Хотя его мамочка иногда и заставляла его страдать: она запирала его в подвал и всячески издевалась над ним, поэтому он был несчастен всю свою юность и детство тоже. Что из того, что на фотографии они с братом смеются? Все равно внутри он страдал, а это все лицемерие и комедия! Мамочка била его по ручкам, запирала в подвал, к тому же, она не только сама его никогда не целовала, она еще не разрешала ему целовать девочек и спать с ними, а ему этого так хотелось! Он стиснул зубы – Галя застонала, как будто в экстазе, а он стиснул сильнее и почувствовал, как теплая жидкость струится ему в рот. Пусть она в ужасе визжит, пытается вырваться, это она просто пытается забрать грудку у своего мальчика! Вставная челюсть выскочила у него изо рта и так и осталась висеть, зацепившись желтыми клыками за сосок, наполовину откушенный и кровоточащий... Галя убежала.

Пьер любил современность, потому что это настоящий миг, а жить нужно только настоящим мигом. Как-то он нашел картину, нарисованную еще его отцом: Христос на пути в Эммаус. Фигура Христа на ней была совершенно белая, а ученики – очень грустные. Пьер пририсовал вдали маленький вертолет, а в углу, рядом с Христом – автомат Калашникова и маленьких человечков с дубинками: ОМОН. Он терпеть не мог историю, потому что она никому не нужна и только все запутывает.

Маруся проснулась среди ночи и долго лежала и не могла заснуть: вокруг все было пронизано холодным леденящим ужасом. Впереди было тоже что-то страшное, что невозможно понять. Господь защитит ее, но как пережить то, что сейчас? Она чувствовала себя слабой, как червяк. Темнота – во всем доме, на улице – чьи-то рыдания и причитания на непонятном языке...

В этом доме с холодными каменными полами пусто, камин давно потух, обычно его топят пачками из-под сигарет и коробками из-под сыра, а на ночь окно заставляют створками дверей; всю ночь под окнами с дикой скоростью проносятся машины, и можно долго ждать рассвета, который все не приходит, и, чтобы не сойти с ума, внушать себе, что уже светает... Вот, вроде, стало светлее на улице, но это просто фонарь напротив, потом его

гасят, значит, настало самое темное и глухое время ночи, после трех часов... Со станции неподалеку доносятся мелодичные звуки, как будто кто-то звонит в колокольчик, сердце бьется в груди, как молот, и кажется, что если не выйдешь сейчас на улицу, то умрешь, даже если еще не готов... Что ж, тем хуже для тебя! Но и на улице некуда идти: все заасфальтировано, ровные узкие мостовые поднимаются, спускаются, вверх, вниз, об этом лучше совсем не думать, а в каждом доме – женщины в розовых халатах и мужчины с красными лицами, которые смотрят на тебя с безразличным любопытством...

Так же и в метро. Страшно, когда поезд отходит от перрона и кажется, что ты не дождешься остановки, а просто умрешь от разрыва сердца, особенно страшно, когда слышится мелодичное пиликанье, предвещающее закрытие дверей, в этот момент всегда хочется выскочить, расталкивая пассажиров – иногда Маруся так и делала, и все смотрели на нее с недовольством, особенно в час пик, когда вагоны переполнены и никому нет дела до твоих страхов и маний.

«Сегодня мне сделали обрезание. По медицинским показаниям. Мой член стал весь красный и очень болел, поэтому я пожаловался брату. Брат осмотрел его и сказал, что это из-за того, что там скопилась грязь, поэтому лучше сделать обрезание. Мы пошли к врачу, и он обрезал мне этот кончик и помазал его мазью. Я теперь чувствую себя гораздо лучше. Иногда я трогаю его, и мне приятно...».

«Вчера я говорил с Аннушкой. Я работаю у них в доме, делаю ставни... О как я люблю ее! Она дала мне двести франков, но мне бы хотелось, чтобы она сама отдалась мне. Зачем мне эти проклятые деньги, из-за них столько слез льется на земле?!..»

«Любовь - это не совокупление, я вообще не нахожу смысла в совокуплении, как таковом. Любовь - это наслаждение всего тела, наслаждение кожи, а не освобождение от семени. От семени я и сам могу освободиться, когда хочу...».

«Летом во Франции повсюду грязь, арабы, духота, буржуазные рекламы. Зимой здесь идет мокрый снег. А в России зимой мороз и светит солнце. Русские женщины в разноцветных платках смотрят на тебя и приветливо улыбаются. Но я поеду в Россию летом, когда женщины там ходят в легких коротких платьях. Автобусы в Петербурге всегда переполнены, поэтому, садясь в них, можно в любой момент вступать с женщинами в эпидермический диалог. Я помирюсь с Галей и поеду в Россию. Россия – это рай!»

«Сегодня я хотел поцеловать Джоанну. Но она мне сказала: «Послушай, Пьер, ты мог бы быть моим отцом». Нет, это не мой тип! Это не женский архетип!»

«Я написал Ивонне, чтобы она спала со мной, а Ивонна рассказала Гале. Галя стала меня ревновать. Ну что ж, место в постели пока остается вакантным. Мне стоит лишь позвонить Маше или Вале, чтобы заполнить пробел. Можно найти русскую менее страшную, да и помоложе».

«Ивонна вышла из психбольницы еще более чокнутой, чем была раньше. Матушка Тереза открывает ставни своего дома. Это к дождю. Такой же серый дождь видела бедная Ивонна за решетками своей лечебницы! О, какое страдание!..».

«Вообще-то Галя, особенно то, что она говорит, тоже не мой тип. Я понял это сегодня. Может, я ошибался с самого начала, и это не мой тип вообще?».

Здесь в Париже Маруся фактически уже попала в разряд клошаров, бомжей и проституток, милостыню она, правда, еще не просила, но уже была близка к этому, ей оставалось лишь перешагнуть через последнюю черту. А впрочем, почему бы и нет? Что в этом страшного? Чем это хуже каждодневного заискивания на работе перед начальником, когда ты трясешься, чтобы он тебя не выгнал и готова делать по его знаку все, что угодно?

Когда Маруся ехала в парижском метро, то часто встречала людей, которые просили милостыню, среди которых попадались и здоровые крепкие мужики в джинсах с красными рожками в кожаных куртках, и, что самое удивительное, им тоже давали деньги. Одну профессиональную попрошайку Маруся уже знала в лицо. Она работала на Сен-Лазаре в пригородных поездах. Это была худая баба, коротко стриженная, с очень жалостливым выражением лица, одетая в кожаные брюки и кожаную куртку. Ее сопровождала такая же тощая облезлая собака, с точно таким же выражением на морде. Ходила эта баба как-то боком, склонив голову к правому плечу и опустив левое. Зайдя в электричку перед отправлением, она обычно произносила:

– Пожалуйста медам, месье, один или два франка, или билет в ресторан, или билетик в метро. Я голодна, у меня нет ни жилья, ни работы.

Ей давали всегда, ни разу она не вышла из вагона без подаяния. Маруся встречала ее все время на одном и том же месте, и три года назад, когда она приезжала в Париж, и два года назад, и год назад - она работала все там же. Часто попрошайничали совсем маленькие дети. Однажды в метро Маруся видела, как мальчик лет двенадцати в сопровождении мальчика лет трех, не больше, просил, и ему давали довольно много, причем младший мальчик хватал за руку каждого, кто давал деньги, и пытался поцеловать. У него на голове был повязан грязный платок, из носа текли сопли, а глаза были красные и заплавленные гноем.

Про попрошаек Пьер обычно говорил, что они копят себе на машину или на дом, потому что с питанием во Франции нет проблем, так как есть специальные столовые для бедных, где кормят бесплатно, да и при церквях тоже часто раздают паек. Маруся знала, что Дима тоже просил милостыню, в том числе и в метро. Однажды она стояла с ним на станции метро Пон де Леваллуа, и вдруг Дима спрыгнул вниз и стал лихорадочно рыться среди валявшегося на путях мусора, собирая там окурки, при этом старался выбрать те, что пожирнее. Послышался шум подходящего поезда, Маруся испугалась, но он, проворно

подтянувшись на руках, выпрыгнул обратно и с гордостью продемонстрировал Марусе целую кучу окурков, аккуратно упакованных им в небольшой бумажный кулечек.

Денис тоже просил милостыню и даже неплохо этим зарабатывал. Тогда как раз в Париже ударил сильный мороз, какого здесь не было лет десять, а по телевидению выступил известный проповедник аббат Пьер и призвал всех граждан помочь бездомным, которые замерзают на улицах без крова. Воспользовавшись этим, Денис взял огромный рюкзак, кусок картона, написал на нем: «Я русский поэт. Мне нечего есть. Помогите!» – повесил его на грудь и отправился к одному из выездов из города, к Порт де Монтрей. Потом Маруся встретила его в Центре Помпиду: на нем была новая куртка на меху, красивая круглая шапочка с вышитыми на ней золотом слонами, а за плечами рюкзак.

– Я живу в гостинице, – с гордостью сообщил ей Денис, – и вот, видишь, шапочку себе купил, самую модную!

– А на какие шиши? – поинтересовалась Маруся, так как знала, что у Дениса недавно не было денег даже на еду.

– А вот! – Денис снял с плеч рюкзак, открыл его, и Маруся увидела, что он до половины заполнен десятифранковыми монетами, – набрал! Подают очень хорошо, по телевидению у них постоянно идут сообщения о том, сколько бездомных замерзло, а они же, ты понимаешь, народ гуманный! Я даже недавно открыл себе счет в банке.

Денис громко торжествующе заржал, и на его смех обернулись посетители библиотеки, мирно сидевшие за столами. Маруся в душе ему позавидовала – ведь она бы тоже могла переехать в гостиницу!

Правда, это продолжалось недолго. Уже через неделю Денис вновь объявился в доме у Пьера, такой же грязный и голодный, и даже шапочки со слонами у него уже не было – он продал ее, чтобы купить себе сигарет.

Маруся иногда ходила в РСХД, и там рылась в больших картонных коробках, куда складывалась одежда, пожертвованная богатыми прихожанами для бедных. Там можно было найти одеяния самых диковинных расцветок и фасонов, причем в РСХД попадали только остатки, потому что одежда проходила через несколько ступеней отбора: сперва та, что только что принесли прихожане, рассортировывалась, и люди, работавшие на сортировке, отбирали себе все, что получше, потом еще несколько раз ее перекладывали с места на место, при этом опять происходил отбор, и только потом то, что осталось, отвозили в церковь. Приблизительно раз в три месяца из Парижа в Москву или в Петербург отправляли огромные грузовики с одеждой и медикаментами, которые также предназначались для бедных русских, но вряд ли доходили по назначению, потому что в Петербурге уже образовалось много магазинчиков, где торговали на вес подержанной одеждой. И Маруся подозревала, что это была та самая одежда.

Пьер тоже часто ходил в РСХД, и ему там позволяли выбирать из самых лучших коробок. Он находил себе там брюки, рубашки и даже ботинки, хотя ботинки найти было трудно, особенно хорошие. В основном он выбирал брюки и рубашки зеленого цвета – это был его

любимый цвет. Однажды он нашел себе очень хорошие сапожки, кожаные, коричневого цвета, на толстой подошве, по форме напоминающие ортопедическую обувь, и потом все время ходил в них. Носок он не носил, а посыпал себе ноги тальком, потому что считал, что так гораздо лучше и полезнее для здоровья.

Когда Пьера спрашивали, что значит «его тип», он не мог ничего объяснить, только вытаращивал черные глаза и взволнованно бегал по комнате: «Ну, это значит, что она меня привлекает. Ты понимаешь, что такое привлекает?». То есть это включало в себя нечто непонятное и таинственное, хотя Ивонна считала, что, на самом деле, все гораздо проще: когда Пьеру хотелось посношаться, это был его тип, а когда его посылали подальше, то сразу становился не его.

Жена прожила с ним недолго, всего два с половиной месяца, и однажды ночью убежала от него на улицу в халате и домашних тапочках, прихватив с собой дочку. Она оставила все свои вещи в доме у Пьера и наотрез отказалась вернуться туда хоть на одну минуту. Где-то еще неделю она жила у знакомых, а потом уехала обратно в Ленинград. У себя дома она долго не могла опомниться, и соседи отпаивали ее валерьянкой; она не могла спать без снотворного и даже через два года не любила вспоминать об этом периоде своей жизни.

Потом ей пришло письмо от Пьера, где было написано, что она холодная, как мрамор в метро, и темная, как туннель. Он продолжал писать ей и даже иногда передавал через знакомых конверты, вкладывая туда по пять долларов, но она все равно ему не отвечала.

У Пьера в рюкзаке хранились пожелтевшие, засохшие и почти истлевшие трусы одной из женщин, которая у него жила. Наверное, он получил эти трусы на память в подарок, а может, незаметно стащил, и потом забыл об их существовании. Трусы лежали в кармане рюкзака, где спрессовались и превратились в своеобразный археологический экспонат.

В назначенный час Маруся уже стояла у дверей дома, который ей называл Франсуа, биограф Селина, с которым она накануне договорилась по телефону о встрече. Она посмотрела на часы: оставалось еще пятнадцать минут. И Маруся решила немного прогуляться, дошла до конца улицы, завернула за угол и по параллельной улице снова вернулась туда же.

Собравшись с духом, она нажала кнопку переговорного устройства. Тут же раздался писк, и послышался голос:

– Открывайте дверь! Второй этаж!

Маруся зашла в подворотню. Справа за стеклянной дверью сидела крошечная старушка-консьержка, которая ей кивнула. Маруся открыла дверь и стала подниматься по лестнице, застеленной ковром. На стене у двери второго этажа висела абстрактная картина: множество черных точек, запятых и неровных линий на белом фоне. Она позвонила в дверь, которая сразу же открылась. На пороге стоял уже немолодой, но бодрый, подтянутый, невысокого роста мужчина с бритой наголо головой, в круглых очках и синей

шелковой рубашке. В одной руке он держал какие-то бумаги. Вид у него был такой, будто он никогда с Марусей по телефону не разговаривал и очень удивлен ее неожиданным появлением. Маруся хотела уже снова рассказать, что она из Петербурга и дальше про Селина, но он нетерпеливо замахал рукой:

– Да, помню, помню! – и пригласил Марусю следовать за ним. Она вошла в кабинет, где стоял заваленный бумагами стол, за который Франсуа тут же уселся, жестом указав Марусе на старинное кресло. Она снова стала говорить про Селина, про «Смерть в кредит», как впервые услышала имя этого писателя, почему решила переводить... Франсуа задумчиво ее слушал, время от времени его лицо передергивал нервный тик. На полу у камина Маруся заметила бронзовую копию посмертной маски Селина. Тут же лежал слепок с его руки, а рядом – задвинутая в угол – стояла картина «Ленин и ходоки»: Ильич сидел в кресле, закрытом белым чехлом, и внимательно слушал двух косматых крестьян в полушубках, которые наперебой что-то ему рассказывали, оживленно жестикулируя.

– Хотите чего-нибудь выпить? – неожиданно предложил Франсуа. Маруся кивнула, хотя предпочла бы поесть.

– Джин, виски, тоник, сок, вода? – скороговоркой произнес Франсуа.

– Виски, – сказала Маруся. Франсуа удовлетворенно кивнул и вышел. Вскоре он вернулся, держа в руках несколько бутылок и высокий стакан со льдом. Он поставил бутылки перед Марусей и положил перед ней на стол шоколадку в красной обертке с золотыми буквами; на бутылке тоже была красная наклейка и золотая надпись. Маруся взяла бутылку и стала наливать себе виски в стакан, при этом она не рассчитала наклон, и стакан, который, судя по размеру, был, скорее, предназначен для лимонада, стремительно наполнился до краев.

– Что же делать, – подумала Маруся, – отливать назад в бутылку неудобно. Придется выпить.

К тому же Франсуа наблюдал за ее действиями. Маруся взяла стакан и поднесла к губам виски; сперва она отпила совсем немного, но сразу же почувствовала, как у нее закружилась голова – она с утра ничего не ела. Подавив рвотный позыв, она положила в рот квадратик шоколада и залпом выпила все оставшееся содержимое стакана: по ее телу разлилось приятное ощущение покоя и защищенности. Франсуа сразу же показался ей милым и добрым, и она почему-то подумала, что теперь вся ее жизнь совершенно изменится. Франсуа же, который некоторое время с нескрываемым любопытством смотрел на Марусю, теперь куда-то исчез и долго не появлялся. Перед этим, правда, он принес ей альбомы с фотографиями Селина и Люсетт, которых она раньше никогда не видела, и Маруся сидела и медленно их листала. Идти ей куда-то не хотелось, а возвращаться в дом к Пьеру тем более. Время шло, и она уже перестала понимать, как давно здесь сидит. Наконец он опять появился в дверях и сообщил:

– Ну хорошо, в следующее воскресенье мы поедem к Люсетт. Я уже звонил ей и рассказал про вас. Она будет нас ждать. Только не забудьте захватить с собой купальник и полотенце. Перед визитом к Люсетт мы отправимся в бассейн – я так всегда делаю.

Маруся снова кивнула.

– Тогда до встречи. Я вас не провожаю, у меня завтра очень много работы и вставать придется рано.

Маруся взглянула на часы: стрелка приближалась к одиннадцати. На улице накрапывал дождь и, вероятно, было довольно холодно, но Маруся холода не чувствовала – виски все еще действовало.

Когда в воскресенье Маруся снова пришла к Франсуа, он первым делом достал из бара огромную бутылку виски и водрузил ее на стол перед ней.

– Не стесняйтесь, – сказал он ей – я знаю, что все русские пьют.

Маруся молча улыбнулась и налила себе немного виски.

– Пейте, пейте. А если не хватит, то по дороге мы заедем в магазин, и я куплю вам водки, – утешил ее Франсуа.

В это мгновение раздался звонок, и через минуту в комнату стремительно вошел стройный юноша с черными волосами и ярко-голубыми глазами. Франсуа представил их друг другу: юношу звали Филипп, он был серб, хотя родился во Франции. Филипп несколько раз бодро прошелся по комнате, казалось, он просто не способен долго оставаться на одном месте, и ему надо было все время двигаться, прыгать, ходить. Он заговорил с Марусей на каком-то непонятном наречии, где знакомые русские слова терялись среди малопонятных и непонятных совсем. Заметив, что Маруся его не понимает, он опять перешел на французский. Вскоре вышел и сам Франсуа, который захлопал в ладоши и скороговоркой произнес:

– Алле! Алле! Пошли!

Они спустились вниз, Франсуа вывел из гаража свой «БМВ» – пыльный, с давно не мытыми стеклами – на заднем сиденье валялась его смятая черная адвокатская мантия и квадратная черная же шапочка, он был действующим адвокатом, а Селином занимался из любви к искусству. Франсуа небрежно бросил сверху сумку со своими купальными принадлежностями, Филипп уселся на переднем сиденье рядом с Франсуа, Маруся – сзади, и они поехали.

Бассейн находился в Аквабульваре – так называлось это место. Хотя, скорее, это было целое скопление бассейнов, которые располагались там повсюду: и на улице, и в помещении под стеклянной крышей, – кроме них там еще были сауны, джакузи с горячей и холодной водой, тобогганы, по которым можно было съезжать вниз, вышки, пальмы и спортивный зал, куда сразу же и направились Франсуа и Филипп, оставив Марусю в одиночестве. Издали Маруся наблюдала за Филиппом: окруженный толпой юношей, среди которых были представители всех национальностей и рас – французы, негры, арабы, китайцы – он что-то быстро и энергично им рассказывал, потом вдруг разбежался и,

сделав сальто через голову, плюхнулся прямо в маленький бассейн с холодной водой. Франсуа тоже с разбегу вниз головой прыгнул туда вслед за ним, подняв тучу брызг. После чего он стал изображать в воде разные фигуры: плавал, подняв вверх сложенные вместе ноги, рядом с которыми на воде виднелось его лицо с вытаращенными глазами, потом сделал «поплавок», выставив на всеобщее обозрение свой круглый, обтянутый красными плавками зад, а в заключение изобразил кита, пустив изо рта вверх мощную струю воды. Вынырнув, он задумчиво сказал Марусе:

– Как бы я хотел стать моллюском! Не иметь рук, не иметь ног, совсем не иметь зубов, быть только мягким, скользким и податливым телом!

Пока Маруся думала, что ему на это ответить, он нырнул и исчез под водой.

После Аквабульвара к ним в машину подсел еще один юноша, темноволосый и смуглый, похожий на араба, к тому же на голове у него был берет, сильно напоминавший те, что носят солдаты армии Саддама Хуссейна. Юношу звали Адель. Некоторое время они ехали молча, и тут Адель вдруг обратился к Марусе:

– А это правда, что вы внучка Ленина?

Маруся вдруг почувствовала, что на столь неожиданный вопрос было бы глупо ответить отрицательно, и, хотя сам Ленин никогда не врал, она, не задумываясь, сказала, что да, конечно, она внучка Ленина. И отчасти она говорила правду, потому что в детстве она была октябренок, про которых всем было известно, что они – «внучата Ильича».

– А вы видели своего дедушку? – не отставал от нее Адель.

– Нет, – с чистой совестью ответила Маруся, – он умер задолго до того, как я родилась.

Казалось, Адель был полностью удовлетворен. А Франсуа, который тем временем продолжал вести машину, весело захихикал. Видимо, это он натрепал своим приятелям про Марусю всякую ерунду и теперь был доволен, что его импровизация удалась.

– Ты поедешь к Люсетт? – спросил Франсуа у Филиппа.

– Нет, что я там забыл? – ответил ему Филипп. – Но подбрось нас до метро, нам еще нужно кое-куда зайти!

Франсуа свернул налево. И тут Филипп внезапно сказал ему:

– Франсуа, ты воняешь! – и залился беззаботным смехом.

– Это правда, от него воняет! – повторил Филипп, обернувшись к Аделю, и они оба стали распевать на разные голоса:

– Вонючка, вонючка, вонючка! – и так пели, пока не доехали до ближайшей станции метро, где Франсуа их наконец высадил. Дальше Маруся уже поехала вдвоем с Франсуа, и он даже включил какую-то классическую музыку, видимо, чтобы заполнить образовавшуюся после ухода Филиппа и его приятеля пустоту. Маруся ужасно волновалась, что вот она сейчас увидит Люсетт, о которой столько читала, и ей все еще не верилось, что это на самом деле произойдет. Дорога шла вверх, они подъехали к высокому бетонному забору, Франсуа обогнул его и въехал во двор, где стоял трехэтажный дом, а перед ним виднелась круглая клумба. «Наверное, летом здесь много цветов и зелени», – подумала

Маруся. Франсуа отправился вперед, Маруся – за ним. Двери были открыты, в прихожей их встретила огромная лохматая собака, которая виляла своим твердым, как палка, хвостом, и старательно облизывала Марусе руки, Франсуа же брезгливо отталкивал собаку; потом он толкнул низенькие дверки и вошел в просторный салон, где за столом сидели человек пять или шесть гостей. У окна стояла большая клетка, в которой прыгал разноцветный попугай; точно такой же попугай, но покрупнее, более яркой окраски и тряпичный, неподвижно сидел на жердочке под самым потолком. К Марусе сразу же подошла маленькая худенькая старушка, одетая в белые брюки и белую блузку – ее седые волосы были зачесаны назад, обнажая высокий лоб – она протянула Марусе изуродованную артритом руку и пригласила ее за стол.

– Это Люсетт, – сказал Марусе Франсуа, – Люсетт, вы что, с ума сошли? – сварливо продолжил он, – Ведь я же просил вас не покупать пирожные, я говорил, что сам куплю. И куда теперь вы будете девать столько пирожных?

– Ничего Франсуа, не сердитесь, – миролюбиво произнесла Люсетт, – Сегодня у нас много гостей.

В комнате горел камин и распространял легкий запах каких-то лекарственных трав.

Вокруг стола бродили сразу три собаки: немецкая овчарка, черный кокер-спаниель и ризеншнауцер, тот, что встретил их у дверей. Франсуа недовольно поморщился: собаки лезли мордами в тарелки и так сильно виляли мощными хвостами, что поднимали ветер. Франсуа потребовал у Люсетт выгнать собак в прихожую, однако она уже уселась на свою кушетку у стола, положив ноги на большую подушку, поэтому выгонять собак пришлось даме в джинсах и полосатой футболке, сидевшей рядом с ней, которую все называли Сержиной. Потом Франсуа рассказал Марусе, что он нашел Сержину где-то в Нормандии, привез в Париж и помог там устроиться, а также, что Сержина – внебрачная дочь Селина. Возможно, он опять шутил, хотя внешне Сержина чем-то действительно была похожа на Селина.

У камина недалеко от Маруси сидел седой старик – бывший балетный танцор, сейчас он преподавал в балетной школе – и он стал рассказывать Марусе, как Селин, который был врачом, в свое время производил гинекологический осмотр его жене, когда они еще были совсем молодыми... Позже Франсуа пожаловался Марусе, что он всегда говорит всем одно и то же, и это иногда ужасно раздражает. Пожилая дама рядом с Марусей принялась расспрашивать ее, где она живет. Маруся предпочла не вдаваться в подробности. Дама была очень мила и даже сказала Марусе:

– Вы такая красивая и так хорошо одеты!

Марусе это было приятно, потому что она вовсе не была уверена в том, что действительно хорошо выглядит в тряпках, которые позаимствовала в комнате у Ивонны, пока та находилась в дурдоме. Этот комплимент поднял ей настроение.

За столом все говорили наперебой: каждый о своем, и все эти голоса сливались в один неясный гул. Маруся иногда теряла нить разговора, иногда, как под воздействием

вспышки, ей все становилось сразу ясно. Франсуа с довольным видом разлегся на кожаном диване прямо в черных лакированных ботинках, один его ботинок упирался прямо в бок Сержины, но Франсуа не обращал на это никакого внимания. Люсетт тем временем положила себе в тарелку несколько листиков салата и потихоньку их ела, запивая водой из широкого квадратного стакана. Она рассказывала Марусе о том, как Селин ездил в Ленинград в 1936 году, где у него была переводчица Натали, которая его спасла: предупредила о том, что его собираются арестовать, – а ведь Селин хотел еще поехать в Москву, получить в «Госиздате» гонорар за русское издание «Путешествия на край ночи»...

Ужин продолжался до поздней ночи. Потом Маруся помогала Люсетт относить тарелки на кухню, ставила их в посудомоечную машину, а объедки складывала в миски собакам, которые тут же ворвались в кухню и стали жадно жрать, виляя хвостами и выхватывая куски у Маруси прямо из рук. Вообще, у Люсетт не курили, но на кухне это разрешалось. Это сказал Марусе лысоватый мужик в кожаных брюках и кожаной куртке, который вышел на кухню вслед за ней. Он предложил ей «Кэмел», и они вместе закурили. Он сказал, что он актер, живет на барже недалеко от Бастилии и даже пригласил Марусю к себе в гости, предложил ей там пожить, если у нее вдруг возникнут трудности с жильем, так как сам он на два дня уезжает в командировку. Маруся поблагодарила его. Трудности с жильем у нее были, но что могли решить два дня?

На обратном пути Франсуа специально повез ее через Булонский лес и показал место, где обычно собираются проститутки. Правда, на сей раз было довольно холодно, и там никого не оказалось – только у фонаря стоял одинокий юноша в красном шарфике.

– Такой юноша стоит всего пятьсот франков, – прокомментировал Франсуа, – это совсем недорого...

– А как Селин относился к Достоевскому? – спросила его Маруся, которая уже давно вынашивала этот вопрос, отчасти потому, что ее действительно давно это интересовало, отчасти для того, чтобы завести умную беседу и подтвердить свой интерес к Селину.

– Не знаю, – беззаботно ответил ей Франсуа. И по тому, как он это сказал, было видно, что ему, на самом деле, глубоко безразлично, как Селин относился к Достоевскому. Его машина плавно катилась вдоль празднично поблескивавшей огнями плавучих ресторанов Сены, в салоне машины звучала негромкая классическая музыка, у него были молодые веселые друзья, интересная работа, роскошная квартира в центре Парижа, и он не хотел забивать себе голову всякой чепухой. От этой легкости и плавного беззаботного скольжения вдаль в голове у сидевшей рядом с Франсуа Маруси на мгновение вдруг все как будто помутилось. Она вдруг перестала понимать, почему, узнав телефон Франсуа уже давно, в самом начале своего пребывания в Париже, она долгие месяцы не решалась ему позвонить, а все это время подвергала себя бесконечным унижениям, ходила по помойкам, голодала, жила с сумасшедшим, рыдала, билась в истерику, постоянно не находила себе места, целые дни напролет проводила в Центре Помпиду, сидела там, тупо уставившись на улицу, зарывалась по ночам под одеяло, стараясь таким образом укрыться от холода и

внезапно охвативших ее приступов ужаса... И вот теперь у нее даже никто не спросил про книгу, когда она выйдет и есть ли она вообще, а ведь никакого перевода могло вообще не существовать в природе, она все это могла спокойно выдумать, а значит, на ее месте могла быть любая другая. Но это, казалось, в окружении Люсетт никого особо не волновало, никто этого не замечал, все об этом почти сразу забыли. Франсуа довез ее до самого дома в Буа-Коломб, и они договорились созвониться на будущей неделе – он хотел повести ее в Оперу, где у него была своя постоянная ложа, на американский балет. Туда же должна была пойти и Люсетт.

Несколько дней спустя Маруся снова встретила Ивонну у Пьера. Та зашла на минуту в сопровождении прыщавого молодого человека с бесцветными глазами, стриженного ежиком, узнать, нет ли на ее имя корреспонденции. Пьера в это время не было дома, и Ивонна, посидев пятнадцать минут, поспешно ушла. Она сообщила Марусе, что нашла пожилого господина, у которого есть деньги и который хочет помочь ей стать актрисой, кроме того у него большая квартира, так что она вполне довольна. А пока она снимается для рекламы носок, и ее фотографии можно даже увидеть в магазинах «Монопри», то есть не ее лицо, конечно, а ее ноги, точнее, ступни в разноцветных носках. Она постригла свои волосы, и Маруся обратила внимание, что при такой стрижке ее длинный нос еще сильнее выступает вперед, а глаза кажутся совсем маленькими. Вскоре вернулся Пьер и очень расстроился, что Ивонна не дождалась его, но потом он выпил красного вина и забыл все неприятности. Пьер жил "настоящим мигом" и все время повторял: «Э-э-э... настоящий миг... живи настоящим мигом...».

Маруся знала, что он писал Ивонне записки с предложением спать вместе, а когда по ночам криками призывал ее к себе в постель, Ивонна дрожала от страха у себя в комнате, ведь у нее на дверях не было даже задвижки. Потом, правда, приехала Галя, и Ивонна была очень рада этому. Вплоть до той ночи, когда Пьер бегал за Галей с ножом, и та выскочила вместе со своей дочкой на улицу в одном халате и тапочках, Ивонна жила относительно спокойно. А в ту ночь Пьер попытался проникнуть к Гале в комнату через окно, которое она забыла закрыть, и до смерти напугал ее. Она бросилась наверх к Ивонне, но Пьер перерезал телефонный провод, вырубил в доме свет и погнался с ножом за Галей. Ивонна тогда тоже очень испугалась, правда она все равно считала Галю идиоткой, потому что та упускает такой хороший случай остаться во Франции. Но Галя хотя бы не попала в сумасшедший дом, и Маруся считала, что это уже неплохо.

Пьер повесил у себя над кроватью огромный портрет Гали, у которой почему-то были под носом желтые усы, глаза небесно-голубого цвета, треугольный подбородок и завиток волос на лбу. Правда, потом, когда Галя отказалась с ним спать, Маруся на этом месте обнаружила вырезанную из журнала фотографию незнакомой девушки, но Пьер все равно не раз говорил ей, что она похожа на Галю, так же прекрасна. Однажды она увидела, что все лицо у этой девушки на фотографии было истыкано ножом, и на месте глаз и рта зияют

рванные дыры. Маруся очень испугалась. А когда вечером Пьер молча вошел в кухню и прошел мимо нее, толкнув ее при этом плечом, ее охватил настоящий ужас. Тогда она и решила поскорее уехать из этого дома. Она больше не сомневалась, что ей не стоит дожидаться, пока ее постигнет участь Гали и Ивонны, и надо срочно куда-нибудь переехать, хотя бы на время, до отъезда в Петербург. Она уже твердо наметила вернуться домой.

В надежде, что ей удастся найти себе пристанище хотя бы на несколько дней, пока у Пьера не пройдет обострение, Маруся пришла к Кате в ее квартиру на Бобур и застала у нее Мишеля Керра. Там же находился и новый Катин приятель Володя, которого Маруся уже до этого встречала в Петербурге. На этот раз он был в тельняшке и с бритой наголо головой. Вскоре они даже собирались с Катей пожениться, но перед этим Катя хотела как следует проверить свои чувства. Ведь у нее уже было много мужей, и ни один ее по-настоящему не устраивал. Правда, Володя один раз напился и сломал Кате ребро, но зато в другой раз она тоже выпила и избила его ногами: он валялся на полу, а она лупила его каблуками по физиономии, а потом сдала в милицию. Через пару дней его выпустили, они помирились и поехали вместе в Париж.

Все пили красное вино и, судя по количеству пустых бутылок, уже были основательно пьяны. Кроме Мишеля Керра, Володи и Кати за столом сидел еще какой-то тщедушный мужичок, которого Маруся сразу не заметила. Остатки волос на его голове были старательно зачесаны назад, лицо было цвета пергамента, а глаза красные и без ресниц.

– Это Шкапов, - вполголоса сообщали Катя Марусе, – Светлая голова, умница. Недавно закончил трактат о метафизике раны.

Услышав столь неожиданную для себя характеристику, Шкапов сразу же встрепенулся и с увлечением начал рассказывать о философской категории познания в теологии. Категория же страдания, по его словам, появилась в христианской философии только в Средние века, до этого же, по его мнению, христианская мысль такой категории не знала. Катя внимательно слушала его и поддакивала:

– Да... да... да...

Володя же периодически прерывал свое молчание негромкими замечаниями:

– Ну... я слушаю, слушаю..., – многозначительно окидывая при этом Шкапова с ног до головы загадочным взглядом и подливая себе вино из большой пузатой бутылки. Шкапов все говорил и говорил, и Мишель, которому в отсутствии Агаши никто ничего не переводил, явно заскучал, да и Катя уже не так часто вставляла свои «да», как в начале его речи... Наконец он сделал небольшую паузу, намереваясь отпить немного вина из своего бокала, и уже поднес было бокал к своему рту, как тут раздался громкий раскатистый голос Володи, от которого все невольно вздрогнули:

– Слушай, а ты случаем не еврей? – Шкапов поперхнулся, от возмущения его глаза вылезли из орбит, он начал сбивчиво бормотать в свое оправдание:

– Да ты что?.. Да я... да мой дед был казак..., – а Катя молча с наслаждением за ними наблюдала. В конце концов, Шкапов вскочил из-за стола и, попрощавшись с Катей, убежал, хлопнув дверью. А Мишель после его ухода заметно оживился. Теперь говорить начал он. Его волосы растрепались, обнажив намечающуюся лысину, очки поблескивали на потном носу. Катя опять начала привычно повторять:

– Да... да... да...

Володя продолжал мрачно молчать и пить. Вдруг он как будто что-то вспомнил, нагнулся, достал из-под стола большую брезентовую сумку и извлек оттуда пластмассовую баночку, на которой были нарисованы пчелы.

– Вот, – сказал он, протягивая баночку Мишелю, – этот мед я привез из монастыря. Его собирали сами монахи, это целебный мед. Купите, одна баночка стоит всего сто франков.

Мишель не говорил по-русски и молча уставился на баночку, а потом, решив, что его угощают, взял ее, открыл и ложкой стал ковырять мед.

– Да-а-а, – протянула Катя, – уж тут-то можно и не торговать. Если хочешь, я сама тебе компенсирую потом эти сто франков!

– Нет, – упрямо сказал Володя, – Мне не нужны сто франков, для меня важен принцип. Эти деньги пойдут монахам.

– Ну уж! – ядовито протянула Катя, – Монахам твои сто франков не нужны.

Мишель в недоумении смотрел на них. Катя это заметила и, обращаясь к Мишелю, пояснила:

– Владимир недавно был в монастыре, привез оттуда этот замечательный мед, угощайтесь! Он обладает целебной силой!

Мишель поблагодарил, взял чайную ложку и с жадностью стал этот мед поедать. Володя некоторое время смотрел на него с возрастающим раздражением, а потом резко встал из-за стола и отправился курить на кухню. Тут Катя вдруг заметила, что за столом сидит еще и Маруся.

– Ты знаешь, дорогая, мы с Володей скоро уезжаем, хотим пожить в монастыре, очиститься от всей этой скверны, а в нашей квартире будет жить Мишель. Ему в Париже жить негде, поэтому он обычно живет у нас.

Маруся вспомнила, что и в Петербурге Мишель тоже жил в квартире у Кати. Он тогда приехал из Парижа со своим учеником – тощим прыщавым Антуаном. Катя пригласила Марусю на лекцию Мишеля, которую он читал в «Гуманитарном университете», располагавшимся в обветшалом здании бывшего ПТУ на Петроградской стороне, неподалеку от Карповки. Лекция была посвящена русской иконописи и творчеству Кандинского. Тесная аудитория была до отказа забита студентами Университета и бородатыми деятелями андеграунда, среди которых Маруся увидела много знакомых лиц. Лекцию переводила Агаша.

Профессор Керр, со студенческих лет занимавшийся русской иконой и даже написавший на эту тему диссертацию, позднее случайно познакомился с вдовой

Кандинского, которая попросила его помочь ей разобрать архивы покойного мужа. Так в его руках оказался богатейший материал, однако и старые наработки ему было жаль бросить. Но, к счастью, профессор недолго мучился дилеммой, чем же ему теперь заниматься: Кандинским или иконами. Вскоре, к своей неожиданной радости, он обнаружил, что в картинах Кандинского есть очень много общего с иконописью, и чем внимательнее он вглядывался в картины Кандинского, тем больше общих черт с иконами он в них находил.

Лекция сопровождалась показом диапозитивов, профессор демонстрировал картины Кандинского, находя в них многочисленные параллели с изображениями Троицы, Христа и Богородицы:

– Вот, посмотрите, взгляните внимательно, – восклицал он, тыча указкой в расплывчатые цветные пятна, – здесь ясно виден лик Христа, а здесь – Богородица с младенцем.

Аудитория тупо и недоуменно молчала. Правда, свое недопонимание большинство из присутствующих было склонно относить на счет не совсем внятного и маловразумительного перевода Агаши, которая очень старательно выговаривала вслух каждое слово из заранее заготовленного на бумажке текста. Маруся заметила, что последнее обстоятельство, действительно, отрицательно сказалось на синхронности перевода, потому что несколько раз, когда из беспредметного пятна, по мысли профессора, на присутствующих должен был взирать Христос, Агаша называла то Иуду, то Богородицу, и наоборот. Впрочем, как раз это вряд ли могло служить истинной причиной некоторого недопонимания слушателями мысли профессора, так как почти никто из сидящих в зале французского не знал. В целом же, несмотря на все эти маленькие неувязки, лекция прошла успешно, и в заключение благодарные слушатели даже устроили профессору небольшую овацию. Маруся слышала от Кати, что Мишель Керр – богатый аристократ и владелец старинного замка в Нормандии, поэтому ее несколько смущал потрепанный пиджак профессора и отсутствие у него двух передних зубов. Спрашивать об этом Катю было глупо, но Катя, как бы почувствовав причину марусиногo недоумения, сама сразу ей все объяснила:

– Вот видишь, он совершенно безразличен к одежде – так во Франции одеваются большинство интеллектуалов.

По этой причине, когда Маруся позднее узнала, что Галя всерьез долгое время принимала Пьера за профессора, она не особенно удивилась. Ведь Галя хорошо знала Катю и испытывала к ней глубочайшее уважение за то, что та так много в своей жизни пострадала за женщин и за Бога.

На следующее утро после лекции у Маруси зазвонил телефон. Это была Агаша, которая очень озабоченным и серьезным голосом пригласила Марусю срочно зайти к Кате, где сейчас она тоже жила вместе с Мишелем, исполняя при нем обязанности секретаря-

переводчика. Мишель хотел предложить Марусе перевести на русский одну из своих статей.

– Он очень много слышал о тебе и хорошо заплатит.

Маруся совершенно не выспалась, и была в плохом настроении, но у них с Костей, как всегда, не было денег, поэтому отказываться от перевода, да еще и за валюту, было нельзя. Маруся разбудила Костю, и, чтобы не было скучно, пригласила его пойти вместе. Костя с радостью согласился – он всегда был рад видеть Катю, беседами с которой очень дорожил.

Однако, когда Маруся с Костей позвонили в Катину дверь, им никто не открыл, хотя им казалось, что за дверью они слышат какое-то шуршание. Они позвонили еще раз, потом еще, ответа не последовало, они уже собрались уходить, но в это время шуршание за дверью стало более явственным, дверь распахнулась, и на пороге возникла Агаша, облаченная в цветастый шелковый халат. Агаша напряженно и не слишком дружелюбно смотрела то на Марусю, то на Костю, как будто видела их впервые в жизни.

– Ах! – наконец воскликнула она, как будто что-то вспомнив, – Вы к Мишелю! К сожалению, его сейчас нет дома. Он только что ушел. В десять тридцать у него встреча с академиком Лихачевым в Эрмитаже.

По губам у Агаши скользнула издевательская улыбка, которую она даже не сочла нужным скрыть. Марусю охватила ужасная злоба: Агаша разбудила ее в 9 утра, позвала в гости, а теперь делает вид, будто они ни о чем не договаривались.

– Ну что ж, – сказала она, – Мы подождем, – и, увлекая за собой в нерешительности застывшего в дверях Костю, она стремительно прошла мимо Агаши на кухню, где у плиты стоял Антуан и готовил себе яичницу. Маруся села на табурет и стала расспрашивать Антуана: давно ли он знает Селина, какие замки у его родителей, и еще про замки в Провансе у отца Антуана, который был потомственным маркизом, и про то, что сам Антуан был анархистом и большим поклонником Селина... Маруся все это слышала от Агаши, поэтому в ее вопросах не было никакого подвоха – просто ей хотелось подольше потянуть время, дабы досадить Агаше. Однако реакция на эти вопросы у Антуана оказалась более чем странной. Он в изумлении таращил на Марусю глаза: похоже было, что имя Селина он слышит впервые в жизни, при упоминании же о замках он громко закашлял, стал растерянно озираться по сторонам и покраснел, как рак... Все это время из коридора доносилось шушуканье и чьи-то шаги. Кати дома не было, поэтому Костя сидел молча у окна на табуретке и явно скучал. Тут на пороге снова появилась Агаша и очень вежливым вкрадчивым голосом сообщила, что она ошиблась, и на самом деле профессор ни на какую встречу не пошел, а просто сейчас отдыхает в своей комнате, так как вчера работал допоздна. Но он обязательно поговорит с Марусей и с Костей, только не сейчас, не сразу, а через полчаса, после того как еще чуточку поспит. На губах у Агаши опять появилась злорадная улыбка, выражавшая глубокое наслаждение, которое она получала от столь явного несовпадения предыдущей информации с последующей. На сей раз первым встал уже Костя, он взял Марусю за руку, и они молча вышли на улицу.

Через несколько дней Катя как бы невзначай сообщила Косте по телефону, что тогда на кухне Маруся все утро приставала к ученику профессора Антуану. Костя сказал, что это полный вздор, так как он сам там в это время находился.

– Ну ты же не знаешь французского, поэтому ничего и не понял, а она говорила ему: «Мальчик, я прижмусь к тебе голым телом». Агаша все слышала!

Костя опять сказал, что это чушь, тогда Катя вдруг голосом, полным злорадства, добавила:

– Мне и сам Антуан жаловался, а он врать не станет, маркиз все-таки! – И повесила трубку.

Костя ничего не понял, он даже не стал рассказывать об этом Марусе (она узнала об этом только потом, много позже), так как очень дорожил своими отношениями с Катей и не хотел их рвать, кроме того, Маруся и так была крайне озлоблена на Агашу.

Костя вообще долгое время ни с кем не общался, поэтому отношения с Катей значили для него очень много. Конечно, то, что она была диссиденткой и феминисткой, не очень нравилось Косте и казалось ему вульгарным. Но она изучала богословие в Париже, любила Ницше, переписывалась с Хайдеггером, и могла по достоинству оценить все тонкости Костиных мыслей. Вообще, для Кости это было не просто знакомство, а настоящая Встреча, о возможности которой писал еще Новалис. Костя не сомневался, что Катя тоже дорожит Встречей с ним, ничуть не меньше, чем Цветаева дорожила своей Встречей с Рильке.

Но все-таки, что значили эти слова про маркиза? Какая-то слабая тень сомнения закралась в его душу, ведь Катя была совсем не дура, чтобы нести подобную чушь. И потом, если даже к маркизу действительно приставала женщина, то было ли благородно с его стороны жаловаться на это? Где здесь логика? А может быть, в словах Кати содержался какой-то скрытый намек, как в свое время Пушкину намекали на Дантеса, ведь Костя тоже был поэтом, и Катя всегда восхищалась его стихами.

Впрочем, первое время Костя сразу же отмахивался от этой мысли, которая казалась ему абсолютно нелепой и бессмысленной. Однако как раз в это время, он срочно должен был закончить одну свою статью и очень плохо выспался. Они как раз тогда собирались с Марусей в Париж. Потом у Кости началась от переутомления бессонница.

И теперь, когда он часами лежал на постели, безуспешно пытаясь заснуть, ему с каждым разом становилось все труднее избавляться от мыслей о двух французских аристократах, к тому времени уже давно благополучно вернувшихся к себе на родину. Ведь, в конце концов, Катя в чем-то была права, русские, действительно за последние семьдесят лет утратили свое былое благородство...

Марусе было неприятно вспоминать обо всем этом, к тому же она поняла, что жить ей у Кати нельзя, поэтому она встала из-за стола и попрощалась. Мишель Керр, который успел съесть уже три четверти содержимого банки, облизываясь, встал и пожал ей руку своей липкой рукой, после чего снова продолжил свое занятие.

Выйдя от Кати на темную улицу, Маруся стала лихорадочно перебирать в мозгу все места, куда она могла теперь пойти, чтобы не ночевать на улице. Было уже около двенадцати ночи, метро через полчаса закрывалось, поэтому решение нужно было принимать немедленно. К Трофимовой ей идти не хотелось, оставалась только мастерская русских художников на улице Жюльетт Додю неподалеку от станции метро «Сталинград». Она находилась на территории старого завода: у завода была стеклянная крыша, отчего зимой там стоял ужасный холод, а летом невыносимая жара.

Маруся однажды была в этой мастерской несколько месяцев назад на открытии выставки художника из Москвы. Больше всего ей тогда запомнилось выступление джаз-квартета, одна из участниц которого сидела прямо на полу в обнимку с контрабасом, и еще проводившаяся под музыку этого квартета демонстрация мод. Среди моделей она сразу же узнала Свету, хотя сделать это было не так просто – Света была в блестящем, как у конькобежца, комбинезоне, в прозрачном целлофановом плаще и каком-то невероятном космическом шлеме с рожками.

Маруся пришла на выставку вместе с Костей, который только что выписался из психушки. Заметив Свету, Костя поспешно отвернулся и отошел в другой конец зала, а Маруся подошла и поздоровалась с ней. Света к тому времени уже исчезла из дома Пьера – видимо, нашла себе для жилья другое место, поспокойнее.

Тогда же Маруся познакомилась с писателем Лямзиным и его женой Лилей. Лямзина с женой пригласил на выставку художник Рогов, которого все называли «Рог» – он и водил их по выставке. Лямзин прошел за ним сначала в одну, затем в другую сторону вдоль стены, на которой были развешены картины, и все повторял: «Блеск! Круто! Просто блеск!».

Вообще, это была модная галерея, ее даже пару раз посетил министр культуры Франции. Тем не менее, помещение у художников собирались забрать – неожиданно объявившийся владелец завода предъявил художникам иск, обвинив их в незаконном захвате здания. Но в Париже подобные «незаконно захваченные» здания, которые все называли «сквотами», были обычным делом. Поэтому художники нашли себе хорошего адвоката, защищавшего в свое время Азнавура, и покидать здание не спешили. Тяжба длилась уже два года.

Маруся спустилась в метро и поехала в сквот, но в середине пути поезд вдруг остановился, и мелодичный голос объявил, что линия сломана, и поезда дальше не идут. Маруся вышла на улицу и пошла пешком. Она шла вдоль линии метро, которая проходила сверху, это был далеко не самый комфортабельный район Парижа, было поздно, и навстречу ей то и дело попадались какие-то подозрительные личности: кто просил у нее сигарету, кто два франка, а какой-то араб долго шел рядом, звеня ключами и что-то бормоча.

Огромные железные ворота мастерской оказались заперты. Она постучала, ей открыл полицейский. Оказалось, что впустить в мастерскую ее могли только на час. По настоянию

владельца завода никакие посторонние личности больше не имели права оставаться там на ночь – лафа закончилась, адвокат Азнавура художникам не помог, суд принял решение не в их пользу. А значит, Марусе придется провести ночь под дождем в подворотне или на вокзале... От одной мысли об этом у нее в голове все помутилось, как это нередко с ней случалось, и она утратила способность воспринимать все факты в их совокупности, а только слышала какие-то отрывочные выхваченные из контекста фразы и видела чьи-то незнакомые лица, хотя общий смысл происходящего от нее ускользал. Огромный полицейский с красной рожей и другой, тщедушный с мясистым носом и вытаращенными глазами, маячили перед ней, как будто в стеклянном тумане.

Маруся понуро пошла вглубь мастерской. За столом, в центре огромного зала на табуретках, ящиках, чемоданах или просто кучах какого-то хлама сидели не менее десяти человек, некоторых Маруся уже видела раньше или встречала в других местах. На столе стояла бутылка с вином, и, судя по количеству пустых бутылок под столом, застолье продолжалось уже не один час. Но, скорее всего, оно здесь не кончалось никогда, так как в прошлый раз на открытии выставки она застала здесь примерно такую же картину, разве что народу за столом было побольше.

Во главе стола сидел раздетый по пояс и бритый наголо художник по фамилии Буров, которого Маруся уже здесь встречала. Про него рассказывали, что он приехал во Францию на грузовом судне в контейнере с говном, поэтому ему и удалось обмануть бдительных советских пограничников. Буров сразу же предложил Марусе ехать с ним – он был пьян, и собирался уходить – но не успел он закончить, как сидевшая рядом с ним жирная баба с багрово-красным лицом вдруг ужасно заволновалась и завопила, причем сразу на двух языках, русском и французском, так что понять что-либо из ее воплей было довольно сложно. Отчетливо Маруся расслышала только слово «блядь», прозвучавшее несколько раз. Буров, который, было, уже поднялся со своего места, снова сел.

Маруся огляделась по сторонам. Повсюду на стенах просторного заводского зала были развешаны картины, сплошь состоявшие из квадратов, кружочков и треугольников. Картин было так много, что все они не помещались на стенах, а штабелями лежали и стояли повсюду, в том числе и на полу, отчего порой начинало казаться, что это вовсе не картины, а специальные погрузочные поддоны, которые всегда в огромном количестве валяются в заводских цехах.

Справа от Маруси сидел толстый мужик в очках, красной футболке и джинсах, живот у него вываливался поверх пояса, а под футболкой вырисовывалась женская грудь.

– Ну что можно сказать? Я скажу вам прямо, что это полная хуйня, – произнес он, видимо продолжая на время прерванный разговор, при этом его маленький затерявшийся между пухлых щек ротик как-то причудливо вытянулся, – здесь в Париже все давно уже схвачено, все сферы влияния поделены. Мальчик, что у отеля стоит, и тот знает, кому в первую очередь нужно кланяться, кто ему даст больше чаевых. В мире сейчас господствуют три мафии: евреи, гомосексуалисты и правые, то есть люди, которые все делают правильно,

выступают, так сказать, за добро. И с этим нужно считаться, а иначе успеха тебе не видать, будешь в говне всю жизнь. Ну конечно, если ты не гений. Ведь ты не гений, Володя? – обратился он к сидевшему напротив него худощавому brunetu, который в ответ, смущенно, как показалось Марусе, отрицательно покачал головой. – Вот! И я не гений! Конечно, если ты гений, тогда тебе все по хую! – неожиданно завершил свою тираду толстяк, которого все присутствующие за столом почему-то называли «Балда».

– Вот Санта у нас гений! – указал Балда Марусе на тщедушного пожилого художника в очках и с беретиком на голове: жидкие седые волосы его были собраны сзади в крысиный хвостик.

– Вы не знакомы, кстати, это Санта Барбара. Я вам, уважаемая, настоятельно советую обратить на него внимание. Санта – это наша история! Санта, да еще Паша Китов..., – продолжил Балда, на сей раз обращаясь уже непосредственно к Марусе. Санта Барбара закивал Марусе с кривой улыбкой.

Китова Маруся знала. Это был тот самый безумный тип, с желтыми прокуренными усами в белой кепочке, который в прошлый раз на вернисаже схватил Костю за пуговицу и в течение получаса не отпускал. Он вплотную приблизил свое лицо к Костиному и, дыша на него перегаром, делился с ним своими мыслями, из которых Маруся, проходя мимо, уловила только, что «СССР на самом деле – это Свободный Союз Святой России» и что «скоро будет Девятое Мая на все времена». Еще до своего отъезда из Москвы Китов, помимо живописи, занимался фотографией, но денег за свои снимки почему-то ни с кого не брал, в результате кто-то пустил про него слух, что он сотрудничает с КГБ. «Раз не берет денег, значит, ему платят в КГБ!». Эти слухи преследовали его и здесь, во Франции, где он жил в пригороде Парижа Монжероне, в общежитии в тесной комнатке на шесть человек. У него недавно повесилась жена, а сам он почти не выходил из психушки.

Санта был одет в холщовый комбинезон, весь заляпанный краской, беретик на его голове съехал на одно ухо; он радостно закивал Марусе, так как на него, судя по всему, здесь уже давно никто не обращал внимания.

– Сейчас, сейчас, я могу показать вам свои работы! – забормотал он, и, подскочив к столу, стоявшему у стены мастерской, лихорадочно начал перебирать лежавшие на нем холсты, – Вот, вот, и вот!

Все его работы сплошь состояли из брызг и потеков краски, при этом он явно предпочитал черные, серые и коричневые тона.

– А вот еще одна! – Санта носком ботинка указал на лежавший на полу у стола холст, а затем, приподняв этот холст с пола, задумчиво указал Марусе на оставшиеся от холста на полу следы краски. – Я уже не раз замечал, что на полу даже лучше получается. Я обычно работаю широким мазком, краски не жалею, и она протекает сквозь холст на пол. Видите? Только эти работы, к сожалению, нельзя сохранить надолго, они недолговечны...

Балда тем временем с тяжелым вздохом откинулся на спинку стоявшего у стола старого автомобильного сиденья, на котором он сидел, и задумчиво устремил взор куда-то

вдаль. Тут речь зашла о каком-то Коле, который, по словам присутствующих, был замечательным, прекрасным человеком, и гениальным художником. Услышав упоминавшееся слово «гений», Балда опять восторженно вскрикнул:

– Гений?.. Нет, Коля гением не был. Он и зад мог подставить, когда нужно, всегда нужный момент усекал, поэтому и жил неплохо, дай ему Бог здоровьица..., – Балда поднял руку со стаканом вина, как бы желая провозгласить тост, однако сидевший напротив него Володя при этих его словах весь передернулся и даже подскочил на месте:

– Ты что? Ты что? Какого здоровья? – в ужасе и негодовании забормотал он, – Он же умер!

– Помер, говоришь? – задумчиво протянул Балда, уперев одну жирную руку в колено и нагнувшись вперед, отчего у него на боку и на животе образовалось сразу несколько складок, – А и все равно, дай ему Бог здоровья! Ведь там, на том свете, тоже здоровеньким нужно быть, здоровье, оно, брат, всем требуется, а то ведь червячки сразу и сожрут...

Балда снова поднял поставленный было на стол стакан и выпил его содержимое. После последних слов Балды в мастерской установилась полная тишина; все молчали и прихлебывали вино из стаканов. В конце концов, Марусю все же согласились оставить ночевать, но с условием, что завтра утром в восемь часов она уйдет. Маруся легла в углу на кровать, накрытую засаленным одеялом. Окно было выбито, и поэтому, хотя рядом с кроватью ей и поставили электрический обогреватель, все тепло, не успев сконцентрироваться, улетало в дыру. Она тряслась от холода всю ночь, несмотря на то что лежала, укрывшись с головой. Правда, рядом с ней в ногах пристроился черный кот, который мурчал и согревал Марусе ноги.

Утром, не дожидаясь восьми часов, охранник звонко зашагал коваными сапогами по каменному полу, и Маруся поняла, что пора выметаться. Она помнила, с каким трудом вчера вечером удалось уговорить охранника, который все повторял, что у него могут быть неприятности, то есть его могли выгнать с работы, а работа у них была - не бей лежащего, и платили много, вот он и волновался.

Было холодно, мороз, в разбитом окне синело небо. Ей дали банку консервов, что-то вроде ставриды в масле, и она все съела, но не потому что была голодна - утром она обычно никогда не хотела есть - а просто механически, по привычке, как часто делала, не желая обидеть или ленясь отказаться. Потом она пошла по пустым улицам, ежась от холода и покачиваясь от усталости, как всегда после бессонной ночи в голове у нее был туман и перед глазами тоже. В метро она зашла чисто автоматически, подолгу останавливаясь у каждой схемы и тупо их рассматривая.

Ей еще нужно было забрать вещи и где-то обосноваться, может быть, у художников – они обещали ее пристроить. В кармане пальто она нащупала какие-то бумажки. Это были визитные карточки, которые вчера на память оставили ей несколько новых знакомых. Она достала одну из них, на ней крупно латинскими буквами посередине было напечатано:

BALDA, – а внизу, уже более мелким шрифтом: *Serge Stoljaroff, artiste*, – далее указывались его адрес и номер телефона.

Весь день Маруся провела в поисках нового пристанища, но у нее ничего не получалось – никто не хотел пускать ее к себе бесплатно, а денег у нее не было. Она вспомнила, что недавно в церкви познакомилась с немкой, которая уже давно жила в Париже, ее звали Луиза. Она решила ей позвонить, просто так, ни на что не надеясь, и вдруг Луиза сказала, что Маруся может пожить у нее некоторое время бесплатно, пока не вернется из Германии ее старшая дочь.

Маруся сразу же решила забрать вещи от Пьера, и отправилась в Буа-Коломб. Когда она дошла до домика Пьера, было уже довольно поздно, в окнах света не было. Маруся позвонила в звонок, но никто ей не открыл. Она решила подождать – Пьер мог пойти в гости, а остальных жильцов и подавно могло не оказаться дома.

Она села на крыльцо. Шел мелкий дождь и было холодно. Маруся напялила на себя все пальто и куртки, висевшие на вешалке у двери, и так сидела и ждала. Потом она стала ходить кругами по двору; уже наступила ночь, но никто не приходил. Тут ей пришла в голову мысль, что на самом деле они заперлись там и просто ее не пускают. Пьер мог так сделать: он часто закрывал двери и не пускал того, кого не хотел видеть в данный момент. А художники сидели в своей комнате наверху, уютно прижавшись друг к другу. Маруся снова позвонила и тут увидела, как за дверью зажегся свет. Она радостно позвонила снова, но никто не открывал.

Тогда она взяла кусок кирпича и прислонила его к звонку, теперь звонок звонил не переставая. Дверь внезапно отворилась, и перед ней предстал Пьер: без штанов, в короткой ночной рубашке, хвостами свисавший по бокам. В руке он держал, как показалось Марусе, свечу. Своим видом он напомнил ей учебник литературы, где был нарисован Плюшкин, так же весь обмотанный тряпочками, со свечкой в руке и с волосиками, торчавшими на выступающей челюсти. Маруся, ничего не говоря, прошла мимо него в свою комнату и стала собирать вещи. Она сильно устала, но перспектива провести еще одну бессонную ночь в этом доме ее ужасала.

Маруся шла по огромному чужому городу, вокруг блестели навязчивые витрины... «Здесь можно все, ты абсолютно свободна!» – так говорила ей Лиля, жена писателя Лямзина, когда рассказывала про их жизнь в Америке. Маруся бродила по ночным парижским улицам и чувствовала себя свободной, как дикий зверь. Она уже давно была без денег и без работы. Уже несколько месяцев она жила у Луизы. Луиза была замужем за потомком «белых русских», у них было трое взрослых детей, и они жили в большой шестикомнатной

османовской квартире у метро «Европа». На восьмом этаже дома под самой крышей им принадлежала еще небольшая комнатуха, так называемая «комната для прислуги», «шамбр де бонн», где жила их старшая дочь. Но она год назад нашла работу в Германии и уехала, поэтому комната освободилась. Туда Марусю и поселили.

Наступило лето, и днем в комнате стало ужасно душно: крыша нагревалась на солнце, и дышать было нечем. Утром Маруся открывала окно и видела в легкой голубовато-розовой дымке силуэт Эйфелевой башни и купол собора Святого Августина, а снизу, со двора, где находилась музыкальная школа, доносились звуки пианино, скрипок и еще каких-то инструментов, которые поднимаясь вверх, превращались в тонкий высокий звон. Такой звук Маруся уже слышала однажды, когда отдыхала на даче в Горелово у своей подруги. Подруга тогда уехала, и Маруся осталась одна в доме. Однажды утром она пошла искать свою кошку - кошка была серая, пушистая, очень красивая - а все вокруг окутал сильный туман, все буквально тонуло в нем, как в молоке или вате, и вдруг Маруся услышала странный звенящий потусторонний звук, она пошла на этот звук и дошла в тумане до небольшого пруда. И тут она увидела свою кошку - та сидела как совершенно чужая, а чуть поодаль от нее расположились два кота: один белый с огромной головой и второй - рыжий. Маруся не сразу поняла, откуда исходили эти звуки, так как коты оставались абсолютно неподвижными и даже не повернули голову в ее сторону, они казались совершенно спокойными и, в то же время, будто излучали какое-то сильное напряжение. И вот тут Маруся снова услышала этот странный потусторонний звук, глубокий, щемящий, вибрирующий, и догадалась, что звук идет от котов, хотя рты их и были закрыты, поэтому создавалось впечатление, что звук исходит из них помимо их воли. Такие же похожие тона, отзвуки и мелодии слышала Маруся во французской речи, особенно когда говорили быстро. Этот звук, вторгаясь в общее плавное течение жизни, был как бы ее напряженной струной, случайно задетой чьим-то неловким пальцем. И когда Маруся где-то слышала такой звук - а это иногда случалось - то он неизменно вызывал в ней беспокойство и смутную тоску.

Однажды Луиза, которая знала, что Маруся ищет работу, предложила ей ухаживать за пожилой дамой. На улице Мадам в маленькой квартирке, заставленной буфетами и шкафами, жили две старушки: мать и дочь. Матери было девяносто четыре года, а дочери - семьдесят четыре. Дочь звали Лорочка. Она ухаживала за матерью, потому что та уже не могла сама вставать с кровати. Платить Марусе обещали всего семьдесят франков за ночь, но в результате спать ей не удавалось совсем: во-первых, она вообще не могла спать в незнакомой обстановке, а во-вторых, Лорочка постоянно вопила и звала, чтобы Маруся помогала ей сажать старушку на горшок. Вначале Маруся думала, что она днем сможет тоже как-то зарабатывать, но это оказалось невозможно, потому что ведь нужно было когда-то и спать. В узкой, забитой вещами комнате она и семидесятичетырехлетняя дочка лежали на кроватях, а в соседней комнате спала или находилась в полусне-полубреду девяносточетырехлетняя старуха, которая то и дело внезапно начинала орать:

– Лорочка! Лорочка! Где я?

– Вы дома, мамочка, - отвечала та.

– Я до-о-о-ма! До-о-о-о-ма!- радостно вопила старуха. Маруся лежала на кровати, Лорочка теряла терпение и подойдя к ней, визгливо звала:

– Мария! Вы не поможете мне? – Маруся вскакивала и прямо в ночной рубашке босиком отправлялась в соседнюю комнату. Там девяносточетырехлетняя мамаша, уставившись на Марусю, спрашивала:

– Лорочка, а откуда эта дама?

– Дама из Петербурга, - отвечала дочка.

– А почему дама босая? - не унималась мамаша, пока Маруся с Лорочкой усаживали ее на стул, в сиденье которого была пробита дырка для ночного горшка. Девяносточетырехлетняя старушка после революции очутилась одна с пятью детьми в Турции, а ее мужа, белого офицера, убили красные у самой границы. Всю оставшуюся жизнь ей пришлось трудиться, зарабатывать на себя и на детей. Теперь она не была больна, она просто устала от жизни, и ей уже пора было отдохнуть. Правда, каждый вечер, когда Маруся приходила к ним, Лорочка ставила перед ней тарелку с вермишелью и сосиской или давала чаю с сухарями, или еще чем-нибудь кормила. А потом она стала просить Марусю, чтобы та стирала, мыла пол и помогала ей готовить. Вся покрасневшись от злости, с растрепанными седыми волосами, выбившимися из узла на затылке, и со съехавшими на нос очками, она орала на Марусю:

– Ведь вы же видите, что мы две пожилые женщины, неужели вы не можете догадаться нам помочь!

Однажды Маруся не выдержала и ответила, что они насчет всего этого не договаривались, и речь шла только о том, чтобы посадить старушку на горшок.

– А насчет ужинов мы разве договаривались? — уже просто завизжала Лорочка, и Маруся поняла, что от этой работы придется отказаться. Она почувствовала некоторое облегчение, но в то же время и беспокойство, потому что знала, что все равно придется искать работу.

Маруся возвращалась домой ночью. Она шла пешком вдоль Елисейских полей, огромная белая луна светила в середине неба. Маруся была пьяная: перед этим она весь день пила, и хмель еще не выветрился из головы. Она шла вдоль бульвара Севастополь, через пустую улицу Рима, по ночному Парижу, который бывает пустым лишь ранним утром и поздней ночью. Потихоньку начинало светать, а она шла по середине бульвара Севастополь, и он был такой чистый, светлый и спокойный, а у нее кружилась голова, но даже в таком состоянии ей было понятно, что это как будто другая реальность, другой мир, который не замечает никто, или почти никто... И она видела, как постепенно встает солнце, и все

вокруг становится ярче, все дома начинают сиять, каждый лепной завиток на фасаде проступает четче, рельефнее и яснее, а дома окрашиваются в такие красивые цвета: бледно-зеленый, светло-бежевый, голубой, – все начинает светиться, становится белым и ярким.

Маруся подошла к дому, где она теперь жила в *chambre de bonne* под самой крышей на восьмом этаже. Чтобы попасть туда, ей нужно было долго подниматься по узенькой винтовой лестнице, по деревянным стертým до блеска многочисленными ногами ступеням, которые в конце неожиданно упирались чуть ли не в самый потолок и выходили на крошечную площадку, а оттуда – в коридор, казалось, заканчивавшийся тупиком, хотя, на самом деле, это был поворот, за которым находились туалет и рядом с ним, прямо в коридоре – раковина, похожая на писсуар, откуда тоненькой струйкой лилась вода, совсем как в фонтанчиках, установленных во всех скверах Парижа: говорят, это один американский миллионер установил в Париже такие фонтанчики, чтобы бедные люди могли пить бесплатно.

В туалете вместо стульчака было оборудовано что-то вроде очка: две подставки для ног, и когда дергаешь за спуск, вода затопляла весь грязный каменный пол, – поэтому Маруся наловчилась выскакивать оттуда чуть раньше, чем вода затопит весь пол и замочит ей ноги. В оконце виднелась стена противоположного дома, где тоже было окно, и Маруся видела стол, накрытый зеленой клеенкой, и седую старушку, которая там почти всегда сидела. Марусина комната находилась чуть дальше по коридору. Без водопровода, зато было электричество и можно включать кипятильник. Потолок комнаты был косо срезан, а прямоугольное окно в потолке открывалось при помощи железного стержня, так что его можно было открыть чуть больше или меньше. В углу стоял шкаф с одеждой и пластмассовое ведро, в котором Маруся стирала свои вещи. В комнате еще были кровать и бюро с пишущей машинкой. Машинку ей одолжил Жора в обмен на перевод статьи Эрве Гибера, который Маруся сделала для него бесплатно.

Жора работал в газете «Русская мысль» и иногда давал Марусе подработать, при этом платил достаточно хорошо. Маруся приходила к Жоре в редакцию газеты, и он всегда принимал ее очень приветливо, вел в кафе, угощал обедом, даже покупал ей мороженое; несколько раз, когда Марусе совсем было нечего есть, он даже приглашал ее к себе в гости и кормил. Жора приехал в Париж из Ленинграда уже лет пятнадцать назад – каким образом ему это удалось, Маруся не знала. Жора был пухлый, с голубыми глазами за толстыми стеклами очков и с торчащими ушами, он все время суетливо размахивал руками и нервно смеялся. Всякий раз, когда Маруся заходила к Жоре в редакцию, из-за шкафа ревниво выглядывал какой-то юноша, наверное, Жорин приятель – а может, ей просто так казалось, и никто Жору к ней не ревновал. Но все равно Жора вел себя странно: то звонил Марусе и говорил с ней часами, то вдруг надолго куда-то исчезал, и при встрече едва с ней здоровался, как будто видел впервые. В начале лета Жора опять начал звонить ей почти каждый день.

А вот с Костей при встрече он даже не поздоровался. Костя, который к тому времени выписался из психушки, хотел было предложить Жоре одну свою рецензию для публикации, а Жора даже не посмотрел на него и только небрежно кивнул в направлении стоявшего в углу его кабинета стола, процедив сквозь зубы:

– Положите, пожалуйста, вон там! – и тут же повернулся к Марусе, с которой в тот день говорил особенно приветливо и радостно ей улыбался. Правда, буквально на следующий день он позвонил Марусе и предложил им с Костей пойти на «гей-прайд», обычно проводившийся в Париже в июне.

В этом году на демонстрацию должны были собраться геи и лесбиянки не только из Франции, но и со всего мира. Жора считал это событие столь важным и значительным, что «ни один уважающий себя культурный человек», по его словам, «просто не имел права его пропускать!».

Маруся договорила с Жорой встретиться у метро "Эдгар Кине", откуда и должно было начаться шествие. Жора пришел без опоздания и, увидев Марусю и Костю, радостно замахал им руками с противоположной стороны платформы. Он был очень возбужден.

– Ну что же вы, – повторял он, на сей раз уже почти не замечая Марусю и сосредоточив все свое внимание на Косте, – что же вы опаздываете? Мы же пропустим самое интересное!

Они вышли из метро и направились к Монпарнасу. Там уже собралась целая толпа. Демонстранты должны были пройти по улице Ренн, бульвару Сен-Жермен, мосту Сюлли, бульвару Анри IV и завершить свой путь на площади Бастилии. Жора утверждал, что не собирается идти "с ними" всю дорогу, а только посмотрит в начале и в конце. Первое, что бросилось Марусе в глаза, был огромный грузовик, затянутый голубой материей, на которой серебряными буквами было написано GAY. На грузовике стояла высокая негритянка с пышными формами под черным трико, в красной юбочке, с красными бантиками на месте сосков и в пышном парике, сквозь который пробивались небольшие рожки, правда, босоножки на платформе у нее были не меньше 43-го размера. Негритянка пританцовывала, изгибаясь и зазывно потрясая пышными грудями и ляжками. Марусе хотелось остановиться и посмотреть на танец, но Жора тянул их дальше. В толпе Маруся разглядела семейную пару: мамаша в прозрачном пышном платье, белокуром парике, с наклеенными ресницами и с ярко накрашенным ртом, и ее супруг в обтягивающих белых лосинах, великолепных кожаных остроносых сапожках, обшитой позументом коротенькой курточке, с безупречным пробором в черных блестящих волосах, и тоже с наклеенными ресницами и ярко-красными губами. Мамаша бережно катила перед собой изящную колясочку, отделанную розовыми с голубым отливом кружевами и занавешенную белым кисейным пологом. Но Жора не дал Марусе полюбоваться и на эту идиллию – он упорно тащил их дальше.

– А то пропустим самое интересное, пошли, пошли, - повторял он и бежал вперед, расталкивая толпу. Маруся с Костей едва за ним успевали. Обливаясь потом, они бежали в толпе под палящим солнцем, обгоняя колонну демонстрантов, медленно двигавшуюся по бульвару под звуки оглушительной музыки. Наконец они остановились на углу улицы, где процессия должна была совершить поворот направо, выбрав самую удобную с точки зрения Жоры позицию.

– Смотрите, смотрите, - без конца повторял он, - вот видите: розовый треугольник - таким знаком их метили фашисты в концлагерях. А вот несут портрет Катрин Денев с надписью "Гомо или гетеро?". Это потому, что они выпустили журнал и назвали его "Денев", а она подала на них в суд и отсудила 300 тыс. долларов, и вот теперь они так над ней издеваются. Не правда ли, остроумно!- и, как бы в подтверждение своих слов, Жора внезапно разразился долгим раскатистым смехом. Косте же было совсем не до смеха, от долгого стояния на солнцепеке - а Жора выбрал наблюдательный пункт на солнечной стороне улицы - ему едва не стало плохо, поэтому он отошел и сел в тени на выступ стены дома. Марусе тоже ужасно хотелось пить, но она стойко держалась и слушала все пояснения Жоры, который продолжал сбивчиво объяснять:

– А вот идет организация "За безопасный секс"! Они позволяют все, кроме проникновения. Проникновение - это ни в коем случае, и у них все члены на учете, все адреса, телефоны, все, так что если ты нарушишь правила или проявишь агрессию - тебя найдут. А это организация садомазо: они не могли зарегистрироваться прямо так, по основному профилю, поэтому зарегистрировались как мотоциклетный клуб. Правда, это смешно? Гы-гы-гы! - снова захохотал он. Тут Жора вдруг обнаружил отсутствие Кости и, оглядевшись по сторонам, заметил, что тот сидит в тени у дома. Жора стремительно подскочил к нему и с совершенно искренним возмущением заорал:

– Ну что ты здесь расселся, ты же пропустишь самое интересное! – и почти насильно подхватив его под руку, поволок на прежнее место. Причем до этого момента Жора обращался к Косте исключительно на «вы», но сейчас он, похоже, уже забыл обо всем, что не касалось непосредственно главного действия, ради которого он сюда пришел. Мимо проехал грузовик, на котором без остановки приплясывали затянутые в кожу стриженные ежиком и бритые наголо мускулистые юноши; на некоторых из них были навешаны блестящие цепи. Маруся почему-то подумала, что на подобной демонстрации в России цепи наверняка были бы ржавые.

– Вот организация христиан, а вот - евреев. Вы ведь знаете, что их религия очень строго к этому относится...

Внезапно Жора решил переменить наблюдательный пункт, к тому же ему захотелось есть. Он уже давно предлагал купить булочку, но поскольку ни Костя, ни Маруся, у которых в тот момент денег осталось только на метро, никак на это не реагировали, застенчиво замолкал. Они снова побежали, пытаясь обогнать колонну и выкроить время для покупки булочки. Вдруг колонна остановилась, и Жора тут же встал в очередь в кафе. Он хотел

выпить хотя бы стакан кока-колы, а, может быть, и съесть булочку. Пока он ее ел, Маруся с Костей влезли на скамейку. Сверху было все хорошо видно: мимо прошел Папа Римский, в одной руке он держал на палочке надутую резиновую перчатку, а в другой - надутый презерватив. Вслед за ним шли кардиналы из его свиты и несли плакат с фотографией настоящего Римского Папы, под которой было написано: "Гомо или гетеро?"

– Нет, как все-таки они умеют всегда так тонко поддеть, - не переставал восхищаться Жора, - а как они умеют призвать к порядку, попросить людей отойти! Вот смотрите, подошел и так вежливо, безо всякой грубости: "Отойдите, пожалуйста!" - и все сразу же без слов отходят! – указал Жора на стриженного под гребешок добровольного народного дружинника, облаченного в потертую куртку, надетую прямо на голое тело. Точно так же были одеты и члены клуба «мотоциклистов», правда, в руках у них был не хлыст, а резиновые дубинки.

– А на балконах, смотрите - ни души, все боятся, не дай Бог, кто-то сфотографирует!

Балконы вдоль всего бульвара Монпарнас, по которому сейчас шла демонстрация, действительно были пусты. Но зато сам бульвар был буквально запружен народом: на всех скамейках, на всех фонарных столбах, на малейших выступях, куда только можно было встать или влезть, повсюду были люди. Шествие должно было завершиться на площади Бастилии, и Жора, к немалой радости Кости, предложил сесть в метро и так добраться до конечного пункта. Но почему-то они вышли не у Бастилии, а на две остановки раньше; видимо, оказавшись под землей, они на какое-то время утратили пространственную ориентацию и, в результате, выйдя на улицу, снова очутились в самом эпицентре событий, в потоке марширующих, который буквально захлестнул и увлек их за собой, и из которого теперь им было практически невозможно выбраться.

Маруся, Костя и Жора теперь шли прямо в плотной колонне демонстрантов. Рядом ехала машина, из динамиков грохотала оглушительная музыка, сверху сыпались разноцветные бумажные кружочки; практически обнаженный мулат в тяжелых армейских ботинках, прикрытый спереди только красным треугольником, без устали танцевал на крыше кабины грузовика; толпа хором скандировала:

– Pédé, goudou, rejoignez-nous!

Слева от Маруси шла тощая девица, одетая в рыболовную сеть и черные сапоги на платформе, доходившие ей почти до промежности, справа – два беспрерывно целующихся юноши, а впереди, извиваясь всем телом и делая за один шаг по меньшей мере шесть телодвижений, бежал вприпрыжку молодой человек с голым торсом. Маруся заметила его уже давно – он бежал так от самого Монпарнаса, не отдыхая и не останавливаясь - она даже подумала, что завтра он, вероятно, так же побежит на работу, а потом - домой, и, словно подтверждая ее мысли, юноша, продолжая на ходу танцевать, забежал по дороге в кафе. Колонна снова остановилась. На мгновение всеобщее внимание к себе привлекло существо неизвестного пола, наряженное в прозрачную короткую юбочку, по подолу которой был подшит тонкий обруч, который придавал его наряду форму колокольчика, а

на голове у него был блестящий обруч, в который спереди были натканы перья, что вызывало ассоциации с танцем маленьких лебедей. Глаза его были густо накрашены, на веках до самых бровей наведены синие тени, на щеках - свекольный румянец. Вокруг него столпились туристы, преимущественно почему-то японцы, которые стали щелкать своими фотоаппаратами, а это диковинное создание вдруг закинуло руки за голову и, прогнувшись назад, встало на гимнастический мостик прямо на мостовой, отчего на его тощей шее проступили жилы, а на подбородке стала явственно заметна жесткая растительность. Костя тем временем загляделся на девушку, танцующую на машине, ехавшей вровень с ним: она трясла грудями, стиснув их руками, виляла бедрами, высовывала язык и, как змея, шевелила его кончиком. Костя шел за машиной, завороченно глядя на красавицу, а она все больше старалась, оглаживая себя руками по бедрам, даже засовывая одну руку себе между ног и извиваясь всем телом. К несчастью, это заметил Жора.

– Ну что, так и будешь тащиться за этой машиной? - внезапно раздраженно сказал он и, взяв Костю за рукав, резко потащил его за собой. На площади Бастилии вся толпа с дикими воплями стала циркулировать по кругу; кто-то даже уже залез на колонну и размахивал оттуда семицветным флагом, международным знаменем гомосексуалов, вобравшим в себя все цвета радуги.

– Как вы думаете, сколько их? Я никогда не умел определять количество на глаз, так же как и возраст. Тысяч десять? Двадцать? - Марусе казалось, что и все пятьдесят, такого скопления людей она не видела со времен первомайских демонстраций в Ленинграде, на которые народ сгоняли насильно. Тем не менее, в это мгновение Жора невольно чем-то напомнил ей Владимира Ильича Ленина во время первых маев, каким его обычно показывали в советских фильмах, прикидывающего, сколько же народу прибыло в наши ряды, и какая это огромная сила.

– Их все же больше, чем фашистов, - не унимался Жора, - тут в мае, на день памяти Жанны д'Арк, бывает демонстрация французских фашистов. В этот день они всегда убивают одного араба, обычно топят, правда, очень тихо, мирно. Но их конечно гораздо меньше, и не сравнить! А какая сегодня будет ночь - Ночь Гордости Геев и Лесбиянок - будет грандиозный праздник в большом бассейне в Аквабульваре. Вы пойдете?

Маруся молчала, так как у нее не было восьмидесяти франков, которые нужно было заплатить за вход. Костя тоже застенчиво потупился и молчал. Жора подошел к нему вплотную и спросил:

– Ну что, чего ты хочешь? Сесть? Лечь? Или еще что-то? Скажи прямо, ты пойдешь или нет? – в голосе его явственно послышались какие-то щемящие нотки, казалось, он вот-вот разрыдается. Костя промямлил что-то невнятное. Мимо с громкими криками под звуки громыхающей музыки шли люди, проезжали машины, с одной из них в толпу разбрасывали банки кока-колы. Жора сразу же пояснил, что это одно очень дорогое гомосексуальное кафе с Елисейских полей снарядило эту машину, потому что его владельцы такие богатые, что даже кока-колу могут позволить себе раздавать бесплатно.

– Ну ладно, возьмите, вот, вот, – вдруг засуетился он, – достал из портфеля пачку журналов и дал Марусе с Костей, – это очень интересно, почитайте!

Маруся еще раз огляделась по сторонам и вдруг заметила, что вверху, над стоящей в центре площади колонной, в том самом месте, где гордо возвышался как бы парящий над Парижем бронзовый Гений Свободы, теперь развевалась по ветру огромная связка надутых до невероятных размеров презервативов, разукрашенных во все цвета радуги. Презервативы были привязаны к Гению Свободы веревочкой, которая была обмотана вокруг его шеи, образуя на ней петлю.

Маруся твердо решила вернуться в Петербург, однако это оказалось не так просто осуществить. У нее не было денег на обратный билет, правда, как потом выяснилось, проблема заключалась не только в деньгах.

Она решила позвонить психиатру, с которым познакомилась в клинике Мэзон Бланш, где Костя проходил курс лечения. Он был главным врачом этой клиники и немного говорил по-русски, и это, кстати, было одной из причин, по которой Костя попал именно туда. Борис Гуревич был евреем из выкрестов, а его деду когда-то принадлежал большой дом в Петербурге на Кирочной улице. После того, как Костя уехал, Маруся иногда с ним встречалась, но не очень часто, потому что всякий раз он давал ей небольшие суммы денег, и ей не хотелось злоупотреблять его добротой. Он дал Марусе деньги на дорогу и на сей раз, и даже больше, чем было нужно, как бы в долг, но было ясно, что он и не надеется получить их обратно. Мадам Израэль, что жила на бульваре Сен-Мартэн, говорила про него, что «Борис Михайлович – святой человек» – она сама когда-то была его пациенткой.

Однако у Маруси оказалась просрочена французская виза, и билет на самолет ей не продали. Пришлось ей покупать билет на поезд, хотя это и было связано с дополнительными хлопотами: получение транзитных виз и проезд через Москву, поскольку до Петербурга прямого поезда из Парижа не было.

В бельгийском консульстве на проспекте Мак-Магона она простояла около часа в очереди за транзитной визой, окруженная арабами и неграми перед закрытыми стеклянными дверями, и ей чуть не стало плохо, но, к счастью, двери открылись и ее впустили внутрь. Потом, сидя в ожидании визы, она познакомилась с русской толстой белесой девицей, которая была родом из деревни, вышла замуж за француза и теперь уже десять лет жила в Париже. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда к ним в деревню, где она работала продавщицей в продовольственном магазине, приехала группа туристов на теплоходе. Она была очень довольна своей жизнью в Париже: муж давал ей кредитную карту, и она могла покупать себе все, что захочет. Однако в бельгийском консульстве Марусе в визе отказали, потому что у нее была просрочена французская виза.

А вот в немецком консульстве, к счастью, визу ей дали и очень быстро. Но это произошло только благодаря просьбе Луизы, которая знала работавшую там даму.

После этого Маруся отправилась на Северный вокзал, где поговорила с проводником, который, к счастью, оказался русским – такой тщедушный мужичок в надвинутой на лоб форменной фуражке и мятой белой рубашке – и тот сказал ей, что проблем нет: двадцать долларов, и Маруся проедет через Бельгию в закрытом купе, а он скажет бельгийцам, что купе пустое. На весь поезд был всего один вагон, следовавший от Парижа до Москвы (в Петербург из Парижа поезда не ходили), а в Польше его прицепляли к другому поезду, и только там он забивался людьми до отказа.

В день отъезда Маруся пришла на вокзал за час до отправления поезда и уселась на скамейку у вокзала в ожидании посадки. Рядом с ней уселась старушка, одетая так, как обычно одевались вьетнамские девушки: нейлоновая курточка, брючки и пышная мохеровая шапка на голове, а из-под шапки выглядывали злые глазки, остренький носик и узкие губки, накрашенные розовой помадой. Маруся как раз доставала свой паспорт и проверяла, на месте ли билет, и старуха поняла, что она русская. Ей явно хотелось поговорить, и она завела, обращаясь к Марусе, нескончаемый монолог:

– Время проходит так незаметно, кажется, что еще все только началось — глядь, а оно уже кончается, не успел ничего сделать, даже оглянуться не успел, и в памяти остаются только походы по магазинам, как ты покупал жратву, и тряпки или кастрюли.

Потом старуха переключилась на французов. Эта нация ей не нравится, потому что они все бонжурятся, бонжурятся, а толку нет. К тому же, очень носатая нация, куда ни ткнись, везде одни носы торчат, а людей не видно. Не люди, а одни носы...

– Я за собой слежу и мне плевать, что про меня соседки говорят. Им просто завидно, они просто завистницы. А у меня дома три ковра, занавески тюлевые — все мне дочка из Франции передала. Она мне и еды купила на дорогу — вон, несколько сумок, там и колбаса, и сыр, и фрукты, и шоколад — и все мне говорила : “ешьте мама, ешьте”,- я уж и не хочу, а она мне: “ешьте, ешьте!”. И шубу новую купила, и пальто — все у меня есть. А люди такие завистливые.

Она говорила все громче и быстрее, так что изо рта у нее вылетала слюна.

– А летом я на автобусе ехала, так видела, как молодые ребята наркотики перевозили. Они пакет под телевизор спрятали, и пограничники его не заметили. А я молчала, а то еще ножом бы раз! — и все. А мне-то что, больше всех надо, что ли? Все сидят, и я сижу. А парни такие наглые, молодые, такие нахальные, ну я и думаю, что мне старухе с ними связываться...

Марусе надоела ее болтовня, и она решила пройтись до поезда. Скоро должна была начаться посадка.

Маруся отдала свои билет и паспорт проводнику, и устроилась в купе, где она была совершенно одна, да и вагон был почти пустой, только рядом по соседству ехали французские юноши. Когда поезд пересек границу Бельгии, Маруся вся тряслась, закрыла

купе, спустила шторы на окна, забила в угол купе и, не дыша, ждала, когда они наконец-то опять поедут. По коридору несколько раз прошли люди, до не доносились их голоса, а потом поезд тронулся с места, и она облегченно вздохнула, услышав за дверью голос проводника:

– Ну, все в порядке, можно расслабиться.

Потом была Германия, и немецкие пограничники со свойственной им дотошностью сами обошли каждое купе и проверили все паспорта. Но на сей раз Маруся уже не пряталась, а сидела на своем диване как полноправный член общества. В Варшаве проводник посадил к ней в купе прыщавого юношу, сказав, что тот будет ее охранять. Юноша забрался на верхнюю полку и долго ничего не говорил. Потом, правда, он рассказал Марусе, что сидел в Польше в тюрьме, где у него даже была отдельная камера с телевизором, а этажом ниже сидел его брат. За что их посадили, юноша не сказал. Зато он видел, как в Варшаве на вытянутом пальце огромного пятиметрового памятника Ленину повесили какого-то коммунистического деятеля; это произошло ночью, и утром многие ходили на эту картину полюбоваться, сняли же повешенного только после полудня. А на следующее утро в вагоне разразился ужасный скандал: один из французов, ехавших в соседнем купе, перепил с новыми русскими друзьями и захотел помочиться, но почему-то не дошел до туалета, а открыл дверь в соседнее купе и справил нужду там прямо на ковер, при этом, кажется, даже обрызгал спавшую на нижней полке женщину. Тут, естественно, поднялся шум, позвали проводника, и тот попросил Марусю по-французски поговорить с этими пассажирами. Маруся сказала им, что у них могут быть неприятности, после чего французы, посоветовавшись, отнесли в купе проводнику пару пачек сигарет "Кэмел" и шоколадку.

А юноша, ехавший в купе с Марусей, вдруг очень оживился и поведал ей, что недаром он на ночь закрыл купе на ключ и еще для надежности привязал дверь веревкой к полке, так, чтобы никто не открыл, потому что есть такие типы, которые ночью ходят по поездам и забирают шмотки у спящих пассажиров, вот у него знакомые так делали... И юноша все очень подробно описал, как нужно воровать у пассажиров вещи, чтобы никто этого не заметил. После его рассказа Маруся догадалась, за что он сидел в польской тюрьме. Юноша был родом из Магадана, и собирался туда ехать через Москву. Маруся угостила его салатом из холодных макарон с яйцами, кусочками мяса и майонезом, который ей с собой в дорогу дала Луиза. Юноша сперва стеснялся, но потом поел. Когда поезд подошел к перрону вокзала в Москве, Маруся увидела, как за их вагоном стаей бегут носильщики, совсем как собаки или волки. На перроне ее встречал Костя.

Церковь на рю Дарю пуста. Праздник Вознесения. Священник в мягких тапочках и с нечесаной бородой бродит возле алтаря, шаркая ногами и помахивая кадилом; тонкий голос из левого придела алтаря поет то басом, то пищит. Лики святых, свечи горят ровно,

священник то исчезает, то появляется: открыл царские врата, закрыл... Неведомый церемониал, неизвестно для кого предназначенный. Голоса гулко отдаются в пустом храме, служба должна идти до конца, своим чередом, как сотни и тысячи лет назад. Мы хвалим Господа, он дает нам силы жить и помогает...

– Какую церковь вы посещаете в Петербурге? - в голосе священника Марусе почудилась враждебность, а может, это просто ей показалось.

Протянутая рука перед рукопожатием осеняется торопливым маленьким крестиком. Он действует механически, как автомат, который не успел сменить программу – обычно к его руке прикладываются, а он сверху крестит. Свечи погашены, надо приложиться ко всем иконам – таков

Порядок – лампадки горят... Каждый вечер Лиля приходит сюда и поет. Она помогает священнику вести службу.

Это Лиля привела сюда Марусю в последний день ее пребывания в Париже. И Маруся стояла в полутьме совершенно одна, если не считать священника, а тонкий голос Лили гулко разносился под сводами храма. После службы они долго прощались с батюшкой, как называла священника Лиля, а тот жаловался им на отсутствие прихожан и нехватку денег на ремонт храма. Потом Маруся с Лилей вышли из прохладной церкви на залитую палящим солнцем улицу и побрели вдоль чугунной литой оградки какого-то садика, где цвела сирень, а посередине журчал небольшой фонтанчик. На скамейках, как всегда, сидели старушки с детьми и какие-то одинокие негры, а на одной лежал клошар, задрав ноги в пыльных драных ботинках на спинку и положив под голову свою сумку. Лиля повела Марусю в ресторан, находившийся на узенькой улочке, пересекавшей Бобур, недалеко от Центра Помпиду. Они поднялись на второй этаж, где девушка-китаянка в белом передничке принесла им меню. Лиля, как всегда, заказала две бутылки красного вина, какой-то острый суп, в котором плавала длинная прозрачная вермишель, и горячие жареные бананы, запеченные в тесте. Они выпили, и напоследок Лиля заказала еще одну маленькую бутылочку того же вина. Маруся довольно сильно опьянела, так как ничего не ела целый день и очень устала, потому что ночью не спала, а ухаживала за девяносточетырехлетней старушкой.

Лиля вышла замуж за писателя Лямзина еще в молодости, и с тех пор они практически никогда не расставались. Лямзин был полным, небольшого роста, с седыми волосами – говорили, что раньше он был даже красив, хотя теперь в это было сложно поверить. Говорил он тонким блеющим голоском, склоняя голову к правому плечу, при этом его глаза суживались и внимательно, как бы исподтишка, рассматривали собеседника. Однажды он собрался уезжать в Москву и пригласил Марусю к себе в гости, чтобы она перевела ему с немецкого несколько рецензий на его последний роман. Он пребывал в прекрасном расположении духа и вдруг начал громко восклицать:

– Да, это круто! Блеск! Просто блеск! Круто! – совсем как на вернисаже в сквоте, когда Рогов показывал ему висевшие на стенах картины. Маруся не поняла, о чем это он, а он все твердил свое:

– Круто! Блеск! Ну, как его, этот... э-э-э... ну, этот... – в голосе Лямзина слышалось некоторое раздражение и даже озлобление, хорошее настроение стало улетучиваться, а Маруся все никак не могла врубиться, о чем он говорит. Наконец, он произнес:

– Блеск! Ну, этот, как его... роман, ваш роман...

– А! «Голубая кровь», что ли?

– Да-да! Конечно, «Голубая кровь»!

Маруся вспомнила, что уже давно, несколько месяцев назад, наверное, дала ему почитать свой роман и потом совсем забыла об этом. И вот теперь он, видимо, опасаясь, что Маруся откажется переводить рецензии, решил сделать ей комплимент, а название забыл. В дальнейшем Маруся еще несколько раз присутствовала при том, как он говорил самым разным людям, желая похвалить их стихи, картины или музыку: «Блеск! Круто! Просто блеск!» В тот день в гости к Лямзину пришел еще один молодой человек, который принес с собой пачку печенья. Лямзин выложил половину пачки на стол, а остальное положил на подоконник и предложил им чаю. Вскоре все лежавшее на столе печенье кончилось. Маруся сидела и переводила – в рецензиях творчество Лямзина называлось эзотерическим и сравнивалось «с Достоевским, водкой и бесконечным простором необъятных русских степей» – а он тем временем встал и, незаметно достав из пакетика на подоконнике еще пригоршню печенья, стал жадно его поедать. В это мгновение он случайно взглянул на Марусю и поймал на себе ее взгляд, после чего на его лице изобразился настоящий ужас, и он, быстро бросив в вазочку на столе одну печенинку, поспешно запихнул остальные себе в рот.

Уехав из Советского Союза, Лиля с Лямзиным лет десять жили в Америке, и только потом переехали в Париж. Правда, вид на жительство во Франции у них скоро заканчивался, поэтому Лиля лихорадочно искала знакомых, которые могли бы ей помочь тут остаться. В Америку они ни за что не хотели возвращаться. Покончив с двумя бутылками, Лиля откинулась на спинку стула и предалась воспоминаниям:

– В Америке живут одни идиоты, там не люди, а автоматы. Вот с нами в самолете летел американский священник, а тогда только появились такие электронные часы с музыкой, и он каждый раз, когда проходил мимо, все нам их показывал, так тыкал прямо в физиономию и все: «Гы-ы-ы! Гы-ы-ы!» Я и думаю: «Боже мой, какой идиот, а ведь священник!» И там все такие! И только – р-р-р-раз по плечу, все по плечу бьет и улыбается своей деревянной улыбкой, а глаза мертвые... А в Южном Бронксе – одни уроды с двумя головами, или головы вытянуты так по-уродски, все такие скорченные, скореченные. И дома там без фундамента, а если с фундаментом, то это жутко дорого. Дети же после школы даже читать не умеют, если, конечно, это не платная школа или дорогой частный колледж. Они в общих школах только в игры играют и все : «Гы-ы-ы! Гы-ы-ы!» А потом ни читать,

ни считать! А у вас по телевизору все показывают: «Америка! Америка! Рай, все живут хорошо, все такие деловые! И веселые, и бодрые! Одна пропаганда!», – Лиля взяла в руку оставшуюся маленькую бутылочку и подлила себе в бокал вина. – Да и здесь во Франции идиотов хватает! Я как-то тут познакомилась на пляже с одним французом, он мне понравился, мы разговорились, и я уже подумала: «Ну ладно, если он пригласит куда-нибудь, пойду», – а он вдруг стал рассказывать мне, что работает в биологическом институте, где ставят опыты на кошках, проверяют их выносливость. Ужас! Это же настоящий садизм! Я кошек вообще обожаю, не только свою Милочку. Тогда я сразу же встала, собрала свои вещи и ушла. Он так ничего и не понял. Идиот!

Марусе казалось, что она не замолчит никогда. Она уже несколько раз слышала этот ее монолог и успела выучить его наизусть. Тут Лиля вдруг осеклась и начала энергично махать рукой кому-то, кто находился за спиной Маруси у дверей кафе.

– Ой, Лилек, привет, – услышала Маруся тягучий мужской голос, и кудрявый юноша, видимо, только что вошедший в кафе, бросился обнимать Лилю. Маруся молча наблюдала за ними. Лиля представила их друг другу. Юношу звали Сережа, и он был приятелем ее мужа.

– Вы что такие кислые, девчонки? – спросил Сережа. – Пошли гулять, я сегодня богатый! Я вас приглашаю в ресторан.

Маруся сперва хотела отказаться, но решила все же пойти с ними, чтобы хоть немного развеяться. Они отправились по направлению к Мулен Руж. У входа в ресторан, который выбрал Сережа, толпилось множество проституток и гомосексуалов, точнее, все они бродили вокруг, а так уж прямо откровенно стоящих проституток там не было. Перед Мулен Руж тоже стояла куча народу, как там всегда бывает до или после представления, вообще там постоянно трется множество каких-то темных личностей, которые пялятся на проходящих мимо девушек и юношей, особенно если те были более или менее привлекательными. Сережа оказался балетным танцовщиком. Он недавно получил политическое убежище в Германии и пребывал в возбужденно-радостном состоянии, то и дело демонстрируя Марусе с Лилей свой новенький паспорт. Он считал, что это чистая случайность, что ему дали политическое убежище, больше ведь уже никому не давали, потому что в России никого теперь не преследовали за политические взгляды, теперь там наступила полная свобода. А он два года назад приехал в Гамбург на гастроли со своим театром и устроил какое-то эротическое шоу, после чего в газете "Красная звезда" была опубликована разносная статья. Хотя непонятно, что, собственно, там было такого ужасного, и почему именно в этой газете напечатали такую статью, но Сережа уверял, что именно благодаря этой статье на него обратили внимание в западной прессе и вот теперь дали политическое убежище. Ему казалось, что в Париже все очень дешево по сравнению с Берлином, да что там дешево, все почти даром, просто невероятно...

При этих словах Сережи Лиля хмыкнула и многозначительно посмотрела на Марусю. А Сережа уже перешел к тому, как все время ездил здесь на такси, хотя ни слова не говорил

по-французски, и к тому же совершенно не знал Париж. И вот однажды он заблудился и сел прямо на мостовую на проезжей части, его подобрали полицейские, но он никак не мог с ними объясниться, потому что говорил только по-немецки. В этом месте Сережа остановился, вытащил из внутреннего кармана пиджака свой паспорт, положил его на стол и нежно похлопал по нему рукой. А одна его знакомая, которая раньше тоже была балериной и знала всех балетных знаменитостей, предложила ему недавно жениться на дочке Барышникова, но потом вдруг спросила его, а не «голубой» ли он. Сережа опять замолчал, а потом с какой-то едва уловимой улыбкой на губах посмотрел сначала на Лилю, а потом на Марусю и произнес:

– Нет, не «голубой»!

Но та знакомая вытаращила на него свои зенки, короче, уставилась на него, как прокурор, и сказала, что у него странное лицо. Рассказывая об этом, Сережа не мог скрыть своего возмущения. Лицо у Сережи было действительно немного странное, он был похож не то на лягушку, не то на жабу: выпученные глаза, толстые вывернутые губы и пышные неестественно вьющиеся волосы. Правда, он был стройный и вообще, фигура у него была хорошая. Внезапно Сережа вскочил из-за столика и громко, на весь ресторан, завопил:

– Да, я «голубой»! Как можно задавать такие бестактные вопросы? И вообще, какая разница?

Успокоившись, он сел, и с грустью добавил:

– Но, правда, для меня это тяжело, потому что я очень люблю детей. Дети для меня – это настоящая трагедия...

Потом Сережа заказал себе водки, а дамам – апельсиновый сок, и продолжил свои откровения:

– Мы люди богемы, ну нельзя же так. Можно отдаваться например женщине или мужчине, кого ты любишь, но отдаваться идее, нет так нельзя. Мы живем единым порывом, мы не такие, как все, мы свободные, мы пьем и треплемся об искусстве. И все-таки, лучше уж найти себе мальчика у метро, шестнадцати лет или там двенадцати, какая разница. Можно спать с кем угодно, ну трахаться там, любить человека, но нельзя любить идею. Это чушь какая-то, просто бред!

У Маруси и так было впечатление, что он бредит.

Сережа знал и Павлика, и Веню, и Колобка и еще какую-то Лариску, которая уже давно вышла замуж за швейцарца и жила в Швейцарии. Маруся вспомнила, что когда они с Павликом были в ресторане, там мимо проходила какая-то накрашенная девка. Она улыбнулась Павлику, а тот сказал Марусе, что это Лариска. Наверное, это была она. Про Павлика Сережа сказал:

– Да, он лапочка, но характер у него стервозный.

А про Веню сказал, что его никто не убивал, и он преспокойно уехал в Америку. Маруся вспомнила, что в последний раз говорила с Веней по телефону год назад. Он внезапно позвонил ей ночью и попросил срочно позвонить в гостиницу своему американскому другу,

предупредить его, чтобы он ни в коем случае не сдавал свой чемодан в камеру хранения, потому что его могут украсть, и чтобы он ни в коем случае не ехал на вокзал один. Веня очень боялся за его жизнь. Маруся хотела спать, поэтому никому звонить не стала, а отключила телефон и легла спать. Наутро раздался звонок и обиженный Веня стал ей выговаривать:

– Ну что, старый козел Алянский (это была фамилия Вени) так тебя заколебал, что ты отключила телефон и спокойно легла спать?

Маруся ответила, что в темноте случайно уронила телефон, и он разбился, поэтому она не могла никуда позвонить, но в душе чувствовала себя виноватой. Веня жил со своей собакой в старой коммуналке на Фонтанке, недалеко от Павлика. Он с Павликом то ссорился, то мирился, но никогда не мог ему простить того, что Павлик видел, как ему в квартиру лезли воры и не предупредил милицию, а постоял, посмотрел, потом повернулся и спокойно пошел прочь. Тогда у Вени вынесли все, включая одежду и обувь. После этого он завел себе собаку, которая даже спала с ним.

Рядом с ними сидели две толстые женщины и один мужчина с лицом типичного номенклатурного работника, который с интересом прислушивался к их разговору, а потом по-русски спросил:

– Девочки, вы здесь давно живете?

Конечно, он мог быть и из белых русских, но оказалось, что это не так. У него был собственный завод в Сибири, и акцент самый обычный, провинциальный.

– А вот я бы здесь жить не смог... Не смог бы без России..., – как бы предвосхищая возможный ответ, со вздохом произнес мужик.

Сережа тем временем снял тапочки, потому что у него были ужасно натерты ноги, вышел из ресторана и босиком пытался проникнуть в соседний отель, где, по его словам, остановилась какая-то Наташа, сопровождающая эту сибирскую группу – он хотел с ней что-то передать в Петербург. Порттье смотрел на Сережу с подозрением и в отель его не пускал, загораживая ему вход. Тогда Сережа стал доставать деньги – они были у него подвешены на шее в мешочке – но их там оказалось гораздо меньше, чем он предполагал, и он подумал, что или потерял, или их у него украли. Потом он стал приглашать Марусю с Лилей в гости к своему американскому другу – мол, он денег даст и можно будет продолжить веселье – но Маруся и Лиля отказались, так как им надо было рано вставать. У Сережи был с собой фотоаппарат, и он попросил на прощание сфотографировать его. Он встал у стены в картинной позе, раскинув руки и подогнув одну ногу, правда, он был сильно пьян, и долго сохранить равновесие ему не удалось. Потом он взял свой фотоаппарат и, держа тапочки в руках, босиком отправился вверх по темной улице – его сильно шатало.

*Париж - Санкт-Петербург
февраль 1998 года*

